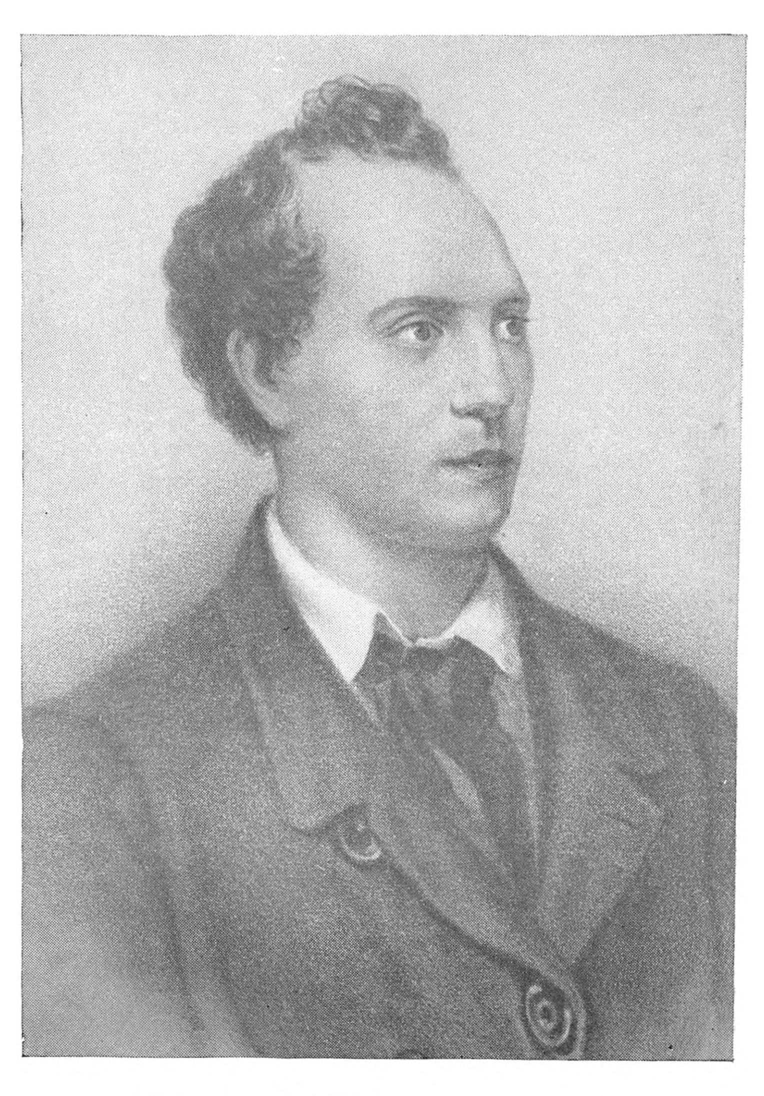
Е. А.
БОРАТЫНСКИЙ
Е. А.
БОРАТЫНСКИЙ



Евгений Боратынский

Е. А.
БОРАТЫНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
ПРОЗА
ПИСЬМА

Вступительная статья
К. ПИГАРЕВА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1951

Подготовка текста и примечания
О. МУРАТОВОЙ и К. ПИГАРЕВА

Е. А. БОРАТЫНСКИЙ

«Боратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хотя несколько одаренного вкусом и чувством», — так писал о Боратынском его великий современник Пушкин *. Оценивая значение Боратынского в развитии русской поэзии, Пушкин отводил ему место «подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» (т. е. Батюшкова).

«Яркий, замечательный талант» Боратынского — поэта, который «по натуре своей призван быть поэтом мысли», отмечал Белинский. В начале сороковых годов, когда судьбы русской поэзии властно притягивали к себе внимание Белинского, он неоднократно обращался в своих статьях к характеристике творчества Боратынского. В блестящем по своей идейной принципиальности и остроте разборе поэзии Боратынского, сделанном в 1842 году, великий критик обнажил внутреннюю противоречивость мировоззрения поэта, ограничившую его творческие возможности, и отметил, что истоки этих противоречий кроются «в его эпохе». Оценка творчества поэта была дана Белинским с точки зрения того поколения, для которого поэзия Боратынского была уже вчерашним днем. Но это не помешало Белинскому заявить: «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Боратынскому» **.

* Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 221.

** Собрание сочинений в трех томах, т. II, М., Гослитиздат, 1948, стр. 436.

Впоследствии, в своей ожесточенной борьбе с традициями революционно-демократической критики, символисты обвинили Белинского в эстетической слепоте, непонимании и отрицании Боратынского. Стремясь присвоить себе этого крупного поэта прошлого, они провозгласили его «отцом современного пессимизма в русской поэзии». Такое произвольное истолкование поэзии Боратынского отрывало ее от конкретно-исторической действительности, выдвигало на первый план одни настроения и мотивы в ущерб другим, сводило их в законченный круг философско-эстетических взглядов, выражением которых якобы являлось творчество Боратынского.

Выводы критиков-символистов были приняты дореволюционным либерально-буржуазным литературоведением, утверждавшим, что со своим временем «поэзия Боратынского почти никакой связи не имеет», что «мировоззрение поэта и форма, в какую оно вылилось, не могут быть приурочены ни к какой определенной исторической эпохе».

Нужно ли говорить, насколько несостоятельно и порочно подобное вневременное представление о Боратынском, как о певце самодовлеющего пессимизма. На самом деле творчество Боратынского может быть исторически верно понято только в связи с его эпохой и на основе глубоких высказываний о нем Пушкина и Белинского.

* *
*

Евгений Абрамович Боратынский родился 19 февраля 1800 года в усадьбе Мара, Тамбовской губернии, Кирсановского уезда. Первоначальное воспитание он получил дома под руководством матери, А. Ф. Боратынской, урожд. Черепановой, и воспетого им впоследствии «дядьки-итальянца» Джьячинто Боргезе. Отец будущего поэта, генерал-лейтенант А. А. Боратынский, умер, когда сыну было десять лет (1810 г.). В том же году Боратынский был «определен» в Пажеский корпус, но оставлен дома для подготовки к экзаменам. Весной 1812 года Боратынского привозят в Петербург. Здесь в течение нескольких месяцев он учится в одном из частных пансионов, а в конце декабря зачисляется в Пажеский корпус «пансионером на своем содержании».

В Пажеском корпусе Боратынский пробыл немногим более трех лет. 15 апреля 1816 года, по личному распоряжению Александра I, он был исключен из корпуса за проступок, явившийся прямым след-

ствием казенной постановки воспитания и отсутствия надзора за питомцами в этом привилегированном учебном заведении *.

В одном из своих позднейших писем, вспоминая юношеские годы, Боратынский называет себя «природно беспокойным и предприимчивым». «Я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, что бы меня занимало, — без этого я скучаю», — писал он матери из Пажеского корпуса. Чтение «разбойничьих» романов давало обильную пищу его воображению; жизнь романтических разбойников казалась ему «завиднейшею в свете». Под влиянием подобных настроений возникла у Боратынского мысль составить «Общество мстителей» с целью всячески досаждать корпусным наставникам. По словам Боратынского, «выдумав шалость, мы по жребию выбирали исполнителя: он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник».

Исключение из Пажеского корпуса «за негодное поведение» было для Боратынского подлинной нравственной драмой. В послании к Дельвигу («Дай руку мне, товарищ добрый мой...») он говорит:

Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал: ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых Муз...

Первая встреча Боратынского с Дельвигом, положившая начало их тесной дружбе, относится к концу 1818 года. В это время, после двух с половиной лет, проведенных после исключения из корпуса в Маре и в смоленском имении дяди Подвойском, Боратынский снова приезжает в Петербург, намереваясь поступить на военную службу. Вследствие запрещения, исходившего от самого царя, всякая иная служба была для него закрыта: он мог поступить только на военную — и то не иначе как рядовым. Ему предстояло выслужить офицерский чин, — в данном случае знак реабилитации. 8 февраля 1819 года Боратынский был принят в лейб-гвардии егерский

* Об обстоятельствах, повлекших за собой его исключение из Пажеского корпуса, Боратынский рассказывает в письме к Жуковскому (см. стр. 463 настоящего издания).

полк. Тогда же инициалы, а затем и полная фамилия Боратынского впервые появляются на страницах петербургских журналов под несколькими, еще довольно незначительными его стихотворениями альбомного характера. И это вступление в литературу, отмеченное дружеским участием «семейства добрых Муз» (Дельвига, Пушкина, Кюхельбекера и др.), помогло ему вновь обрести утраченную веру в самого себя и было для него как бы моральным возвращением к жизни.

Атмосфера литературных интересов, царившая в Петербурге, живо захватила Боратынского. Он быстро сближается с кружком бывших лицеистов, объединявшим в «свободный, радостный и гордый» союз представителей передовых литературных и общественных взглядов. И каждый из членов этого «союза поэтов» (выражение Кюхельбекера) в большей или меньшей степени разделил вражду литературных и политических ретроградов, которые подозрительно присматривались к связывавшему их между собою «святому братству».

В начале января 1820 года Боратынский был произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Боратынским и его друзьями это перемещение поэта из Петербурга в Финляндию было воспринято как «изгнание». Биографами поэта до сих пор не было обращено внимание на то, что обычно гвардейский унтер-офицер при переводе в армию получал чин прапорщика или подпоручика, Боратынский же был переведен из гвардии в армию с сохранением звания унтер-офицера. На какие-то неизвестные нам обстоятельства, связанные с удалением Боратынского из Петербурга, намекает в своем послании к поэту его новый ротный командир Н. М. Коншин:

Сбылось пророчество молвы,
Сбылись изгнания угрозы...

Сам Боратынский в «Послании к барону Дельвигу» подчеркивал свое положение невольника и изгнанника:

...Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

Одно из двух посланий Боратынского к Н. И. Гнедичу («Так! для отрадных чувств еще я не погиб...») в первоначальной редакции заканчивалось восклицанием:

Свободу дайте мне — найду я счастье сам!

В течение пяти лет все представления царю о производстве Боратынского в офицеры оставались безрезультатными. Александр I упорно отклонял их, говоря: «Рано, пусть еще немного послужит». Чин прапорщика был получен Боратынским лишь весной 1825 года, когда, по словам А. И. Тургенева, поэт уже «устал страдать и терять надежду».

Надо думать, что не юношеский проступок был главной причиной отклонений всех ходатайств о производстве Боратынского в офицеры. Еще в 1820 году, вскоре по отъезде поэта в Финляндию, имя его оказалось упомянутым в доносе публициста В. Н. Каразина министру внутренних дел наряду с именами двух других поэтов — Пушкина и Кюхельбекера. К 1824 году относится свидетельство поэта Д. В. Давыдова о том, что Боратынский был «на замечании».

С переводом в Финляндию не порываются связи Боратынского с Петербургом. Въезд в Петербург не был ему запрещен. Полковое начальство (в лице полковника Г. А. Лутковского, участника войн с Наполеоном, и командира роты Н. М. Коншина) покровительствовало поэту и неоднократно предоставляло ему длительные отпуска. Четыре раза за время пребывания Боратынского в Финляндии Нейшлотский полк нес в Петербурге караульную службу.

В Петербурге Боратынский вращается в кругах либерально настроенной молодежи. Он регулярно посещает заседания Вольного общества любителей российской словесности, действительным членом которого состоит с 28 марта 1821 года. Его отсутствие на заседаниях обычно отмечается в протоколах: «Отсутствовал по известным причинам». В 1821—1822 годах, после роспуска Союза Благоденствия и до образования Северного общества, Вольное общество любителей российской словесности было организующим центром будущих декабристов. В салоне С. Д. Пономаревой, где собиралась в то время петербургская литературная молодежь, Боратынский «бранит указы и псалмы» и щедро рассыпает вольнодумные афоризмы, а на страницах журнала «Соревнователь просвещения и благотворения» оплакивает в стихах судьбу древнего «свободного Рима». Сблизившись с Александром Бестужевым и Рылеевым, он принимает

участие в сочинении вольнолюбивых куплетов, которые распевались на ужинах деятелей Северного общества. Возможно, что отрывком одной из таких песен является приписываемый Боратынскому экспромт о свободе:

С неба чистая,
Золотистая,
К нам слетела ты;
Все прекрасное,
Все опасное
Нам пропела ты!

Об идейной близости Боратынского к декабристам свидетельствуют и намерение Бестужева и Рылеева выпустить отдельное издание его стихотворений, и восхищение Боратынского поэмой Рылеева «Войнаровский», и сочувственное отношение к популярному в либеральных кругах русского дворянства «вельможе-гражданину» Мордвинову, которого декабристы намечали в члены временного правительства.

Атмосфера настроений, оппозиционных самодержавию и правительству, окружала Боратынского и в Финляндии. Носителями их были, в частности, Н. М. Коншин, вместе с Боратынским высмеивавший в сатирических стихах представителей власти и местного общества, и адъютант финляндского генерал-губернатора Закревского Н. В. Путята, познакомившийся с поэтом весной 1824 года. Путята выхлопотал ему разрешение приехать в Гельсингфорс и находиться при корпусном штабе. Здесь, при «дворе» финляндского «герцога», как в шутку называл Боратынский Закревского, велись свободные разговоры на политические темы. Сам Закревский, незадолго до того по проискам Аракчеева удаленный из главного штаба, был несдержан на язык. В доме генерал-губернатора, по свидетельству анонимного доноса, осуждения правительства текли «рекою» и сопровождались «непотребнейшими выражениями».

Наиболее ярким проявлением антиправительственных настроений Боратынского является его стихотворная надпись к портрету Аракчеева: «Отчизны враг, слуга царя...», впервые напечатанная в 1936 году, через сто двенадцать лет после того, как она была написана.

Свободолюбием были отмечены и задушевные беседы Боратынского с Путятой. По словам последнего, «берега Дуная, Царьград, Греция, возрождающаяся из пепла, были беспрестанными предметами наших разговоров...» Наряду с этим резко осужда-

лась реакционная внешняя политика российского самодержавия. В свете отрицательного отношения Боратынского к «бичу народов, самовластью» следует рассматривать эпилог к его поэме «Эда», порицающий колонизаторскую политику царского правительства.

К концу 1824 года относится одно замечательное стихотворение Боратынского, отражающее свободолюбивые настроения поэта, — его бунтарская «Буря». Стихотворение это с неопровержимой убедительностью свидетельствует о том, что Боратынский, подобно лучшим людям своего времени, тяготился состоянием «раболепного покоя» и искал из него выхода. Это тем более важно отметить, что в творчестве Боратынского предыдущих лет неоднократно обнаруживается противоположное стремление — укрыться от бурь, «издали» наблюдать за ними из своей «безвестной хаты». Недаром песни свободы кажутся ему не только «прекрасными», но и «опасными». А поэт избегает «опасного». В ранней редакции послания «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры», Боратынский утверждает:

Покой, один покой любезен мудрецу.

Отказываясь от сатиры, поэт ссылается на нежелание нажить себе врагов и на то, что людские нравы и пороки все равно не исправишь:

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
. . . .
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

Эти строки дали Белинскому справедливый повод заметить: «Благоразумие не всегда разумность: часто бывает оно то равнодушием и апатиею, то эгоизмом».

Противоречивые настроения, породившие, с одной стороны, «Бурю», с другой — послание Гнедичу, характерны вообще для творчества Боратынского.

В лирике Боратынского финляндского периода (1820—1825 гг.) отчетливо звучат жизнеутверждающие мотивы. Именно таким жизне-

утверждающим аккордом завершается элегия «Финляндия», написанная в 1820 году:

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!

Тем же бодрым приятием жизни, несмотря на удары судьбы, проникнуты такие стихотворения Боратынского, как послания к Коншину («Живи смелей, товарищ мой...»), к Дельвигу («Дай руку мне, товарищ добрый мой...»), к Гнедичу («Так! для отрадных чувств еще я не погиб...»), к Лутковскому («Влюбился я, полковник мой...»). Именно эта любовь к жизни «для жизни» выражена Боратынским в последних строфах стихотворения «Череп»:

Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

«Гамлет-Боратынский» (как назвал его Пушкин), созерцая человеческий череп, размышляет не о смерти, а о жизни.

Но наряду с такими мотивами в поэзии Боратынского присутствуют и иные, свидетельствующие о происходящей в нем мучительной борьбе между «желаньем счастия», «надеждой и волненьем», с одной стороны, и «отрадным бесстрастьем», «безнадежностью и покоем» — с другой. Впоследствии, в стихотворном обращении к жене, завершающем поэму «Переселение душ», Боратынский вскрыл истоки подобных душевных настроений:

Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня,
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,

Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей;
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.

Двойственный характер лирики Боратынского был замечен Пушкиным. Недаром он назвал его «задумчивым проказником» и «певцом пиров и грусти томной». Нотки этой грусти как бы незаметно примешиваются к веселым и жизнерадостным звукам первой поэмы Боратынского «Пиры», что позволило Белинскому определить это произведение как «шутку в начале и элегию в конце». Такая же смена лирических мотивов характерна для многих стихотворений поэта первой половины двадцатых годов. Он отдается радостям жизни, но словно с оглядкой:

Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.

(«Ропот»)

В одном из своих писем к Н. В. Путяте он даже делает своему другу такое признание: «Во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца». Подобные настроения в эти годы несомненно обусловлены были ложным общественным положением Боратынского. «Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет, — писал он Жуковскому в конце 1823 года, — меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны».

* *
*

Пушкин и Белинский усматривали основное своеобразие лирики Боратынского в ее элегическом характере. Пушкин считал Боратынского «нашим первым элегическим поэтом». Белинский в статье 1842 года писал: «К чести г. Боратынского должно сказать, что элегический тон его поэзии происходит от думы, от взгляда на жизнь, и что этим самым он отличается от многих поэтов, вышедших на литературное поприще вместе с Пушкиным».

Очень важно это подчеркивание Белинским жизненных, а не литературных истоков элегических мотивов лирики Боратынского.

В творческой биографии Боратынского был, разумеется, свой ученический период. Нетрудно в ранних произведениях поэта усмотреть следы как сентиментально-романтических, так и классицистских штампов, свойственных некоторым русским поэтам первой четверти XIX столетия. Но период этот был непродолжителен, и наряду с наносным и заимствованным в стихах молодого Боратынского уже отчетливо звучит подлинное поэтическое чувство, позволяющее судить о раннем развитии его творческой индивидуальности. В дальнейшем, постоянно подвергая переработке свои старые стихи, Боратынский старался вытравить из них все манерное и условное.

В конце двадцатых годов Боратынский написал стихотворение «Подражателям». В нем он выразил свою заветную мысль, которая уже в течение ряда лет лежала в основе его творческих исканий, — мысль о том, что источником вдохновений для поэта должен служить его собственный жизненный опыт. Еще в 1824 году Боратынский с живостью откликнулся на возникший в русских журналах спор о жанрах, по существу затрагивавший вопросы идейной и национальной самобытности русской поэзии. Против подражательного характера основного, сентиментально-романтического жанра — элегии — с большой резкостью выступал В. К. Кюхельбекер: «Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказывать чужие понятия и ощущения». Несмотря на то, что Боратынский оказался лично задетым в статьях Кюхельбекера, направленных против «унылой» элегии, он писал ему: «Мнения твои мне кажутся неоспоримо справедливыми». Мало того. В написанном в 1827 г. послании к Богдановичу, давно умершему автору «Душеньки», Боратынский сам повторяет сетования Кюхельбекера на то, что современные поэты «взапуски тоскуют о погибшей молодости» и что «чувство уныния» поглотило все прочие чувства:

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих...

. . . .

И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к Музам их немецких Муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,

Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! Но что же! Все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело.

Боратынский-элегик еще до появления статей Кюхельбекера отказался от традиционной в русской сентиментально-романтической поэзии «унылой» элегии. Эмоциональная сила лучших элегий Боратынского заключается в том, что содержание их подсказано жизненными впечатлениями, а не литературными образцами. Вершиной творческих достижений Боратынского в области элегической поэзии является его «Признание» (1823), заслужившее восторженный отзыв Пушкина: «Боратынский — прелесть и чудо. Признание — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий». Построенное в виде лирического монолога, обращенного к прежней возлюбленной, «Признание» перекликается с широко известным стихотворением Боратынского «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...»). Но вместо общих фраз об «изменивших сновиденьях» и «бывалых мечтах» поэт дает в «Признании» глубокий психологический анализ внутренних причин своего охлаждения. В этом умении обнажать «сокрытые движения» человеческого сердца и проявлялось, с каждым годом все более и более ясно, «необщее выраженье» поэтического лица Боратынского.

Таких же успехов достиг Боратынский — правда, несколько позднее (начиная со второй половины двадцатых годов) — и в искусстве эпиграммы. В финляндский период творчества поэта его эпиграммы еще не отличаются оригинальностью и выдержаны в традициях классицистской поэтики. Особенности эпиграммы Боратынского, в том виде, в каком она сложилась во второй половине двадцатых годов, охарактеризованы Пушкиным в следующих словах: «Эпиграмма, определенная законодателем французской поэтики Un bon mot de deux rimes orné *, скоро стареет и, живее действуя в первую минуту, как и всякое острое слово, теряет всю свою силу при повторении. Напротив, в эпиграмме Боратынского, менее тесной, сатирическая мысль приемлет оборот то сказочный, то драматический и развивается свободнее, сильнее. Улыбнувшись ей как острому слову, мы с наслажденьем перечитываем ее как произведение искусства» **. Острота анализа «неправедных изгибов

* Острое слово, украшенное двумя рифмами *(Буало)*.
** Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 223.

сердец людских», в полной мере обнаруживающая «раздробительный» * ум поэта, композиционное и стилистическое разнообразие, образная четкость и афористичность, присущие эпиграммам Боратынского, оправдывают определение, данное им Пушкиным, как «мастерских и образцовых». Лучшие из эпиграмм Боратынского выдерживают сравнение с пушкинскими, не утрачивая при этом своей оригинальности.

В своих творческих исканиях Боратынский больше всего боялся подражательности. И однако обвинений в подражательности он не избежал как со стороны современной ему, так и позднейшей критики. Уже в конце двадцатых годов раздавались голоса, утверждавшие, что Боратынский не более как тень Пушкина. В качестве примеров для этих обвинений привлекались обычно поэмы Боратынского.

Упреки эти неосновательны. «Он шел своею дорогой один и независим», — писал о Боратынском Пушкин **. В этих словах проявилось свойственное великому поэту чуткое понимание чужой творческой индивидуальности, то самое чуткое понимание, которым проникнута его оценка поэзии Рылеева: «Очень знаю, что я его учитель в языке стихотворном, но он идет своею дорогою».

Чем был Пушкин в глазах Боратынского? В письме к Пушкину, посланном в Михайловское в декабре 1825 года, он писал: «Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».

Идя «своею дорогою», Боратынский сознательно уклонялся от подражания Пушкину. Но если рассматривать в широком плане творческие искания Пушкина и Боратынского, то эти искания во многом совпадали, ибо оба поэта стремились к художественно-правдивому воспроизведению действительности.

Подобно Пушкину, Боратынский употребляет термин «романтизм» в смысле передачи жизненной правды, тем самым вкладывая в это понятие реалистическое содержание.

Однако в то время как Пушкин явился основоположником русского реализма, Боратынскому удалось достигнуть лишь отдельных

* Выражение Вяземского о Боратынском.
** Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 224.

успехов в области реалистического изображения природы, быта и характеров. Эти реалистические тенденции творчества Боратынского обнаруживаются в трех его поэмах: «Эда», «Бал» и «Наложница» (позднее переименованная в «Цыганку»). В предисловии к отдельному изданию своей «финляндской повести», как сам автор называл «Эду», он подчеркивает связь этого произведения с действительной жизнью: «Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен... Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская и нравы ее жителей глубоко напечатлелись в его воображении».

«Обыкновенности» сюжета соответствует и «обыкновенность» выведенных в поэме людей. Простодушная, доверчивая Эда, ее строгий отец, жалостливая мать — все они списаны с натуры, так же как и соблазнитель Эды, «шалун бесчинный», каких немало видел вокруг себя Боратынский. Свой отказ от занимательности и необыкновенности сюжета поэт оправдывал тем, что он не хотел подражать Байрону и «не осмелился» состязаться «с певцом Кавказского пленника и Бахчисарайского фонтана». И все же местный колорит, окрашивающий повесть, особенное внимание к изображению природы края, противопоставление непосредственности и простоты героини — сельской девушки Эды — «испорченному» цивилизацией герою — гусару, — все это сильно роднит «Эду» с жанром романтической поэмы. Оригинальность Боратынского в разработке этого жанра выразилась в том, что его гораздо больше, чем других поэтов, не исключая и Пушкина периода «южных поэм», интересует не столько самый сюжет, сколько возможность обрисовать в речах, поступках и даже мимолетных жестах героев «сокрытые движения» их сердец. Именно эту особенность поэмы Боратынского, заключающуюся в очерке «характеров, слегка, но мастерски означенных», и имел, прежде всего, в виду Пушкин, когда писал Дельвигу 20 февраля 1826 г.: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт — всякий говорит по-своему. А описание лифляндской природы! А утро после первой ночи! А сцена с отцом! — чудо!»

Если в «Эде» Боратынский вывел «обыкновенных» людей, то в следующей своей поэме «Бал» он показал людей «необыкновенных», хотя тоже взятых из жизни. «Романтические» образы героев «Бала» — Нины и Арсения — выступают на фоне реалистически-сатирического изображения современной поэту дворянской Москвы.

Первый набросок характера Нины содержится в небольшом стихотворении Боратынского, посвященном ее реальному прототипу — красивой и эксцентричной гр. А. Ф. Закревской, жене финляндского генерал-губернатора: «Как много ты в немного дней...» В этом стихотворении нарисован яркий образ мятежной жрицы страстей, изнемогающей «в тоске душевной пустоты» и бросающейся из одной крайности в другую — от судорожного веселья «русалки» к бурным слезам «Магдалины». Близость героини «Бала», этой «прелестницы опасной» и «упившейся вакханки», женскому образу, нарисованному в упомянутом стихотворении, не подлежит сомнению. Недаром, работая над «Балом», Боратынский писал Н. В. Путяте: «*Она* (т. е. Закревская. — *К. П.*) моя героиня». Жизненность и новизну этого образа почувствовал Пушкин, который в год появления поэмы Боратынского сам отдал дань увлечению Закревской (ср. его стихотворения 1828 года «Портрет» и «Наперсник»). В неоконченном разборе «Бала» Пушкин писал: «Нина исключительно занимает нас. Характер ее совершенно новый, развит con amore *, широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики ** — для нее расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии» ***. Этот «демонический характер в женском образе» (Белинский) резко противопоставлен в поэме чопорным блюстителям и блюстительницам условной и лицемерной светской морали. Это о них говорит Боратынский в самом начале поэмы:

В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Это о них же, ревнителях нравственных устоев «грибоедовской» Москвы, рассказывает он, описывая похороны своей героини:

Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье:
Оно росло, росло, росло

---

* С любовью *(итал.)*.

** В данном случае Пушкин под «метафизикой» разумеет способность Боратынского к психологическому анализу.

*** Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, 1949, стр. 84.

И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Образ героя поэмы Арсения не одинок в русской литературе. Он появился в ту историческую эпоху, когда, по словам Герцена, на смену «энтузиасту Чацкому», «декабристу в глубине души», пришел Онегин, «человек, осужденный на праздность, бесполезный, сбитый с пути, человек чужой в своей семье, чужой в своей стране, не желающий делать зла и бессильный делать добро, не делающий в конце концов ничего». Живучесть этого образа в русской литературе Герцен объяснял его глубокой связью с современной ему русской действительностью, не тем, что «этот тип хотели списывать», а тем, что «его постоянно видишь около себя или в себе самом» *. Несомненно, некоторые черты сходства с Онегиным можно уловить и в Арсении, но в его характере в еще большей степени заметны черты, предвещающие появление на смену пушкинскому Онегину лермонтовского Печорина:

Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах, —
Усмешка праздная блуждала.
. . . .
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким...
. . . .
И сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Образ Арсения живо заинтересовал Белинского, угадавшего в нем «могучую натуру», «сильный характер».

Герою «Бала» сродни герой последней поэмы Боратынского «Наложница» (1831). Томящийся «пределов светских теснотой»,

* Полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, т. XVII, П., Гиз, 1922, стр. 227—228.

Елецкой демонстративно порывает связь с обществом, становится главой «буянов и повес» и бросает прямой вызов свету своим открытым сожительством с цыганкой. Но сообщество вечно пьяных гуляк не удовлетворяет Елецкого. Поэма открывается словами одного из его собутыльников: «Прощай, Елецкой, ты не весел». И он действительно не весел. Проводив гостей, он «брюзгливым оком» окидывает комнату, хранящую «буйного разгулья всегдашний безобразный след». Не находит Елецкой удовлетворения и в любви цыганки, сначала милой ему своей «разгульною душою» и «свободной резвостью»:

К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участья,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.

Работая над своей поэмой, Боратынский называл ее «ультраромантической», разумея при этом верность жизненной правде и множество привлеченных им бытовых подробностей. Изображение неряшливой комнаты Елецкого, только что покинутой пьяными повесами, величественная панорама Москвы, освещенной лучами утренней зари, картина весеннего гулянья под Новинским, легкий набросок Пресненских прудов зимою — все эти описания свидетельствуют о разнообразии словесных красок на палитре Боратынского и о реалистических приемах его письма. Тем не менее «Наложница» была воспринята современной критикой как «ультра-романтическая» поэма в буквальном смысле слова. Эта «романтичность» действительно заключалась в противопоставлении героя обществу, в коллизии сильных и мятежных страстей, в изображении неравного союза Елецкого с цыганкой, в ряде отдельных сюжетных ситуаций, казавшихся критике неестественными и неоправданными. Позднее Белинский указал на неоправданность трагической развязки поэмы, но отметил в ней «хорошие стихи», «прекрасный рассказ» и «выдержанность характеров».

Интересный комментарий к образу Елецкого дал сам Боратынский в своей статье «Антикритика». Опровергая делавшиеся в печати сравнения Елецкого с Онегиным, он говорит: «...сходство Елецкого с Онегиным кажется довольно странным. Онегин человек разоча-

рованный, пресыщенный; Елецкой — страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкой только начинает жить. Онегин скучает от пустоты сердца; он думает, что ничто уже не может занять его; Елецкой скучает от недостатка сердечной пищи, а не от невозможности чувствовать: он еще исполнен надежд, он еще верит в счастье и его домогается. Онегин неподвижен, Елецкой действует».

Появление в творчестве Боратынского образа Елецкого, до известной степени уже подготовленного образом Арсения в «Бале», было вызвано не только наблюдениями поэта над окружающей средой, но и над самим собою.

Знакомя читателя с Елецким, поэт между прочим говорит:

Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья,
Все заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

Сам Боратынский провел в Москве свои детские годы (до смерти отца); затем, по возвращении из Финляндии, оставив военную службу и женившись (в 1826 году), снова поселился в Москве. Однако, подобно своему герою, он оставался чужд привычкам и интересам окружающего московского общества. «Хотя мы заглядываем в свет, — писал он в начале тридцатых годов И. В. Киреевскому, — мы — не светские люди». И это неприятие Боратынским светской Москвы было лишь частным проявлением внутреннего неприятия им реальной русской действительности второй половины двадцатых — тридцатых годов.

Четырнадцатое декабря 1825 года застало Боратынского уже вполне сложившимся человеком. Его «кумиры сердца» были тесно связаны с поколением декабристов. Чувством скорбного воспоминания о них проникнуты строки из стихотворения Боратынского «Родина»:

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано...
. . . .
Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Не случайно, что пессимистические мотивы, звучавшие порою и в ранней лирике Боратынского, значительно обостряются в поздний период его творчества, находя свое предельное выражение в стихотворении «Осень». Великолепная картина осенних дней дана в нем лишь в качестве параллели к изображению «осени дней» поэта — «оратая жизненного поля». Трагическим итогом пройденного пути звучит последняя строфа этого стихотворения.

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой, —
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет.

В 1839 году, в письме к П. А. Плетневу, поэт высказал глубоко знаменательное признание: «Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжеле всех годов моего финляндского заточения».

Этот период жизни Боратынского протекал внешне вполне благополучно, отмеченный безмятежным семейным счастьем. Оживленная хозяйственная деятельность Боратынского-помещика упрочивает материальное его благосостояние. Чрезвычайной интенсивностью и разнообразием отличается и литературная деятельность поэта. Итог финляндскому периоду творчества был подведен Боратынским сборником стихов, вышедшим еще в 1827 году. К 1829—1830 годам относится работа поэта над «Наложницей», к 1831 году — над не дошедшей до нас драмой; одновременно Боратынский обдумывает замысел «эклектического» романа, в котором намеревается дать обобщенный анализ различных свойств физической и духовной природы человека, пишет «Жизнь Дельвига» (не была закончена и не сохранилась) и романтическую повесть в прозе «Перстень». В 1835 году он выпускает второе издание своих стихотворений, подвергая при этом большую их часть значительной переработке. В напряженной творческой деятельности Боратынский стремится найти применение своим силам и преодолеть мучительные пессимистические настроения, с каждым годом все более и более овладевающие им. Нарастание

этих настроений станет понятным, если мы вспомним, что именно к тому самому десятилетию в личной жизни Боратынского, которое, по его словам, не имело «никакой особенности», относятся такие факты общественно-литературной жизни, как запрещение «Литературной газеты» Дельвига (1830), вскоре за тем последовавшая смерть самого Дельвига (1831), закрытие на третьем номере журнала И. В. Киреевского «Европеец» (1832), объявление сумасшедшим П. Я. Чаадаева за напечатание им «Философического письма» (1836), трагическая гибель Пушкина, воспринятая Боратынским как «общественное бедствие». Все эти факты и ряд других им подобных свидетельствовали об организованном наступлении николаевского правительства на те общественные силы, в которых оно видело зерно оппозиции. Гонению со стороны самодержавия подверглись как друзья и сверстники Боратынского, так и представители младшего литературного поколения (Киреевский), в котором поэт искал для себя сочувственную и воодушевляющую аудиторию. Сближение Боратынского с И. Киреевским и его друзьями не оказалось прочным и к концу тридцатых годов завершилось резким и полным разрывом всех литературных и личных отношений. Настоящие причины этого разрыва до сих пор остаются неясными, но несомненно, что даже в пору наиболее тесного общения Боратынского с кругом Киреевского полной идейной солидарности между ними не было. Поэт отнюдь не склонен был безоговорочно разделять распространенное в этом кругу увлечение немецкой идеалистической философией. Однако участие в спорах на философские темы не прошло для поэта бесследно; оно будило его мысль, склонную к рефлексии и анализу. «Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и состязания; но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окончательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему чужды, как, например, вопросы внешней политики или новой немецкой философии...» — так вспоминал впоследствии Вяземский.

Поздняя лирика Боратынского, будучи прежде всего поэзией мысли, точнее всего может быть определена как философская лирика. Но следует остерегаться всяких попыток истолковать ее в смысле поэтического выражения определенной системы отвлеченных философских взглядов. Источником лирических стихотворений Боратынского конца двадцатых — тридцатых годов служит — говоря словами Белинского — взгляд поэта на жизнь. И не случайно, что центральной темой поздней лирики Боратынского является тема поэта, его призвания и его судьбы. Тема эта теснейшим образом связана со стремлением Боратынского осознать свое место в современности.

В стихотворении «На смерть Гете» (1832) Боратынский поставил перед собой задачу нарисовать образ поэта, воплотившего в себе творческую разносторонность человеческой личности. Белинский неоднократно упоминал в своих статьях об этом стихотворении, называя его «замечательным» и «превосходным». В статье о стихотворениях Лермонтова (1840) Белинский процитировал следующие две строфы из стихотворения Боратынского «На смерть Гете»:

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
    Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
    Цветущих временупованья;
Мечтою по воле проникнуть он мог
    И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
    Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
    И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
    И с ним говорила морская волна.

«В этих двенадцати стихах Боратынского о Гете, — замечает Белинский, — заключается высший идеал человеческой жизни и все, что можно сказать о жизни *внутреннего* человека.

Но, кроме природы и личного человека, есть еще общество и человечество. Как бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била она вовне и какими бы волнами ни лилась через край, — она неполна, если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества».

Возникает естественный вопрос: ставил ли перед собой Боратынский задачу уяснить те отношения, которые существовали в его время между жизнью общества и целями искусства? Уяснить эту задачу он пытался. Так, например, в 1833 году Боратынский сообщал Вяземскому, что занят переделкой для печати своих старых стихотворений, нового же не пишет ничего, ибо «время поэзии индивидуальной прошло — другой еще не наступило». Предвестие этой «другой» поэзии Боратынский был склонен видеть в политической лирике Барбье, порожденной событиями июльской революции 1830 года во Франции. «Для создания новой поэзии недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма.

Это, как я вижу, явилось в Барбье», — пишет Боратынский И. В. Киреевскому и тут же прибавляет: «Но вряд ли он найдет у нас отзыв». В условиях современной ему русской действительности Боратынский не находил для себя «сферы деятельности». Порою ему начинало казаться, что Россия для него «необитаема», что нужно «мыслить в молчании». Тяжелые думы поэта были думами поколения, отошедшего от прежних «кумиров» и не уверовавшего в новые, — поколения, остро ощущавшего свой разрыв с современностью.

Развитие буржуазно-капиталистических отношений наводит Боратынского на глубоко пессимистические мысли о несовместимости материальной культуры и культуры духовной. Еще в стихотворении «Последняя смерть» (1827) он изобразил смену двух «полных эпох»: эпохи высших завоеваний «разума», величайшего расцвета просвещения, и эпохи безграничного господства «фантазии», беспредельного развития «высоких снов». Эти эпохи сменяют друг друга, а за ними наступает смерть человечества. В более позднем стихотворении «Последний поэт» (середина тридцатых годов) Боратынский высказывает мысль о ненужности поэта в «железный» капиталистический век, о непримиримости поэзии с «насущным» и «полезным», о гибельности научных открытий для поэтической фантазии:

Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Поэту, «питомцу Аполлона», не остается ничего другого, как потопить в морских волнах (ибо только море еще остается непокорным человеку) «свои мечты, свой бесполезный дар».

Художественной силой выражения глубоко неверной по существу мысли стихотворение «Последний поэт» привлекло к себе особое внимание Белинского, расценивавшего его как философский синтез раздумий Боратынского на тему о месте поэта в современном обществе. На примере этого стихотворения Белинский с необыкновенной остротой вскрыл ограниченность мировоззрения поэта. С революционно-демократических позиций, на которые в начале сороковых годов вступил великий критик, он сам отлично видел, что «дух

меркантилизма уже чересчур овладел» буржуазно-капиталистическим веком, что век этот «уже слишком низко поклонился златому тельцу». Но, кроме этого, Белинский видел и другое. Взор его был устремлен в будущее, озаренное для него идеями социализма. В свете этих идей современная ему действительность воспринималась Белинским, как неизбежный и необходимый «переходный момент» в развитии человечества; взгляд Боратынского на современность пессимистичен, ибо для поэта «железный» век с его «корыстью» знаменует конечную стадию развития человечества.

В конкретно-исторических условиях, в которых жил и боролся Белинский, появление такого стихотворения, как «Последний поэт», требовало самого резкого отпора — и Белинский с присущей ему прямотой обрушился на «ложную мысль» этих «чудных, гармонических», «дивных стихов». Непосредственным поводом для написания статьи о Боратынском послужило для Белинского появление в 1842 году последнего прижизненного сборника стихотворений поэта «Сумерки». Стихотворение «Последний поэт» было помещено в этом сборнике на первом месте. В своем разборе поэзии Боратынского Белинский воспользовался не одними «Сумерками», но также и стихотворениями, помещенными в издании 1835 года.

Белинский прекрасно понимал, что противоречия мировоззрения Боратынского были порождены противоречиями действительности. Его поэзия «вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко растерзанного сердца» и выразила собою «ложное состояние переходного поколения». Отсюда этот «несчастный раздор мысли с чувством, истины с верованием», составляющий основу его стихотворных раздумий; отсюда ошибочное представление о том, что разум является «врагом чувства», а истина — «губителем счастья». «Полнота и единство человеческой натуры, — говорит Белинский, — заключается в органическом единстве разума и чувства», освященном «верой в идею».

Этого единства не сумел достигнуть Боратынский, но он к нему настойчиво стремился. Он сам сознавал противоречивость своего мировоззрения и своего творчества, когда указывал, что в его стихах отразилась вся его жизнь —

Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

(«К князю П. А. Вяземскому»)

К преодолению этих внутренних противоречий мучительно рвался поэт:

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?

В стихотворении «Последний поэт» Боратынский дает не окончательное решение проблемы судьбы поэта и отношения его к современности. Почти одновременно с этим стихотворением поэт написал другое, которое он хотел поместить в качестве стихотворного «предисловия» к изданию 1835 года, — «Вот верный список впечатлений...» Намереваясь бросить перо и предаться «покою» и «домашним отрадам», поэт вдруг как бы спохватывается:

Но что? С бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос: родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

Если сборник «Сумерки» открывался стихотворением «Последний поэт», то завершался он стихотворением «Рифма», в котором, вместо поэта, воспевающего «любовь и красоту», выступает поэт-оратор, «славословящий» или «оплакивающий» «народную фортуну». Правда, образ этот отнесен в далекое прошлое, поэт-оратор выступает на «греческом амвоне» и «римской трибуне», но все стихотворение проникнуто пафосом горького сожаления, что «нашей мысли торжищ нет», что «нашей мысли нет форума».

Факты, относящиеся к самому последнему году жизни Боратынского, указывают на то, что в мировоззрении поэта происходил перелом в сторону преодоления пессимистических настроений. Осенью 1843 года он предпринял путешествие в Италию. По дороге он посетил Париж, где прожил несколько месяцев (с конца

ноября 1843 до апреля 1844 года). Здесь он сблизился с кругом своих соотечественников — декабристом Н. Тургеневым, эмигрантом И. Головиным, членом кружка Герцена и Огарева Н. Сатиным и другими. «Наши здешние знакомые нам показали столько благорасположения, столько дружбы, что залечили старые раны», — писал Боратынский Н. В. Путяте, намекая в этих словах на расхождение свое с московскими друзьями. Русская колония в Париже приняла Боратынского как одного «из стаи славной» поколения декабристов. Недаром в книге И. Головина «La Russie sous Nicolas I», вышедшей в Париже в 1845 году, Боратынский рассматривался как жертва самодержавия. В таком же плане упомянул его имя Герцен в своем известном произведении «О развитии революционных идей в России».

Пребывание в Париже, ознаменованное постоянным общением с Н. Тургеневым и с прогрессивно настроенными представителями молодой России, внутренне освежило и обновило Боратынского. У них обнаружились общие интересы и общий язык. В кругу своих новых знакомых поэт нашел то, чего недоставало ему на родине: сочувственную и возбуждающую к деятельности аудиторию. «В Париже мы сблизились с ним и полюбили его всей душой, — пишет Сатин в своих воспоминаниях о Боратынском. — Он имел много планов и умер, завещая нам привести их в исполнение». О том же говорит Сатин и в стихах, посвященных памяти поэта:

На жизнь смотрел хоть грустно он, но смело
И все вперед спешил;
Он жаждал дел, он нас сзывал на дело...
. . . .
Он нам твердил: вперед, младые братья,
Пред истиной все прах!

Для своих новых друзей Боратынский устроил обед, на котором один из «младых братьев» произнес пламенную речь на тему об уничтожении крепостного права. Вопрос этот и раньше волновал Боратынского. Еще в 1842 году, с неоправданным доверием отнесясь к правительственному манифесту об «обязанных» крестьянах *, он писал: «У меня солнце в сердце, когда думаю о будущем».

---

* См. на стр. 529—530 настоящего издания письмо Боратынского к Н. В. Путяте и на стр. 614 примечания к нему.

Знакомство с общественно-политической и литературной жизнью Парижа вызвало у Боратынского отрицательное отношение к культуре буржуазного Запада. На чужбине с особой остротой ощутил поэт чувство любви к родине, сочетавшееся у него с патриотической верой в будущее русского народа. Приветствуя Н. В. Путяту и его жену с новым 1844 годом, он писал:

«Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который никак незаменим здешней наукой; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодрее и блистательнее и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе двенадцатью днями других народов и посему переживем их, может быть, двенадцатью столетиями».

Тем же бодрым, жизнеутверждающим пафосом дышат строфы одного из лучших стихотворений Боратынского «Пироскаф». Оно было написано поэтом весной 1844 года во время переезда морем из Марселя в Неаполь:

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

Планы и надежды Боратынского остались творчески невоплощенными. 29 июня 1844 года поэт внезапно скончался в Неаполе. Тело Боратынского было перевезено в Россию и погребено в Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

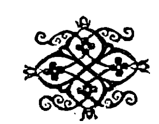
* *
*

В ряду немногих откликов печати на смерть Боратынского особенного внимания заслуживает отклик Белинского, содержащийся в его обзоре «Русская литература в 1844 году». По мнению критика, Боратынский был поэтом, который «мыслил стихами»: «*Дума* всегда преобладала в них над непосредственностью творчества. Почти каждое стихотворение Боратынского было порождаемо не стремлением осуществить идеальные видения фантазии художника, но необходимостью высказать скорбную мысль, навеянную на поэта созерцанием жизни... Читая стихи Боратынского, забы-

ваешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал, следовательно жил, как не всем дано жить... Поэзия Боратынского — не нашего времени; но мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Боратынского, потому что всегда найдет в них *человека* — предмет вечно интересный для человека».

В этих глубоко проникновенных словах великого критика и революционера-демократа дана, бесспорно, самая лучшая и справедливая оценка поэтического творчества Боратынского.

К. Пигарев



СТИХОТВОРЕНИЯ

ЖЕНЩИНЕ ПОЖИЛОЙ, НО ВСЕ ЕЩЕ ПРЕКРАСНОЙ

Взгляните: свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает!

К АЛИНЕ

Тебя я некогда любил,
И ты любить не запрещала;
Но я дитя в то время был —
Ты в утро дней едва вступала.
Тогда любим я был тобой,
И в дни невинности беспечной
Алине с детской простотой
Я клятву дал уж в страсти вечной.

Тебя ль, Алина, вижу вновь?
Твой голос стал еще приятней;
Сильнее взор волнует кровь;
Улыбка, ласки сердцу внятней;
Блестящих на груди лилей
Все прелести соединились,
И чувства прежние живей
В душе моей возобновились.

Алина! чрез двенадцать лет
Все тот же сердцем, ныне снова
Я повторяю свой обет.
Ужель не скажешь ты полслова?
Прелестный друг! чему ни быть,
Обет сей будет свято чтимым.
Ах! я могу еще любить,
Хотя не льщусь уж быть любимым.

ПОРТРЕТ В...

Как описать тебя? — я, право, сам не знаю!
Вчера задумчива, я помню, ты была;
Сегодня ветрена, забавна, весела;
    Во всем, что лишь в тебе встречаю,
    Непостоянство примечаю;
    Но постоянно ты мила!

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА

(В альбом)

Любовь и дружбу различают,
Но как же различить хотят?
Их приобресть равно желают,
Лишь нам скрывать одну велят.
Пустая мысль! обман напрасный!
Бывает дружба нежной, страстной,
Стесняет сердце, движет кровь,
И хоть таит свой огнь опасный,
Но с девушкой она прекрасной
Всегда похожа на любовь.

ЭПИГРАММА

Дамон! ты начал — продолжай,
Кропай экспромпты на досуге;
Возьмись за гений свой: пиши, черти, марай;
У пола нежного в бессменной будь услуге;
Наполни вздохами растерзанную грудь;
Ни вкусу не давай, ни разуму потачки —
И в награждение любимцем куклы будь,
Или соперником собачки.

К КРЕНИЦЫНУ

Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!
Где время прежнее, где прежние мечтанья?
И живость детских чувств и сладость упованья! —
Всё хладный опыт истребил.
Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет,
Уж многие мечты ему чужими стали!
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее:
Он осторожней стал, быть может стал умнее,
Но, верно, счастием теперь стократ бедней.
Не подражай ему! иди своей тропою!
Живи для радости, для дружбы, для любви!
Цветок нашел — скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!
Когда рассеянно, с унынием внимать
Я буду снам твоим о будущем, о счастье,
Когда в мечтах твоих не буду принимать,
Как прежде, пылкое, сердечное участье, —
Не сетуй на меня, о друге пожалей:
Все можно возвратить — мечтанья не возвратны!
Так! были некогда и мне они приятны,
Но быстро скрылись от очей!
Я легковерен был: надежда, наслажденья
Меня с улыбкою манили в темну даль,

Я встретить радость мнил — нашел одну печаль,
И сердцу милое исчезло заблужденье.
Но для чего грустить? — Мой друг еще со мной!
Я не всего лишен судьбой ожесточенной!
О дружба нежная! останься неизменной!
Пусть будет прочее мечтой!

ДЕЛЬВИГУ

Так, любезный мой Гораций,
Так, хоть рад, хотя не рад,
Но теперь я Муз и Граций
Променял на вахтпарад;
Сыну милому Венеры,
Рощам Пафоса, Цитеры,
Приуныв, прости сказал;
Гордый лавр и мирт веселый
Кивер воина тяжелый
На главе моей измял.
Строю нет в забытой лире,
Хладно день за днем идет,
И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает!

Мне ли думать о куплетах?
За свирель... я тут беды!
Марс, затянутый в штиблетах,
Обегает уж ряды,
Кличет ратников по-свойски...
О судьбы переворот!
Твой поэт летит геройски
Вместо Пинда — на развод.

Вам, свободные Пииты,
Петь, любить; меня же вряд
Иль Камены, иль Хариты
В карауле навестят.

Вольный баловень забавы,
Ты, которому дают

Говорливые дубравы
Поэтический приют,
Для кого в долине злачной,
Извиваясь, ключ прозрачный
Вдохновительно журчит,
Ты, кого зовут к свирели
Соловья живые трели,
Пой, любимец Аонид!
В тихой, сладостной кручине
Слушать буду голос твой,
Как внимают на чужбине
Языку страны родной.

ПРОЩАНИЕ

Простите, милые досуги
Разгульной юности моей,
Любви и радости подруги,
Простите! вяну в утро дней!
Не мне стезею потаенной,
В ночь молчаливую, тишком,
Младую деву под плащом
Вести в альков уединенный —
Бежит изменница любовь!
Светильник дней моих бледнеет,
Ее дыханье не согреет
Мою хладеющую кровь.
Следы печалей, изнуренья
Приметит в страждущем она.
Не смейтесь, девы наслажденья:
И ваша скроется весна,
И вам пленять не долго взоры
Младою пышной красотой;
За что ж в болезни роковой
Я слышу горькие укоры?
Я прежде бодр и весел был,
Зачем печального бежите?
Подруги милые! вздохните:
Он сколько мог любви служил.

Т—МУ В АЛЬБОМ

Земляк! в стране чужой, суровой
Сошлись мы вновь, и сей листок
Ждет от меня заветных строк
На память для разлуки новой.
Ты любишь милую страну,
Где жизнь и радость мы узнали,
Где зрели первую весну,
Где первой страстию пылали.
Покинул я предел родной!
Так и с тобою, друг мой милый,
Здесь проведу я день, другой,
И, как узнать? в стране чужой
Окончу я мой век унылый;
А ты увидишь дом отцов,
А ты узришь поля родные
И прошлых счастливых годов
Вспомянешь были золотые.
Но где товарищ, где поэт,
Тобой с младенчества любимый?
Он совершил судьбы завет,
Судьбы враждебной с юных лет
И до конца непримиримой!
Когда ж стихи мои найдешь,
Где складу нет, но чувство живо,
Ты их задумчиво прочтешь,
Глаза потупишь молчаливо...
И тихо лист перевернешь.

МОЯ ЖИЗНЬ

Люблю за дружеским столом
С моей семьею домовитой
О настоящем, о былом
Поговорить душой открытой.

Люблю пиров веселый шум
За полной чашей райской влаги,
Люблю забыть для сердца ум
В пылу вакхической отваги.

Люблю с красоткой записной
На ложе неги и забвенья
По воле шалости младой
Разнообразить наслажденья.

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Посланница небес, бессмертных дар счастливый,
Подруга тихая печали молчаливой,
О память! — ты одна беседуешь со мной,
Ты возвращаешь мне отъятое судьбой;
Тобою счастия мгновенья легкокрылы,
Давно протекшие, в мечтах мне снова милы.
Еще в забвении дышу отрадой их;
Люблю, задумавшись, минувших дней моих
Воспоминать мечты, надежды, наслажденья,
Минуты радости, минуты огорченья.
Не раз волшебною взлелеянный мечтой,
Я в ночь безмолвную беседовал с тобой;
И в дни счастливые на час перенесенный,
Дремал утешенный и с жизнью примиренный.

Так, всем обязан я твоим приветным снам.
Тебя я петь хочу; — дай жизнь моим струнам,
Цевнице вторь моей; — твой голос сердцу внятен,
И резвой радости и грусти он приятен.
Ах! кто о прежних днях порой не вспоминал?
Кто жизнь печальную мечтой не украшал?
Смотрите: — вот старик седой, изнеможенный,
На ветхих костылях под ношей лет согбенный,
Он с жизнью сопряжен страданием одним;
Уже могилы дверь отверста перед ним; —
Но он живет еще! — он помнит дни златые!
Он помнит резвости и радости младые!
С товарищем седым, за чашей круговой,
Мечтает о былом, и вновь цветет душой;
Светлеет взор его, весельем дух пылает,
И руку друга он с восторгом пожимает.

. . . .

. . . .

Наскучив странствием и жизни суетою,
Усталый труженик под кровлею родною
Вкушает сладостный бездействия покой;
Благодарит богов за мирный угол свой;
Забытый от людей блажит уединенье,
Где от забот мирских нашел отдохновенье;
Но любит вспоминать он были прежних лет,
И море бурное, и столько ж бурный свет,
Мечтанья юности, восторги сладострастья,
Обманы радости и ветреного счастья;
Милее кажется ему родная сень,
Покой отраднее, приятней рощи тень,
Уединенная роскошнее природа,
И тихо шепчет он: «всего милей свобода!»

О дети памяти! о Фебовы сыны!
Певцы бессмертные! кому одолжены
Вы силой творческой небесных вдохновений?
— «Отзыву прежних чувств и прежних
впечатлений». —
Они неопытный развить умели ум,
Зажгли, питали в нем, хранили пламень дум.
Образовала вас природа — не искусство:
Так чувство выражать одно лишь может чувство.
Когда вы кистию волшебною своей
Порывы бурные, волнение страстей
Прелестно, пламенно и верно выражали,
Вы отголоску их в самих себе внимали.
Ах, скольких стоит слез бессмертия венец!

. . . .

. . . .

. . . .

Но все покоится в безмолвии ночном,
И вежды томные сомкнулись тихим сном.
Воспоминания небесный, светлый гений
К нам ниспускается на крыльях сновидений.
В пленительных мечтах, одушевленных им,
И к играм и к трудам обычным мы спешим:
Пастух берет свирель, владелец — багряницу,
Художник — кисть свою, поэт — свою цевницу,

Потомок рыцарей, взлелеянный войной,
Сверкающим мечом махает над главой,

. . . .

. . . .

Доколе памяти животворящий свет
Еще не озарил туманной бездны лет,
Текли в безвестности века и поколенья;
Все было жертвою безгласного забвенья:
Дела великие не славились молвой,
Под камнем гробовым незнаем тлел герой.
Преданья свет блеснул — и камни глас прияли,
Века минувшие из тьмы своей восстали;
Народы поздние урокам внемлют их,
Как гласу мудрому наставников седых.

Рассказы дивные! волшебные картины!
Свободный, гордый Рим! блестящие Афины!
Великолепный ряд триумфов и честей!
С каким волнением внимал я с юных дней
Бессмертным повестям Плутарха, Фукидида!
Я персов поражал с дружиной Леонида;
С отцом Виргинии отмщением пылал,
Казалось, грудь мою пронзил его кинжал;
И подданный царя, защитник верный трона,
В восторге трепетал при имени Катона.

. . . .

. . . .

Но любопытный ум в одной ли тьме преданий
Найдет источники уроков и познаний? —
Нет; все вокруг меня гласит о прежних днях.
Блуждая странником в незнаемых краях,
Я всюду шествую, минувшим окруженный.
Я вопрошаю прах дряхлеющей вселенной:
И грады, и поля, и сей безмолвный ряд
Рукою времени набросанных громад.
Событий прежних лет свидетель молчаливый,
Со мной беседует их прах красноречивый.
Здесь отвечают мне оракулы времен:
Смотрите — видите ль, дымится Карфаген!
Полнеба Африки пожарами пылает!
С протяжным грохотом Пальмира упадает!

Как волны дымные бегущих облаков
Мелькают предо мной события веков.
Печать минувшего повсюду мною зрима...
Поля Авзонии! державный пепел Рима!
Глашатаи чудес и славы прежних лет!
С благословеньем вас приветствует поэт.
Смотрите, как века незримо пролетая,
Твердыни древние и горы подавляя,
Бросая гроб на гроб, свергая храм на храм,
Остатки гордые являют Рима нам.
Великолепные, бессмертные громады!
Вот здесь висящих рек шумели водопады,
Вот здесь входили в Рим когорты плебеян,
Обремененные богатством дальних стран;
Чертогов, портиков везде я зрю обломки,
Где начертал резец римлян деянья громки.
Не смела времени разрушить их рука,
И возлегли на них усталые века.
Все, все вещает здесь уму, воображенью.
Внимайте времени немому поученью!
Познайте тления незыблемый закон!
Из-под развалин сих вещает глухо он:
«Все гибнет, все падет — и грады, и державы»...
О колыбель наук, величия и славы!
Отчизна светлая героев и богов!
Святая Греция! теперь толпы рабов
Блуждают на брегах божественной Эллады;
Ко храму ветхому Дианы иль Паллады
Шалаш пристроил свой ленивый рыболов!
Ты б не узнал, Солон, страну своих отцов;
Под чуждым скипетром главой она поникла;
Никто не слышит там о подвигах Перикла; —
Все губит, все мертвит невежества ярем.
Но неужель для нас язык развалин нем?
Нет, нет, лишь понимать умейте их молчанье, —
И новый мир для вас создаст воспоминанье.

. . . .

. . . .

Счастлив, счастлив и тот, кому дано судьбою
От странствий отдохнуть под кровлею родною,
Увидеть милую, священную страну,
Где жизни он провел прекрасную весну,

Провел невинное, безоблачное детство.
О край моих отцов! о мирное наследство!
Всегда присутственны вы в памяти моей:
И в берегах крутых сверкающий ручей,
И светлые луга, и темные дубравы,
И сельских жителей приветливые нравы. —
Приятно вспоминать младенческие дни...
. . . .
. . . .
Когда, едва вздохнув для жизни неизвестной,
Я с тихой радостью взглянул на мир прелестный, —
С каким восторгом я природу обнимал!
Как свет прекрасен был! — Увы! тогда не знал
Я буйственных страстей в беспечности невинной:
Дитя, взлелеянный природою пустынной,
Ее одну лишь зрел, внимал одной лишь ей;
Сиянье солнечных, торжественных лучей
Веселье тихое мне в сердце проливало;
Оно с природою в ненастье унывало;
Не знал я радостей, не знал я мук других,
За мигом не умел другой предвидеть миг;
Я слишком счастлив был спокойствием незнанья;
Блаженства чуждые и чуждые страданья
Часы невидимо мелькали надо мной...
О, суждено ли мне увидеть край родной,
Друзей оставленных, друзей всегда любимых,
И сердцем отдохнуть в тени дерев родимых?..
Там счастье я найду в отрадной тишине.
Не нужны почести, не нужно злато мне; —
Отдайте прадедов мне скромную обитель.
Забытый от людей, дубрав безвестных житель,
Не позавидую надменным богачам;
Нет, нет, за тщетный блеск я счастья не отдам;
Не стану жертвовать фортуне своевольной
Спокойной совестью, судьбой своей довольный,
И песни нежные, и мирный фимиам
Я буду посвящать отеческим богам.

Так перешедши жизнь незнаемой тропою,
Свой подвиг совершив, усталою главою
Склонюсь я, наконец, ко смертному одру;
Для дружбы, для любви, для памяти умру;

И все умрет со мной! — Но вы, любимцы Феба,
Вы, вместе с жизнию принявшие от неба
И дум возвышенных, и сладких песней дар!
Враждующей судьбы не страшен вам удар:
Свой век опередив, заране слышит гений
Рукоплескания грядущих поколений.

. . . .
. . . .

БРАТУ ПРИ ОТЪЕЗДЕ В АРМИЮ

Итак, мой милый, не шутя,
Сказав прости домашней неге,
Ты, ус мечтательный крутя,
На шибко скачущей телеге,
От нас, увы! далеко прочь,
О нас, увы! не сожалея,
Летишь курьером день и ночь
Туда, туда, к шатрам Арея!
Итак, в мундире щегольском,
Ты скоро станешь в ратном строе
Меж удальцами удальцом!
О милый мой! согласен в том:
Завидно счастие такое!
Не приобщуся невпопад
Я к мудрецам чрез меру важным.
Иди! воинственный наряд
Приличен юношам отважным.
Люблю я бранные шатры,
Люблю беспечность полковую,
Люблю красивые смотры,
Люблю тревогу боевую,
Люблю я храбрых, воин мой,
Люблю их видеть в битве шумной
Летящих в пламень роковой
Толпой веселой и безумной!
Священный долг за ними вслед
Тебя зовет, любовник брани;
Ступай, служи богине бед,
И к ней трепещущие длани
С мольбой подымет твой поэт.

ЭПИГРАММА

Поэт Писцов в стихах тяжеловат,
Но я люблю незлобного собрата:
Ей, ей! не он пред светом виноват,
А перед ним природа виновата.

РОПОТ

Он близок, близок день свиданья,
Тебя, мой друг, увижу я!
Скажи: восторгом ожиданья
Что ж не трепещет грудь моя?
Не мне роптать; но дни печали,
Быть может, поздно миновали:
С тоской на радость я гляжу, —
Не для меня ее сиянье,
И я напрасно упованье
В больной душе моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастлив я ошибкой,
И не к лицу веселье мне.

К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

Прости, Поэт! судьбина вновь
Мне посох странника вручила;
Но к Музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!

Прости! бог весть — когда опять,
Желанный друг в гостях у друга,
Я счастье буду воспевать
И негу праздного досуга!

О милый мой! всё в дар тебе —
И грусть, и сладость упованья!
Молись невидимой судьбе:
Она приближит час свиданья.

И я, с пустынных финских гор,
В отчизне бранного Одена,
К ней возведу молящий взор,
Упав смиренно на колена.

Строга ль богиня будет к нам,
Пошлет ли весть соединенья? —
Пускай пред ней сольются *там*
Друзей согласные моленья!

РАЗЛУКА

Расстались мы; на миг очарованьем,
На краткий миг была мне жизнь моя;
Словам любви внимать не буду я,
Не буду я дышать любви дыханьем!
Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!
Одно теперь унылое смущенье
Осталось мне от счастья моего.

К— ву

Любви веселый проповедник,
Всегда любезный говорун,
Глубокомысленный шалун,
Назона правнук и наследник!
Дана на время юность нам;
До рокового новоселья
Пожить не худо для веселья.
Товарищ милый, по рукам!
Наука счастья нам знакома,
Часы летят! — Скорей зови
Богиню милую любви!
Скорее ветреного Мома!
Альков уютный приготовь!
Наполни чаши золотые!
Изменят скоро дни младые,
Изменит скоро нам любовь!
Летящий миг лови украдкой. —
И Гея, Вакх еще с тобой!
Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет, —
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!

К ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ НА ВОПРОС: КАК ЕЕ ЗОВУТ? ОТВЕЧАЛА: НЕ ЗНАЮ

Незнаю, милая *Незнаю!*
Краса пленительна твоя:
Незнаю я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я.

ФИНЛЯНДИЯ

В свои расселины вы приняли певца,
Граниты финские, граниты вековые,
    Земли ледяного венца
    Богатыри сторожевые.
Он с лирой между вас. Поклон его, поклон
    Громадам, миру современным:
    Подобно им, да будет он
    Во все годины неизменным!
Как все вокруг меня пленяет чудно взор!
    Там, необъятными водами,
    Слилося море с небесами;
Тут с каменной горы к нему дремучий бор
    Сошел тяжелыми стопами,
Сошел — и смотрится в зерцале гладких вод!
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,
На скалы финские без мрака ночь нисходит
    И только что себе в убор
    Алмазных звезд ненужный хор
    На небосклон она выводит!
Так вот отечество Одиновых детей,
    Грозы народов отдаленных!
Так это колыбель их беспокойных дней,
    Разбоям громким посвященных!

Умолк призывный щит, не слышен Скальда глас,
    Воспламененный дуб угас,
Развеял буйный ветр торжественные клики;
Сыны не ведают о подвигах отцов;
    И в дольном прахе их богов
    Лежат низверженные лики!
И всё вокруг меня в глубокой тишине!

О вы, носившие от брега к брегу бои,
Куда вы скрылися, полночные герои?
Ваш след исчез в родной стране.
Вы ль, на скалы ее вперив скорбящи очи,
Плывете в облаках туманною толпой?
Вы ль? дайте мне ответ, услышьте голос мой,
Зовущий к вам среди молчанья ночи.
Сыны могучие сих грозных, вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылися в обители теней!
И ваши имена не пощадило время!
Что ж наши подвиги, что слава наших дней,
Что наше ветреное племя?
О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!
Для всех один закон, закон уничтоженья,
Во всем мне слышится таинственный привет
Обетованного забвенья!

Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя,
Я, беззаботливый душою,
Вострепещу ль перед судьбою?
Не вечный для времен, я вечен для себя:
Не одному ль воображенью
Гроза их что-то говорит?
Мгновенье мне принадлежит,
Как я принадлежу мгновенью!
Что нужды до былых иль будущих племен?
Я не для них бренчу незвонкими струнами;
Я, невнимаемый, довольно награжден
За звуки звуками, а за мечты мечтами.

ФИНСКИМ КРАСАВИЦАМ

(Мадригал)

Так — ваш язык еще мне нов,
Но взоры милых сердцу внятны,
И звуки незнакомых слов
Давно душе моей понятны.
Я не умел еще любить —
Опасны сердцу ваши взгляды!
И сын Фрегеи, может быть,
Сильнее будет сына Лады!

ВЕСНА

(Элегия)

Мечты волшебные, вы скрылись от очей!
    Сбылися времени угрозы!
Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
    Поблекли утренние розы!

Благоуханный Май воскреснул на лугах,
    И пробудилась Филомела,
И Флора милая, на радужных крылах,
    К нам обновленная слетела.

Вотще! не для меня долины и леса
    Одушевились красотою,
И светлой радостью сияют небеса!
    Я вяну, — вянет все со мною!

О где вы, призраки невозвратимых лет,
    Богатство жизни — вера в счастье?
Где ты, младого дня пленительный рассвет?
    Где ты, живое сладострастье?

В дыхании весны все жизнь младую пьет
    И негу тайного желанья!
Все дышит радостью и, мнится, с кем-то ждет
    Обетованного свиданья!

Лишь я как будто чужд природе и весне:
    Часы крылатые мелькают;
Но радости принесть они не могут мне
    И, мнится, мимо пролетают.

ПОСЛАНИЕ Б<АРОНУ> ДЕЛЬВИГУ

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?

Ужель душе твоей так скоро чуждым стал
Друг отлученный, друг далекой,
На финских берегах, между пустынных скал,
Бродящий с грустью одинокой?

Где ты, о Дельвиг мой! ужель минувших дней
Лишь мне чувствительна утрата,
Ужель не ищешь ты в кругу своих друзей
Судьбой отторженного брата?

Ты помнишь ли те дни, когда рука с рукой,
Пылая жаждой сладострастья,
Мы жизни вверились и общею тропой
Помчались за мечтою счастья?

«Что в славе? что в молве? на время жизнь дана!» —
За полной чашей мы твердили
И весело в струях блестящего вина
Забвенье сладостное пили.

И вот сгустилась ночь, и всё в глубоком сне —
Лишь дышит влажная прохлада;
На стогнах тишина! сияют при луне
Дворцы и башни Петрограда.

К знакомцу доброму стучится Купидон.
«Пусть дремлет труженик усталый!

Проснися, юноша, отвергни, — шепчет он, —
Покой бесчувственный и вялый.

Взгляни! ты видишь ли: покинув ложе сна,
Перед окном, полуодета,
Томленья страстного в душе своей полна,
Счастливца ждет моя Лилета?»

Толпа безумная! напрасно ропщешь ты!
Блажен, кто легкою рукою
Весной умел срывать весенние цветы
И в мире жил с самим собою;

Кто без уныния глубоко жизнь постиг
И, равнодушием богатый,
За царство не отдаст покоя сладкий миг
И наслажденья миг крылатый!

Давно румяный Феб прогнал ночную тень,
Давно проснулися заботы,
А баловня забав еще покоит лень
На ложе неги и дремоты.

И Лила спит еще: любовию горят
Младые свежие ланиты,
И, мнится, поцелуй сквозь тонкий сон манят
Ее уста полуоткрыты.

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
Как блеск зарницы полуночной!

И я, певец утех, пою утрату их,
И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
И на ногах моих оковы.

УТЕШЕНИЕ

Свободу дав тоске моей,
Уединенный, я недавно
О наслажденьях прежних дней
Жалел и плакал своенравно.
Все обмануло, думал я,
Чем сердце пламенное жило,
Что восхищало, что томило,
Что было цветом бытия!
Наставлен истиной угрюмой,
Отныне с праздною душой,
Живых восторгов легкий рой
Я заменю холодной думой
И сердца мертвой тишиной!
Тогда с улыбкою коварной
Предстал внезапно Купидон.
«О чем вздыхаешь, — молвил он, —
О чем грустишь, неблагодарный?
Забудь печальные мечты:
Я вечно юн, и я с тобою!
Воскреснуть сердцем можешь ты;
Не веришь мне? взгляни на Хлою!»

КОНШИНУ

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам;
Не испытав его, нельзя понять и счастья:
Живой источник сладострастья
Дарован в нем его сынам.
Одни ли радости отрадны и прелестны?
Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счастливцев тяготит;
Им силы жизни неизвестны.
Не нам завидовать ленивым чувствам их:
Что в дружбе ветреной, в любви однообразной
И в ощущениях слепых
Души рассеянной и праздной?
Счастливцы мнимые, способны ль вы понять
Участья нежного сердечную услугу?
Способны ль чувствовать, как сладко поверять
Печаль души своей внимательному другу?
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?
Но кто постигнут роком гневным,
Чью душу тяготит мучительный недуг,
Тот дорожит врачом душевным.
Что, что дает любовь веселым шалунам?
Забаву легкую, минутное забвенье;
В ней благо лучшее дано богами нам
И нужд живейших утоленье!
Как будет сладко, милый мой,
Поверить нежности чувствительной подруги,
Скажу ль? все раны, все недуги,
Все расслабление души твоей больной;
Забыв и свет и рок суровый,
Желанья смутные в одно желанье слить
И на устах ее, в ее дыханьи пить

Целебный воздух жизни новой!
Хвала всевидящим богам!
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

ВЕСНА

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою Наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает инеи с кудрей,
И, разломав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;
Певцов пернатых голоса
Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты в печаль облечена,
Весны не празднуешь одна!
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена!

Унынье в грудь к тебе теснится,
Не видишь ты красы лугов.
О, если б щедростью богов
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!

ОТЪЕЗД

Прощай, отчизна непогоды,
 Печальная страна,
Где дочь любимая природы,
 Безжизненна весна;
Где солнце нехотя сияет,
 Где сосен вечный шум,
И моря рев, и все питает
 Безумье мрачных дум;
Где, отлученный от отчизны
 Враждебною судьбой,
Изнемогал без укоризны
 Изгнанник молодой;
Где позабыт молвой гремучей,
 Но все душой пиит,
Своею Музою летучей
 Он не был позабыт!
Теперь, для сладкого свиданья,
 Спешу к стране родной;
В воображеньи край изгнанья
 Последует за мной:
И камней мшистые громады,
 И вид полей нагих,
И вековые водопады,
 И шум угрюмый их!
Я вспомню с тайным сладострастьем
 Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
 Провел мою весну,
Но где порою житель неба,
 Наперекор судьбе,
Не изменил питомец Феба
 Ни Музам, ни себе.

КОНШИНУ

Пора покинуть, милый друг,
Знамена ветреной Киприды
И неизбежные обиды
Предупредить, пока досуг.
Чьих ожидать увещеваний!
Мы лишены старинных прав
На своеволие забав,
На своеволие желаний.
Уж отлетает век младой,
Уж сердце опытнее стало:
Теперь ни в чем, любезный мой,
Нам исступленье не пристало!
Оставим юным шалунам
Слепую жажду сладострастья;
Не упоения, а счастья
Искать для сердца должно нам.
Пресытясь буйным наслажденьем,
Пресытясь ласками Цирцей,
Шепчу я часто с умиленьем
В тоске задумчивой моей:
Нельзя ль найти любви надежной?
Нельзя ль найти подруги нежной,
С кем мог бы в счастливой глуши
Предаться неге безмятежной
И чистым радостям души;
В чье неизменное участье
Беспечно веровал бы я.
Случится ль ведро иль ненастье
На перепутьи бытия?
Где ж обреченная судьбою?
На чьей груди я успокою

Свою усталую главу?
Или с волненьем и тоскою
Ее напрасно я зову?
Или в печали одинокой
Я проведу остаток дней,
И тихий свет ее очей
Не озарит их тьмы глубокой,
Не озарит души моей!..

УНЫНИЕ

Рассеевает грусть пиров веселый шум.
Вчера, за чашей круговою,
Средь братьев полковых, в ней утопив мой ум,
Хотел воскреснуть я душою.

Туман полуночный на холмы возлегал;
Шатры над озером дремали,
Лишь мы не знали сна — и пенистый бокал
С весельем буйным осушали.

Но что же? вне себя я тщетно жить хотел:
Вино и Вакха мы хвалили;
Но я безрадостно с друзьями радость пел:
Восторги их мне чужды были.

Того не приобресть, что сердцем не дано.
Рок злобный к нам ревниво злобен:
Одну печаль свою, уныние одно
Унылый чувствовать способен.

БДЕНИЕ

Один, и пасмурный душою,
Я пред окном сидел;
Свистела буря надо мною,
И глухо дождь шумел.

Уж поздно было, ночь спустилась;
Но сон бежал очей,
О дальном детстве пробудилась
Тоска в душе моей.

«Увижу ль вас, поля родные,
«Увижу ль вас, друзья?
«Губя печалью дни младые,
«Приметно вяну я!

«Дни пролетают, годы тоже;
«Меж тем беднеет свет!
«Давно ль покинул вас — и что же?
«Двоих уж в мире нет!

«И мне назначена могила!
«Умру в чужой стране,
«Умру, и ветреная Лила
«Не вспомнит обо мне!»

Душа стеснилася тоскою;
Я грустно онемел,
Склонился на руку главою,
В окно не зря глядел.

Очнулся я; румян и светел
Уж новый день сиял,
И громкой песнью ранний петел
Мне утро возвещал.

В АЛЬБОМ

Вы слишком многими любимы,
Чтобы возможно было вам
Знать, помнить всех по именам;
Сии листки необходимы;
Они не нужны были встарь:
Тогда не знали дружбы модной,
Тогда, бог весть! иной дикарь
Сердечный адрес-календарь
Почел бы выдумкой негодной.
Что толковать о старине!
Стихи готовы. Может статься,
Они для справки обо мне
Вам очень скоро пригодятся.

РОДИНА

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный, наконец, от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист, и волн мятежный рев;
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые:
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,

Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О, подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней Фортуны!
Для них безвестный век, для них свирель
и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.

ВОДОПАД

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины.

Я слышу: свищет Аквилон,
Качает елию скрыпучей,
И с непогодою ревучей
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем, с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?

Как очарованный, стою
Над дымной бездною твоею,
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзывом долины!

ЦВЕТОК

С восходом солнечным Людмила,
Сорвав себе цветок,
Куда-то шла и говорила:
«Кому отдам цветок?

Что торопиться? мне ль наскучит
Лелеять свой цветок?
Нет! недостойный не получит
Душистый мой цветок».

И говорил ей каждый встречный:
«Прекрасен твой цветок!
Мой милый друг, мой друг сердечный,
Отдай мне твой цветок».

Она в ответ: «Сама я знаю,
Прекрасен мой цветок;
Но не тебе, и это знаю,
Другому мой цветок».

Красою яркой день сияет:
У девушки цветок;
Вот полдень, вечер наступает:
У девушки цветок!

Идет. Услада повстречала:
Он прелестью цветок.
«Ты мил! — она ему сказала, —
Возьми же мой цветок!»

Он что же деве? Он спесиво:
«На что мне твой цветок?
Ты мне даришь его — не диво:
Увянул твой цветок».

БОЛЬНОЙ

Други! радость изменила,
Предо мною мрачен путь,
И болезнь мне положила
Руку хладную на грудь.
Други! станьте вкруг постели.
Где утех златые дни?
Быстро, быстро пролетели
Тенью легкою они.
Все прошло; ваш друг печальный
Вянет в жизни молодой,
С новым утром погребальный,
Может быть, раздастся вой, —
И раздвинется могила,
И заснет, недвижный, он,
И твое лобзанье, Лила,
Не прервет холодный сон.

Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим,
В память прежнего веселья
Шумный кубок осушим.
Нам судьба велит разлуку...
Как же быть, друзья? — вздохнуть,
На распутьи сжать мне руку
И сказать: счастливый путь!

ДЕЛЬВИГУ

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти
В сей жизни блаженство прямое;
Небесные боги не делятся им
С земными детьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнул оживить безрассудный;
Бессмертных он презрел — и страшная казнь
Постигнула чад святотатства.

Наш тягостный жребий: положенный срок
Питаться болезненной жизнью,
Любить и лелеять недуг бытия
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слепые рабы,
Рабы самовластного рока!
Земным ощущеньям насильственно нас
Случайная жизнь покоряет.

Но в искре небесной прияли мы жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к нему
Стремимся неясным желаньем!..

Вотще! Мы надолго отвержены им!
Сияет красою над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает...

Но нам недоступно! Как алчный Тантал
    Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блаженнейший мир,
    Томимся мы жаждою счастья.

РАЗУВЕРЕНИЕ

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей:
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
И, друг заботливый, больнова
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

ЭЛЕГИЯ

Нет, не бывать тому, что было прежде!
Что в счастьи мне? Мертва душа моя!
«Надейся, друг!» — сказали мне друзья:
Не поздно ли вверяться мне надежде,
Когда желать почти не в силах я?
Я бременюсь нескромным их участьем,
И с каждым днем я верой к ним бедней.
Что в пустоте несвязных их речей?
Давным-давно простился я со счастьем,
Желательным слепой душе моей!
Лишь вслед ему с унылым сладострастьем
Гляжу я в даль моих минувших дней.
Так нежный друг, в бесчувственном забвеньи,
Еще глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в темном отдаленьи
Давно исчез отбывший дружний челн.

ЛИДЕ

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Не многим избранным понятен
Язык поэтов и богов.
Когда под звонкие напевы,
Под звук свирели плясовой,
Среди полей, рука с рукой,
Кружатся юноши и девы,
Вмешавшись в резвый хоровод,
Хариты, ветреный Эрот,
Дриады, Фавны пляшут с ними
И гонят прочь толпу забот
Воскликновеньями своими;
Поодаль Музы между тем,
Таяся в сумраке дубравы,
Глядят, незримые никем,
На их невинные забавы;
Но их собор в то время нем.
Певцу ли ветренно бесславить
Плоды возвышенных трудов
И легкомыслие забавить
Игрою гордою стихов?
И той нередко, чье воззренье
Дарует лире вдохновенье,
Не поверяет он его:
Поет один, подобный в этом
Пчеле, которая со цветом
Не делит меда своего.

ПЕСНЯ

Страшно воет, завывает
　　Ветр осенний;
По поднébесью далече
　　Тучи гонит.

На часах стоит печален
　　Юный ратник;
Он уносится за ними
　　Грустной думой.

О, куда, куда вас, тучи,
　　Ветер гонит?
О, куда ведет судьбина
　　Горемыку?

Тошно жить мне: мать родную
　　Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
　　Я расстался!

«Не грусти! — душа-девица
　　Мне сказала. —
За тебя молиться будет
　　Друг твой верный».

Что в молитвах? я в чужбине
　　Дни скончаю.
Возвращусь ли? взор твой друга
　　Не признает.

Не видать в лицо мне счастья:
Жить на что мне?
Дай приют, земля сырая,
Расступися!

Он поет, никто не слышит
Слов печальных...
Их разносит, заглушает
Ветер бурный.

ЭПИГРАММА

В своих стихах он скукой дышит;
Жужжаньем их наводит сон.
Не говорю: зачем он пишет,
Но для чего читает он?

Приятель строгий, ты не прав,
Несправедливы толки злые;
Друзья веселья и забав,
Мы не повесы записные!
По своеволию страстей
Себе мы правил не слагали,
Но пылкой жизнью юных дней,
Пока дышалося, дышали;
Любили шумные пиры;
Гостей веселых той поры,
Забавы, шалости любили
И за роскошные дары
Младую жизнь благодарили.
Во имя лучших из богов,
Во имя Вакха и Киприды,
Мы пели счастье шалунов,
Сердечно презря крикунов
И их ревнивые обиды.
Мы пели счастье дней младых,
Меж тем летела наша младость:
Порой задумывалась радость
В кругу поклонников своих;
В душе больной от пищи многой,
В душе усталой пламень гас,
И за стаканом в добрый час
Застал нас как-то опыт строгой.
Наперсниц наших, страстных дев
Мы поцелуи позабыли
И, пред суровым оробев,
Утехи крылья опустили.
С тех пор, любезный, не поем
Мы безрассудные забавы,
Смиренно дни свои ведем
И ждем от света доброй славы.

Теперь вопрос я отдаю
Тебе на суд. Подумай, мы ли
Переменили жизнь свою,
Иль годы нас переменили?

ДОБРЫЙ СОВЕТ

К <Конши>ну

Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед,
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна:
Всех чередом поглотит Лета,
И философа болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, был умней.
Будь дружен с Музою моею,
Оставим мудрость мудрецам;
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

РИМ

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель,
Ты был ли, о свободный Рим?
К немым развалинам твоим
Подходит с грустию их чуждый навеститель.

За что утратил ты величье прежних дней?
За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный, где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?

Тебе ли изменил победы мощный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений?

Кому еще грозишь с твоих семи холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель?
Или, как призрак-обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

Когда неопытен я был,
У красоты самолюбивой,
Мечтатель слишком прихотливый,
Я за любовь любви молил;
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых:
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови;
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило:
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

СЛУЧАЙ

Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ль мне, итти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.

Но в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
Послушай, молвила она,
Вино советник самый здравый.

Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши.

ДЕЛИИ

Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья?
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,
Полуиссохших в страсти жадной:
Достигнув их любви, любовным клятвам их
Внимаешь ты с улыбкой хладной.
Обманывай слепцов и смейся их судьбе:
Теперь душа твоя в покое;
Придется некогда изведать и тебе
Очарованье роковое!
Не опасаяся насмешливых сетей,
Быть может, избранный тобою
Уже не вверится огню любви твоей,
Не тронется ее тоскою.
Когда ж пора придет, и розы красоты,
Вседневно свежестью беднея,
Погибнут, отвечай: к чему прибегнешь ты,
К чему, бесчарная Цирцея?
Искусством округлишь ты высохшую грудь,
Худые щеки нарумянишь,
Дитя крылатое захочешь как-нибудь
Вновь приманить... но не приманишь!
Взамену снов младых тебе не обрести
Покоя, поздних лет отрады;
Куда бы ни пошла, взроятся на пути
Самолюбивые досады!
Немирного душой на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье,
И где для каждого доступна тишина,
Страдальца ждет одно волненье.

ДОГАДКА

Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!
В ней говорит
И жар ланит
И вздох случайный...
О! я знаком
С сим языком
Любови тайной!
В душе твоей
Уж нет покоя;
Давным-давно я
Читаю в ней:
Любви приметы
Я не забыл,
Я ей служил
В былые леты!

ПОЦЕЛУЙ

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На кровы ближнего селенья
Нисходит вечер, день погас.
Покинем рощу, где для нас
Часы летели как мгновенья!
Лель, улыбнись, когда из ней
Случится девице моей
Унесть во взорах пламень томный,
Мечту любви в душе своей
И в волосах листок нескромный.

К — ву

Ответ

Чтоб очаровывать сердца,
Чтоб возбуждать рукоплесканья,
Я слышал, будто для певца
Всего нужнее дарованья.
Путей к Парнасу много есть:
Зевоту можно произвесть
Поэмой длинной, громкой одой,
И век того не приобресть,
Чего нам не дано природой.

Когда старик Анакреон,
Сын верный неги и прохлады,
Веселый пел амфоров звон
И сердцу памятные взгляды:
Вслед за толпой младых забав,
Богини песней, миновав
Певцов усерднейших Эллады,
Ему внимать исподтишка
С вершины Пинда поспешали
И балагура старика
Венком бессмертья увенчали.

Так своенравно Аполлон
Нам раздает свои награды;
Другому богу Геликон
Отдать хотелось бы с досады!
Напрасно до поту лица
О славе Фофанов хлопочет:
Ему отказан дар певца,
Трудится он, а Феб хохочет.

Меж тем, даря веселью дни,
Едва ли Батюшков, Парни
О прихотливой вспоминали,
И что ж? нечаянно они
Ее в Цитере повстречали.

Пленен ли Хлоей, Дафной ты,
Возьми Тибуллову цевницу,
Воспой победы красоты,
Воспой души своей царицу,
Когда же любишь стук мечей,
С высокой музою Омира
Пускай поет вражды царей
Твоя воинственная лира.
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде.
Старайся нравиться любой,
Но помолися Фебу прежде.

ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба,
И тщетно нам за грозною бедой
Беду грозней пошлет судьбины злоба.
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал: ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых Муз;
Деля досуг меж ними и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою?
Ты сам порой глубокую печаль
В душе носил, но что? не мне ли вверить
Спешил ее? И дружба не всегда ль
Хоть несколько могла ее умерить?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге все имели
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.

О! верь мне в том: чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни,
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг! позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
Попрежнему ль ко мне пребудут строги,

Всегда я твой. Судьей души моей
Ты должен быть и в ведро и в ненастье,
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье;
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой:
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,
Чтоб для тебя я стал хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно.

ЭПИГРАММА

Везде бранит поэт Клеон
Мою хорошенькую Музу;
Все обернуть умеет он
В бесславье нашему союзу.
Морочит добрых он людей,
А слыть красоточке моей
У них негодницей обидно.
Поэт Клеон смешной злодей;
Ему же после будет стыдно.

Так, он ленивец, он негодник,
Он только что поэт, он человек пустой;
А ты, ты ябедник, шпион, торгаш и сводник...
О! человек ты деловой.

Н. И. ГНЕДИЧУ

Так! для отрадных чувств еще я не погиб,
Я не забыл тебя, почтенный Аристип,
И дружбу нежную, и Русские Афины!
Не Вакховых пиров, не лобызаний Фрины,
В нескромной юности нескромно петых мной,
Не шумной суеты, прославленной толпой,
Лишенье тяжко мне, в краю, где финну нищу
Отчизна мертвая едва дарует пищу,
Нет, нет! мне тягостно отсутствие друзей,
Лишенье тягостно беседы мне твоей,
То наставительной, то сладостно-отрадной:
В ней, сердцем жадный чувств, умом познаний жадный,
И сердцу и уму я пищу находил.

Счастливец! дни свои ты Музам посвятил
И бодро действуешь прекрасные полвека
На поле умственных усилий человека;
Искусства нежные и деятельный труд,
Заняв, украсили свободный твой приют.
Живитель сердца — труд, искусства — наслажденья.

Еще не породив прямого просвещенья,
Избыток породил бездейственную лень.
На мир снотворную она нагнала тень,
И чадам роскоши, обремененным скукой,
Довольство бедности тягчайшей было мукой;
Искусства низошли на помощь к ним тогда:
Уже отвыкнувших от грубого труда,
К трудам возвышенным они воспламенили

И праздность упражнять роскошно научили;
Быть может, счастием обязаны мы им.

Как беден страждущий бездействием своим!
Печальный, жалкий раб тупого усыпленья,
Не постигает он души употребленья,
В дремоту грубую всечасно погружен,
Отвыкнул чувствовать, отвыкнул мыслить он,
На собственных пирах вздыхает он украдкой,
Что длятся для него мгновенья жизни краткой.

Они в углу моем не длятся для меня.
Судьбу младенчески за строгость не виня
И взяв с тебя пример, поэзию, ученье
Призвал я украшать свое уединенье.
Леса угрюмые, громады мшистых гор,
Пришельца нового пугающие взор,
Чужих безбрежных вод свинцовая равнина,
Напевы грустные протяжных песен финна,
Недолго, помню я, в печальной стороне
Печаль холодную вливали в душу мне.

Я победил ее, и, не убит неволей,
Еще я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищу прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слежу его движенья,
И в сердце разуму отчет стараюсь дать!
То вдохновение, Парнаса благодать,
Мне душу радует восторгами своими:
На миг обворожен, на миг обманут ими,
Дышу свободнее, и, лиру взяв свою,
И дружбу, и любовь, и негу я пою.

Осмеливаясь петь, я помню преткновенья
Самолюбивого искусства песнопенья;
Но всякому свое, и мать племен людских,

Усердья полная ко благу чад своих,
Природа, каждого даря особой страстью,
Нам разные пути прокладывает к счастью:
Кто блеском почестей пленен в душе своей;
Кто создан для войны и любит стук мечей;
Любезны песни мне. Когда-то для забавы,
Я, праздный, посетил Парнасские дубравы
И воды светлые Кастальского ручья;
Там к хорам чистых дев прислушивался я,
Там, очарованный, влюбился я в искусство
Другим передавать в согласных звуках чувство,
И, не страшась толпы взыскательных судей,
Я умереть хочу с любовию моей.

Так, скуку для себя считая бедством главным,
Я духа предаюсь порывам своенравным;
Так, без усилия ведет меня мой ум
От чувства к шалости, к мечтам от важных дум!
Но ни души моей восторги одиноки,
Ни любомудрия полезные уроки,
Ни песни мирные, ни легкие мечты,
Воображения случайные цветы,
Среди глухих лесов и скал моих унылых,
Не заменяют мне людей для сердца милых,
И часто грустию невольною объят,
Увидеть бы желал я пышный Петроград,
Вести желал бы вновь свой век непринужденный
В кругу детей искусств и неги просвещенной,
Апелла, Фидия желал бы навещать,
С тобой желал бы я беседовать опять,
Муж, дарованьями, душою превосходный,
В стихах возвышенный и в сердце благородный!
За то не в первый раз взываю я к богам,
Отдайте мне друзей: найду я счастье сам!

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ

Желтел печально злак полей,
Брега взрывал источник мутный,
И голосистый соловей
Умолкнул в роще бесприютной.
На преждевременный конец
Суровым роком обреченный,
Прощался так младой певец
С дубравой, сердцу драгоценной:

«Судьба исполнилась моя,
Прости, убежище драгое!
О прорицанье роковое!
Твой страшный голос помню я:
— Готовься, юноша несчастный!
Во мраке осени ненастной
Глубокий мрак тебе грозит;
Уж он зияет из Эрева,
Последний лист падет со древа,
Твой час последний прозвучит! —
И вяну я: лучи дневные
Вседневно тягче для очей;
Вы улетели, сны златые,
Минутной юности моей!
Покину все, что сердцу мило.
Уж мглою небо обложило,
Уж поздних ветров слышен свист!
Что медлить? время наступило:
Вались, вались, поблеклый лист!
Судьбе противиться бессильный,
Я жажду ночи гробовой.
Вались, вались! мой холм могильный

От грустной матери сокрой!
Когда ж вечернею порою
К нему пустынною тропою,
Вдоль незабвенного ручья,
Придет поплакать надо мною
Подруга нежная моя:
Твой легкий шорох в чуткой сени,
На берегах Стигийских вод,
Моей обрадованной тени
Да возвестит ее приход!»

Сбылось! Увы! судьбины гнева
Покорством бедный не смягчил,
Последний лист упал со древа,
Последний час его пробил.
Близ рощи той его могила!
С кручиной тяжкою своей
К ней часто матерь приходила...
Не приходила дева к ней!

Чувствительны мне дружеские пени,
Но искренно забыл я Геликон
И признаюсь: неприхотливой лени
Мне нравится приманчивый закон;
Охота петь уж не владеет мною:
Она прошла, погасла, как любовь.
Опять любить, играть струнами вновь
Желал бы я, но утомлен душою.
Иль жить нельзя отрадою иною?
С бездействием любезен мне союз;
Лелеемый счастливым усыпленьем,
Я не хочу притворным исступленьем
Обманывать ни юных дев, ни Муз.

ЛЕТА

Душ холодных упованье,
Неприязненный ручей,
Чье докучное журчанье
Усыпляет Элизей!
Так! достоин ты укора:
Для чего в твоих водах
Погибает без разбора
Память горестей и благ?
Прочь с нещадным утешеньем!
Я минувшее люблю
И вовек утех забвеньем
Мук забвенья не куплю.

ДВЕ ДОЛИ

Дало две доли провидение
  На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
  Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
  Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
  С судьбой насмешливой знаком.

Надейтесь, юноши кипящие!
  Летите: крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие
  И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
  Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие,
  Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный;
  Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
  Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
  Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
  Встают со скрежетом зубов, —

Так вы, согрев в душе желания,
  Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
  Для боли новой прежних ран.

ГНЕДИЧУ,

КОТОРЫЙ СОВЕТОВАЛ СОЧИНИТЕЛЮ ПИСАТЬ САТИРЫ

Враг суетных утех и враг утех позорных,
Не уважаешь ты безделок стихотворных,
Не угодит тебе сладчайший из певцов
Развратной прелестью изнеженных стихов.
Возвышенную цель поэт избрать обязан.

К блестящим шалостям, как прежде,
не привязан,
Я правилам твоим последовать бы мог;
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог
И, едкой желчию напитывая строки,
Сатирою восстать на глупость и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина мне,
И счастья моего искал я в тишине;
Зачем я удалюсь от столь разумной цели?
И звуки легкие пастушеской свирели
В неугомонный лай неловко превратя,
Зачем себе врагов наделаю шутя?
Страшусь их множества и злобы их опасной.

Полезен обществу сатирик беспристрастный;
Дыша любовию к согражданам своим,
На их дурачества он жалуется им:
То укоризнами восстав на злодеянье,
Его приводит он в благое содроганье,
То едкой силою забавного словца
Смиряет попыхи надутого глупца;
Он нравов опекун и вместе правды воин.

Всё так; но кто владеть пером его достоин?
Острот затейливых, насмешек едких дар,
Язвительных стихов какой-то злобный жар
И их старательно подобранные звуки,
За беспристрастие забавные поруки!
Но если полную свободу мне дадут,
Того ль я устрашу, кому не страшен суд,
Кто в сердце должного укора не находит,
Кого и божий гнев в заботу не приводит,
Кого не оскорбит язвительный язык!
Он совесть усыпил, к позору он привык.

Но слушай: человек, всегда корысти жадный,
Берется ли за труд, наверно безнаградный?
Купец расчетливый из добрых барышей
Вверяет корабли случайностям морей;
Из платы, отогнав сладчайшую дремоту,
Поденщик до зари выходит на работу;
На славу громкую надеждою согрет,
В трудах возвышенных, возвышенный поэт.
Но рвенью моему что будет воздаяньем:
Не слава ль громкая? я беден дарованьем.
Стараясь в некий ум соотчичей привесть,
Я благодарность их мечтал бы приобресть,
Но, право, смысла нет во слове: благодарность,
Хоть нам и нравится его высокопарность.
Когда сей редкий муж, вельможа-гражданин,
От дней Фелицыных оставшийся один,
Но смело дух ее хранивший в веке новом,
Обширный разумом и сильный, громкий словом,
Любовью к истине и к родине горя,
В советах не робел оспоривать царя,
Когда, прекрасному влечению послушный,
Внимать ему любил монарх великодушный,
Из благодарности о нем у тех и тех
Какие толки шли? — «Кричит он громче всех,
О благе общества как будто бы хлопочет,
А, право, риторством похвастать больше хочет;
Катоном смотрит он, но тонкого льстеца
От нас не утаит под строгостью лица».
Так лучшим подвигам людское развращенье
Придумать силится дурное побужденье;

Так, исключительно посредственность любя,
Спешит высокое унизить до себя;
Так самых доблестей завистливо трепещет
И, чтоб не верить им, на оные клевещет!

. . . .
. . . .

Нет, нет! разумный муж идет путем иным,
И, снисходительный к дурачествам людским,
Не выставляет их, но сносит благонравно;
Он не пытается, уверенный забавно
Во всемогуществе болтанья своего,
Им в людях изменить людское естество.
Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиной;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Желанье счастия в меня вдохнули боги:
Я требовал его от неба и земли
И вслед за призраком, манящим издали,
Жизнь перешел до полдороги,
Но прихотям судьбы я боле не служу:
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И скромно кланяюсь прохожим.

РАЗМОЛВКА

Мне о любви твердила ты шутя
И холодно сознаться можешь в этом.
Я исцелен; нет, нет, я не дитя!
Прости, я сам теперь знаком со светом.
Кого жалеть? печальней доля чья?
Кто отягчен утратою прямою?
Легко решить: любимым не был я;
Ты, может быть, была любима мною.

К ...о

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка!
Конечно, многих вы милей,
Но вас любить плохая шутка!

Вам не нужна любовь моя,
Не слишком заняты вы мною,
Не нежность, прихоть вашу я
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я, твердите вы,
Но лишний пленник вам дороже,
Вам очень мил я, но увы!
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих
Я состязаться не дерзаю
И превосходной силе их
Без битвы поле уступаю.

ИСТИНА

О счастии с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

Младые сны от сердца отлетели,
Не узнаю я свет;
Надежд своих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья —
Мне первый опыт рек;
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек.

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я дольний жребий свой,
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

«Светильник мой укажет путь ко счастью!»
(Вещала). «Захочу
И, страстного, отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,

Ты, может быть, испуганный разлюбишь
И ближних и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой».

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: «О гостья роковая!
Печален твой привет.

Светильник твой — светильник погребальный
Всех радостей земных!
Твой мир, увы! могилы мир печальный
И страшен для живых.

Нет, я не твой! в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости! иль нет: когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть и все, что сердцу мило,
Забыть придется мне,

Явись тогда! раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб, жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти».

О своенравная София!
От всей души я вас люблю,
Хотя и реже, чем другие,
И неискусней вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,
Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на уменье, ни на ум,
Где для холопа иль невежды
Не притворяясь, часто мы
Браним указы и псалмы,
Я основал свои надежды
И счастье нынешней зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму
И удовольствию и счастью;
Свет пренебрегши в добрый час
И утеснительную моду,
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам.
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры:

Они лукавы, я слыхал,
И, все предвидя осторожно,
От власти их, когда возможно,
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами не доволен,
Что не доволен сам собой

ЛУТКОВСКОМУ

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы;
Проказы жизни боевой
Никак веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей,
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! в весельи диком
Вы мчитесь грозно... дым и гром!
Бегущий враг покрыт стыдом,
И страшный бой, с победным кликом,
Вы запиваете вином!
А Епендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне!
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Ты, воин мой, защитник их:
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Ты сна не знаешь: чуть проглянул
День лучезарный сквозь туман,
Уж рыцарь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул:

Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой с высоких стен
Глядеть на игры боевые;
Сраженья вид ужасен им,
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!
О! кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой и любовью.
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселье боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

ПРИЗНАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.

Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил

Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.

Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.

Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной:
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу без любви, кто знает? изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам

И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим:
Мы не сердца под брачными венцами,
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною:
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

В АЛЬБОМ

Когда б вы менее прекрасной
Случайно слыли у молвы;
Когда бы прелестью опасной
Не столь опасны были вы...
Когда б еще сей голос нежный
И томный пламень сих очей
Любовью менее мятежной
Могли грозить душе моей;
Когда бы больше мне на долю
Даров послал Цитерский бог, —
Тогда я дал бы сердцу волю,
Тогда любить я вас бы мог.
Предаться нежному участью
Мне тайный голос не велит...
И удивление, по счастью,
От стрел любви меня хранит.

ДЕЛЬВИГУ

Я безрассуден — и не диво!
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты?
«Не для нее прямое чувство:
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой!
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки,
На мне покоившийся взор;
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,
В любви счастливые уроки
Мне самому дает она,
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Или все, все в безумном сне

Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье,
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я...»

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой,
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает...
Иль нет: подумавши путем,
Останусь я в углу своем,
Скажу, вздохнув: «Горюн неловкой!
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую:
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?»

Когда придется как-нибудь
В досужный час воспомянуть
Вам о Финляндии суровой,
О финских чудных щеголях,
О их безужинных балах
И о Варваре Аргуновой —
Не позабудьте обо мне,
Поэте сиром и безродном,
В чужой, далекой стороне,
Сердитом, грустном и голодном.
А вам, Анеточка моя,
Что пожелать осмелюсь я?
О! наилучшего, конечно:
Такой пребыть, какою вас
Сегодня вижу я на час,
Какою помнить буду вечно.

НЕВЕСТЕ

(А. Я. В.)

Не раз Гимена клеветали:
Его бездушным торговцом,
Брюзгой, ревнивцем и глупцом
Попеременно называли.
Как свет его ни назови,
У вас он будет, без сомненья,
Достойным сыном уваженья
И братом пламенной любви!

Младые Грации сплели тебе венок
И им стыдливую невинность увенчали.
В него вплести и мне нельзя ли
На память миртовый листок?
Хранимый дружбою, он, верно, не увянет,
Он лучших чувств моих залогом будет ей;
Но друга верного и были прежних дней
Да поздно милая вспомянет.
Да поздно юных снов утратит легкий рой
И скажет в тихий час случайного раздумья:
Не другом красоты, не другом остроумья, —
Он другом был меня самой.

В АЛЬБОМ СОФИИ

Мила как Грация, скромна
    Как Сандрильона;
Подобно ей, красой она
    Достойна трона.
Приятна лира ей моя;
    Но что мне в этом?
Быть королем желал бы я,
    А не поэтом.

БОГДАНОВИЧУ

В садах Элизия, у вод счастливой Леты,
Где благоденствуют отжившие поэты,
О Душенькин поэт, прими мои стихи!
Никак в писатели попал я за грехи
И, надоев живым посланьями своими,
Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими.
Нет нужды до того! хочу в досужный час
С тобой поговорить про русский наш Парнас,
С тобой, поэт живой, затейливый и нежный,
Всегда пленительный, хоть несколько небрежный,
Чертам заметнейшим лукавой остроты
Дающий милый вид сердечной простоты,
И часто, наготу рисуя нам бесчинно,
Почти бесстыдным быть умеющий невинно.

Не хладной шалостью, но сердцем внушена,
Веселость ясная в стихах твоих видна;
Мечты игривые тобою были петы.
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в твореньях своих,
И на лице земли все как-то не по них.
Ну что ж? поклон, да вон! увы, не в этом дело;
Ни жить им, ни писать еще не надоело,
И правду без затей сказать тебе пора:
Пристала к Музам их немецких Муз хандра.
Жуковский виноват: он первый между нами
Вошел в содружество с германскими певцами
И стал передавать, забывши божий страх,
Жизнехуленья их в пленительных стихах.
Прости ему господь! — Но что же! все мараки
Ударились потом в задумчивые враки,

У всёх унынием оделося чело,
Душа увянула и *сердце отцвело.*
Как терпит публика безумие такое? —
Ты спросишь. Публике наскучило простое,
Мудреное теперь любезно для нее:
У века дряхлого испортилось чутье.

Ты в лучшем веке жил. Не столько
просвещенный,
Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный,
Венцы свои дарил, без вычур толковит,
Он только истинным любимцам Аонид.
Но нет явления без творческой причины:
Сей благодатный век был век Екатерины!
Она любила Муз, и ты ли позабыл,
Кто Душеньку твою всех прежде оценил?
Я думаю, в садах, где свет бессмертья блещет,
Поныне тень твоя от радости трепещет,
Воспоминая день, сей день, когда певца,
Еще за милый труд не ждавшего венца,
Она, друзья ее достойно наградили
И, скромного, его так лестно изумили,
Страницы Душеньки читая наизусть.
Сердца завистников стеснила злая грусть,
И на другой же день расспросы о поэте
И похвалы ему жужжали в модном свете.

Кто вкуса божеством теперь служил бы нам?
Кто в наши времена, и прозе и стихам
Провозглашая суд разборчивый и правый,
Заведывать бы мог Парнасскою управой?
О, добрый наш народ имеет для того
Особенных судей, которые его
В листах условленных и в цену приведенных
Снабжают мнением о книгах современных!
Дарует между нас и славу и позор
Торговой логики смышленый приговор.
О наших судиях не смею молвить слова,
Но слушай, как честят они один другого:
Товарищ каждого глупец, невежда, враль;
Поверить надо им, хотя поверить жаль.

Как быть писателю? в пустыне благодатной,
Забывши модный свет, забывши свет печатный,
Как ты, философ мой, таиться без греха,
Избрать в советники кота и петуха,
И, в тишине трудясь для собственного чувства,
В искусстве находить возмездие искусства!

Так, веку вопреки, в сей самый век у нас
Сладкопоющих лир порою слышен глас,
Благоуханный дым от жертвы бескорыстной!
Так нежный Батюшков, Жуковский живописный,
Неподражаемый и целую орду
Злых подражателей родивший на беду,
Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий
(Тебе, я думаю, знаком довольно он:
Недавно от него товарищ твой Назон
Посланье получил), любимцы вдохновенья,
Не могут победить сердечного влеченья
И между нас поют, как некогда Орфей
Между мохнатых пел, по вере старых дней.
Бессмертие в веках им будет воздаяньем!

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья:
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.
Опять, когда умру, повеселею я;
Тогда беспечных Муз беспечного питомца
Прими, философ мой, как старого знакомца.

К ...

Мне с упоением заметным
Глаза поднять на вас беда:
Вы их встречаете всегда
С лицом сердитым, неприветным.
Я полон страстною тоской,
Но нет! рассудка не забуду
И на нескромный пламень мой
Ответа требовать не буду.
Не терпит бог младых проказ
Ланит увядших, впалых глаз.
Надежды были бы напрасны,
И к вам не ими я влеком.
Любуюсь вами, как цветком,
И счастлив тем, что вы прекрасны.
Когда я в очи вам гляжу,
Предавшись нежному томленью,
Слегка о прошлом я тужу,
Но рад, что сердце нахожу
Еще способным к упоенью.
Меж мудрецами был чудак:
«Я мыслю», пишет он, «итак,
Я несомненно существую».
Нет! любишь ты, и потому
Ты существушь: я пойму
Скорее истину такую.
Огнем, похищенным с небес,
Япетов сын (гласит преданье)
Одушевил свое созданье,
И наказал его Зевес
Неумолимый, Прометея
К скалам Кавказа приковал,

И сердце вран ему клевал;
Но дерзость жертвы разумея,
Кто приговор не осуждал?
В огне волшебных ваших взоров
Я занял сердца бытие:
Ваш гнев достойнее укоров,
Чем преступление мое;
Но не сержусь я, шутка водит
Моим догадливым пером.
Я захожу в ваш милый дом,
Как вольнодумец в храм заходит.
Душою праздный с давних пор,
Еще твержу любовный вздор,
Еще беру прельщенья меры,
Как по привычке прежних дней
Он ароматы жжет без веры
Богам, чужим душе своей.

ЗВЕЗДА

Взгляни на звезды: много звезд
  В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
  На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
  Милее всех одна!
За что же? Ранее встает,
  Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
  Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
  Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,
  Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
  И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
  Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
  На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
  В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
  На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
  И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
  Своею назови.

Ту назови своей звездой,
  Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
  И нежностью горит.

ОПРАВДАНИЕ

Решительно печальных строк моих
Не хочешь ты ответом удостоить,
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Виновен я: я славил жен других...
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; — так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял:
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,

Из-за угла Пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты все еще обид своих полна...
Прости ж навек! но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

ЛЮБОВЬ

Мы пьем в любви отраву сладкую;
    Но всё отраву пьем мы в ней,
И платим мы за радость краткую
    Ей безвесельем долгих дней.
Огонь любви — огонь живительный,
    Все говорят; но что мы зрим?
Опустошает, разрушительный,
    Он душу, объятую им!
Кто заглушит воспоминания
О днях блаженства и страдания,
    О чудных днях твоих, любовь?
Тогда я ожил бы для радости,
Для снов златых цветущей младости,
    Тебе открыл бы душу вновь.

УВЕРЕНИЕ

Нет, обманула вас молва,
Попрежнему дышу я вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца;
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца.

ФЕЯ

Порою ласковую Фею
Я вижу в обаяньи сна,
И всей наукою своею
Служить готова мне она.
Душой обманутой ликуя,
Мои мечты ей лепечу я;
Но что же? странно и во сне
Непокупное счастье мне:
Всегда дарам своим предложит
Условье некое она,
Которым, злобно смышлена,
Их отравит иль уничтожит.
Знать, самым духом мы рабы
Земной насмешливой судьбы;
Знать, миру явному дотоле
Наш бедный ум порабощен,
Что переносит поневоле
И в мир мечты его закон!

ЧЕРЕП

Усопший брат! кто сон твой возмутил?
Кто пренебрег святынею могильной?
В разрытый дом к тебе я нисходил,
Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!

Еще носил волос остатки он;
Я зрел на нем ход постепенный тленья.
Ужасный вид! как сильно поражен
Им мыслящий наследник разрушенья!

Со мной толпа безумцев молодых
Над ямою безумно хохотала:
Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!

Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым смертным часом,
Все истины известные гробам
Произнесла своим бесстрастным гласом!

Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший;
Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издревле повелевший.

Живи живой, спокойно тлей мертвец!
Всесильного ничтожное созданье,
О человек! уверься, наконец,
Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Нам надобны и страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища:
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища!

Природных чувств мудрец не заглушит
И от гробов ответа не получит:
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

БУРЯ

Завыла буря; хлябь морская
Клокочет и ревет, и черные валы
Идут, до неба восставая,
Бьют, гневно пеняся, в прибрежные скалы.

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной розлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим.

Иль вечным будет заточенье?
Когда волнам твоим я вверюсь, океан?
Но знай: красой далеких стран
Не очаровано мое воображенье.
Под небом лучшим обрести
Я лучшей доли не сумею;
Вновь не смогу душой моею
В краю цветущем расцвести.
Меж тем от прихоти судьбины,

Меж тем от медленной отравы бытия,
В покое раболепном я
Ждать не хочу своей кончины;
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека!
Как жаждал радостей младых
Я на заре младого века,
Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов к давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев.

ЛЕДА

В стране роскошной, благодатной,
Где Евротейский древний ток
Среди долины ароматной
Катится светел и широк,
Вдоль брега Леда молодая,
Еще не мысля, но мечтая,
Стопами тихими брела.
Уж близок полдень; небо знойно;
Кругом все пусто, все спокойно;
Река прохладна и светла;
Брега стрегут кусты густые...
Покровы пали на цветы,
И Леды прелести нагие
Прозрачной влагой приняты.
Легко возлегшая на волны,
Легко скользит по ним она:
Роскошно пенясь, перси полны
Лобзает жадная волна.
Но зашумел тростник прибрежный,
И лебедь стройный, белоснежный,
Из-за него явился ей.
Сначала он, чуть зримый оком,
Блуждает в оплыве широком
Кругом возлюбленной своей;
В пучине часто исчезает,
Но, сокрываяся от глаз,
Из вод глубоких выплывает
Всё ближе к милой каждый раз.
И вот плывет он рядом с нею, —
Ей смелость лебедя мила:
Рукою нежною своею

Его осанистую шею
Младая дева обняла;
Он жмется к деве, он украдкой
Ей перси нежные клюет;
Он в песне радостной и сладкой
Как бы красы ее поет,
Как бы поет живую негу!
Меж тем влечет ее ко брегу.
Выходит на берег она;
Устав, в тени густого древа,
На мураву ложится дева,
На длань главою склонена.
Меж тем не дремлет лебедь страстный:
Он на коленях у прекрасной
Нашел убежище свое;
Он сладкозвучно воздыхает,
Он влажным клевом вопрошает
Уста невинные ее...
В изнемогающую деву
Огонь желания проник:
Уста раскрылись; томно клеву
Уже ответствует язык;
Уж на глаза с живым томленьем
Набросив пышные власы,
Она нечаянным движеньем
Раскрыла все свои красы...
Приют свой прежний покидает
Тогда нескромный лебедь мой;
Он томно шею обвивает
Вкруг шеи девы молодой;
Его напрасно отклоняет
Она дрожащею рукой:
Он завладел —
Затрепетал крылами он, —
И вырывается у Леды
И детства крик и неги стон.

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов, самовластью
Какой-то адскою любовию горя,
Он незнаком с другою страстью.
Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

НАДПИСЬ

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела!
В мятежном пламени страстей
Как страшно ты перегорела!
Раба томительной мечты!
В тоске душевной пустоты,
Чего еще душою хочешь?
Как Магдалина плачешь ты,
И как русалка ты хохочешь!

ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условье,
Закон последний бытия;
Ты не спасешь меня, Киприда!
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

Простите, ветреные други,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Разгульной юности моей!
Я не страшуся новоселья;
Где б не жил я, мне все равно:
Там тоже славить от безделья
Я стану дружбу и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там, на шаловливой лире,
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

О Дельвиг! слезы мне не нужны;
Верь: в закоцитной стороне
Прием радушный будет мне:
Со мною Музы были дружны!
Там, в очарованной тени,
Где благоденствуют поэты
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты,
И улыбнутся мне они.

Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени:
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить;
А к вам молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров,
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам, чрез день или другой
Закон губительный Зевеса
Велит покинуть мир земной;
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой дружеской толпой;
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид!

АВРОРЕ Ш...

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

К ЖЕСТОКОЙ

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?
Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне, примерно, нежной став,
Вы наслажденья лишены ли:
Дурачить пленников других
И строгой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас не довольствует вполне;
Но с упоеньем поклоненье
Соединить не трудно мне;
И ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог —
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

СТАНСЫ

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле;
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно;
Уделом нашим решено,
Как наслаждаться им прилично,
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз;
Но не упал я перед роком,
Нашел отраду в песнях Муз
И в равнодушии высоком,
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! предо мной
Вы оправдалися отныне!
Готов я с бодрою душой
На все угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

СЕСТРЕ

И ты покинула семейный мирный круг!
Ни степи, ни леса тебя не задержали;
И ты летишь ко мне на глас моей печали —
О милая сестра, о мой вернейший друг!
Я узнаю тебя, мой ангел-утешитель,
Наперсница души от колыбельных дней;
Не тщетно нежности я веровал твоей,
Тогда еще, тогда достойный твой ценитель!..
Приди ж — и радость призови
В приют мой, радостью забытый,
Повей отрадою душе моей убитой
И сердце мне согрей дыханием любви!
Как чистая роса живит своей прохладой
Среди нагих степей, — спасительной усладой
Так оживишь мне чувства ты.

ВЕСЕЛЬЕ И ГОРЕ

Рука с рукой Веселье, Горе
Пошли дорогой бытия;
Но что? поссорилися вскоре
Во всем несходные друзья!
Лишь перекресток улучили,
Друг другу молвили: «прости!»
Недолго розно побродили,
Чрез день сошлись — в конце пути!

ЗАПРОС МУХАНОВУ

Что скажет другу своему
Любовник пламенной Авроры?
Сияли ль счастием ему
Ее застенчивые взоры?
Любви заботою полна,
Огнем очей, ланит пыланьем
И персей томных волнованьем,
Была ль прямой зарей она,
Иль только северным сияньем?

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов — еще любил кулачные бои?

К ДЕЛЬВИГУ
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО ЖЕНИТЬБЫ

Ты распрощался с братством шумным
Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
С бесчинством дружеским веселых их пиров
И с нашим счастьем вольнодумным.
Благовоспитанный, степенный Гименей
Пристойно заменил проказника Амура,
И ветреных подруг, и ветреных друзей,
И сластолюбца Эпикура.
Теперь для двух коварных глаз
Воздержным будешь ты, смешным и постоянным;
Спасайся, милый!.. Но, подчас,
Не позавидуй окаянным!

Д. ДАВЫДОВУ

Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням Муз не охладел,
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,
В воспоминаньи горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

Я был любим, твердила ты
Мне часто нежные обеты,
Хранят бесценные мечты
Слова, душой твоей согреты;
Нет, не могу не верить им:
Я был любим, я был любим!

Все тот же я, любви моей
Судьба моя не изменила:
Я помню счастье прежних дней,
Хоть, может быть, его забыла,
Забыла милая моя, —
Но тот же я, все тот же я!

К свиданью с ней мне нет пути.
Увы! когда б предстал я милой, —
Конечно, в жалость привести
Ее бы мог мой взор унылый.
Одна мечта души моей —
Свиданье с ней, свиданье с ней.

Хитра любовь: никак она
Мне мой романс теперь внушает;
Ее волнения полна,
Моя любезная читает,
Любовью прежней дышит вновь.
Хитра любовь, хитра любовь!

Простите, спорю невпопад
Я с вашей Музою прелестной;
Но мне Парни ни сват, ни брат:
Совсем не он отец мой крестный.
Он мне однакоже знаком:
Цитерских истин возвеститель,
Любезный князь, не спорю в том,
Был вместе с вами мой учитель.

К*** ПРИ ПОСЫЛКЕ ТЕТРАДИ СТИХОВ

В борьбе с тяжелою судьбой
Я только пел мои печали:
Стихи холодные дышали
Души холодною тоской;
Когда б тогда вы мне предстали,
Быть может, грустный мой удел
Вы облегчили б. Нет! Едва ли!
Но я бы пламеннее пел.

ОЖИДАНИЕ

Она придет! к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье.

А. А. В—ОЙ

Очарованье красоты
  Твоей во благо нам:
Не будишь нас, как солнце, ты
  К мятежным суетам;
От дольной жизни, как луна,
  Манишь за край земной,
С тобой как ты, душа полна
  Высокой тишиной.

ПЕСНЯ

Когда взойдет денница золотая,
Горит эфир,
И ото сна встает, благоухая,
Цветущий мир,
И славит все существованья сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Когда на дев цветущих и приветных,
Перед тобой
Мелькающих в одеждах разноцветных,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь их томных взоров сладость;
С душой твоей
Что в пору ту? скажи: живая радость,
Тоска ли в ней?

Страдаю я! Из-за дубравы дальной
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу счастья в сладость!
Душе моей
Противен он! что прежде было в радость,
То в муку ей.

Что красоты, почти всегда лукавой,
Мне долгий взор?
Обманчив он! знаком с его отравой
Я с давних пор.

Обманчив он! его живая сладость
      Душе моей
Страшна теперь! что прежде было в радость,
      То в муку ей.

ДОРОГА ЖИЗНИ

В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

К АННЕТЕ

Когда Климена подарила
На память это мне кольцо,
Ее умильное лицо,
Ее улыбка говорила:
«Оно твое; когда-нибудь
Сама и вся твоей я буду;
Лишь ты меня не позабудь,
А я тебя не позабуду!»
И через день я был забыт.
Теперь кольцо ее, Аннета,
Твой вечный друг тебе дарит.
Увы, недобрая примета
Тебя, быть может, поразит!
Но неспособен я к измене:
Носи его и не тужи,
А в оправдание Климене
Ее обеты мне сдержи!

Л. С. П—НУ

Поверь, мой милый! твой поэт
Тебе соперник не опасный!
Он на закате юных лет,
На утренней заре ты юности прекрасной.
Живого чувства полный взгляд,
Уста цветущие, румяные ланиты
Влюбленных песенок сильнее говорят
С душой догадливой Хариты.
Когда с тобой наедине
Порой красавица стихи мои похвалит,
Тебя напрасно опечалит
Ее внимание ко мне:
Она торопит пробужденье
Младого сердца твоего
И вынуждает у него
Свидетельство любви, ревнивое мученье.
Что доброго в моей судьбе,
И что я приобрел, красавиц воспевая?
Одно: моим стихом Харита молодая,
Быть может, выразит любовь свою к тебе!
Счастливый баловень Киприды!
Знай сердце женское, о! знай его верней,
И за притворные обиды
Лишь плату требовать умей!
А мне, мне предоставь таить огонь бесплодный,
Рожденный иногда воззреньем красоты,
Умом оспоривать сердечные мечты
И чувство прикрывать улыбкою холодной.

ЭПИГРАММА

Свои стишки Тощев пиит
Покроем Пушкина кроит,
Но славы громкой не получит,
И я котенка вижу в нем,
Который, право, непутем
На голос лебедя мяучит.

ЭПИГРАММА

И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Твои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала:
Она словам моим внимала
С тупым, бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил...
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной!
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

ЭПИГРАММА

Что ни болтай, а я великий муж!
Был воином, носил недаром шпагу;
Как секретарь, судебную бумагу
Вам начерню, перебелю; к тому ж
Я знаю свет, — держусь Христа и Беса,
С ханжой ханжа, с повесою повеса;
В одном лице могу все лица я
Представить вам! — Хотя под старость века,
Фаддей, мой друг, Фаддей, душа моя,
Представь лицо честно́го человека.

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья, и сказанья,
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
Срамец! срамец! — все шепчут, — вот известье!
— Эх, не тужи! уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

ЭПИГРАММА

Не трогайте Парнасского пера,
Не трогайте, пригожие вострушки!
Красавицам немного в нем добра,
И им Амур другие дал игрушки.
Любовь ли вам оставить в забытьи
Для жалких рифм? Над рифмами смеются,
Уносят их Летийские струи:
На пальчиках чернила остаются.

ОНА

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней,
Что говорит не с чувствами — с душой;
Есть что-то в ней над сердцем самовластней
Земной любви и прелести земной.

Как сладкое душе воспоминанье,
Как милый свет родной звезды твоей,
Какое-то влечет очарованье
К ее ногам и под защиту к ней.

Когда ты с ней, мечты твоей неясной
Неясною владычицей она:
Не мыслишь ты — и только лишь прекрасной
Присутствием душа твоя полна.

Бредешь ли ты дорогою возвратной,
С ней разлучась, в пустынный угол твой —
Ты полон весь мечтою необъятной,
Ты полон весь таинственной тоской.

ТОВАРИЩАМ

Так! отставного шалуна
Вы вновь шалить не убеждайте
Иль золотые времена
Младых затей ему отдайте!

Переменяют годы нас
И с нами вместе наши нравы:
От всей души люблю я вас;
Но ваши чужды мне забавы.

Уж Вакх, увенчанный плющом,
Со мной по улицам не бродит
И к вашим нимфам вечерком
Меня, шатаясь, не заводит.

Весельчакам я запер дверь,
Я пресыщен их буйным счастьем
И заменил его теперь
Пристойным, тихим сладострастьем.

В пылу начальном дней младых
Неодолимы наши страсти:
Проказим мы, но мы у них,
Не у себя тогда во власти.

В своей отваге молодой
Товарищ ваш блажил довольно;
Не видит он нужды большой
Вновь сумасбродить добровольно.

К АМУРУ

Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне, любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так! спасибо и за то.

НОВИНСКОЕ

А. С. Пушкину

Она улыбкою своей
Поэта в жертвы пригласила,
Но не любовь ответом ей
Взор ясный думой осенила.
Нет, это был сей легкой сон,
Сей тонкой сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви, для вдохновенья.

ЭПИГРАММА

Ты ропщешь, важный журналист,
На наше модное маранье:
«Все та же песня: ветра свист,
Листов древесных увяданье...»
Понятно нам твое страданье;
И без того освистан ты,
И так, подвалов достоянье,
Родясь, гниют твои листы.

ЭПИГРАММА

Окогченная летунья,
Эпиграмма хохотунья,
Эпиграмма егоза
Трется, вьется средь народа
И завидит лишь урода —
Разом вцепится в глаза.

НАЯДА

Есть грот: Наяда там в полдневные часы
Дремоте предает усталые красы,
И часто вижу я, как нимфа молодая,
На ложе лиственном покоится нагая,
На руку белую, под говор ключевой,
Склоняяся челом, венчанным осокой.

Откуда взял Василий непотешный
Потешного Буянова? Хитрец
К лукавому прибег с мольбою грешной.
«Я твой, сказал: но будь родной отец,
Но помоги». — Плодятся без усилья,
Горят, кипят задорные стихи,
И складные страницы у Василья
Являются в тетрадях чепухи.

Хотите ль знать все таинства любви?
Послушайте девицу пожилую:
Какой огонь она родит в крови!
Какую власть дарует поцелую!
Какой язык пылающим очам!
Как миг один рассудок побеждает:
По пальцам все она расскажет вам.
— Ужели все она по пальцам знает?

В АЛЬБОМ

Перелетай к веселью от веселья,
Как от цветка бежит к цветку дитя;
Не успевай, за суетой безделья,
Задуматься, подумать и шутя.
Пускай тебя к Кориннам не причислят,
Играй, мой друг, играй и верь мне в том,
Что многие о милой Лизе мыслят,
Когда она не мыслит ни о чем.

К***

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы, —

Прости: я громко негодую;
Прости, наставник и пророк!
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,
Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом.

РОДИНА

Судьбой наложенные цепи
Упали с рук моих, и вновь
Я вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

Степного неба свод желанной,
Степного воздуха струи,
На вас я в неге бездыханной
Остановил глаза мои.

Но мне увидеть было слаще
Лес на покате двух холмов
И скромный дом в садовой чаще —
Приют младенческих годов.

Промчалось ты, златое время!
С тех пор по свету я бродил
И наблюдал людское племя
И, наблюдая, восскорбил.

Ко благу пылкое стремленье
От неба было мне дано;
Но обрело ли разделенье,
Но принесло ли плод оно?..

Я братьев знал; но сны младые
Соединили нас на миг:
Далече бедствуют иные,
И в мире нет уже других.

Я твой, родимая дуброва!
Но от насильственных судьбин

Молить хранительного крова
К тебе пришел я не один.

Привел под сень твою святую
Я соучастницу в мольбах:
Мою супругу молодую
С младенцем тихим на руках.

Пускай, пускай в глуши смиренной,
С ней, милой, быт мой утая,
Других урочищей вселенной
Не буду помнить бытия.

Пускай, о свете не тоскуя,
Предав забвению людей,
Кумиры сердца сберегу я
Одни, одни в любви моей.

ЭПИГРАММА

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другова.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

В АЛЬБОМ

Когда б избрать возможно было мне
Любой удел, любое счастье в мире,
Я б не хотел быть славным на войне,
Я б не хотел играть на громкой лире,
Я злата бы себе не пожелал;
Но блага все единым именуя,
То дайте мне, богам бы я сказал,
Чем Д. . . . . . . понравиться могу я.

ЭПИГРАММА

Идиллик новый на искус
Представлен был пред Аполлона.
«Как пишет он?» спросил у Муз
Бог беспристрастный Геликона.
«Никак негодный он поэт?» —
— Нельзя сказать. — «С талантом?» — Нет;
Ошибок важных, правда, мало;
Да пишет он довольно вяло. —
«Я понял вас; в суде моем
Не озабочусь я нисколько:
Вперед ни слова мне о нем.
Из списков выключить — и только».

НА НЕКРАСИВУЮ ВИНЬЕТКУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ АВТОРА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ, А ПОДЛЕ НЕГО ИСТИНУ

Он точно, он бесспорно,
Фиглярин журналист,
Марающий задорно
Свой оглашенный лист.
А это что за дура? —
Ведь Истина, ей-ей!
Давно ль его канура
Знакома стала ей?
На чепуху и враки
Чутьем наведена,
Занятиям мараки
Мешать пришла она.

Убог умом, но не убог задором,
Блестящий Феб, священный идол твой
Он повредил: попачкал мерным вздором
Его потом и восхищен собой.
Чему же рад нахальный хвастунишка?
Скажи ему, правдивый Аполлон,
Что твой кумир разбил он как мальчишка
И как щенок его загадил он.

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.
Он в полноте понятья своего,
А между тем как волны на него,
Одни других мятежней, своенравней,
Видения бегут со всех сторон:
Как будто бы своей отчизны давней
Стихийному смятенью отдан он;
Но иногда, мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный.

Созданье ли болезненной мечты,
Иль дерзкого ума соображенье,
Во глубине полночной темноты
Представшее очам моим виденье?
Не ведаю; но предо мной тогда
Раскрылися грядущие года;
События вставали, развивались,
Волнуяся, подобно облакам,
И полными эпохами являлись
От времени до времени очам,
И, наконец, я видел без покрова
Последнюю судьбу всего живова.

Сначала мир явил мне дивный сад:
Везде искусств, обилия приметы;
Близ веси весь и подле града град,
Везде дворцы, театры, водометы,
Везде народ, и хитрый свой закон

Стихии все признать заставил он:
Уж он морей мятежные пучины
На островах искусственных селил,
Уж рассекал небесные равнины
По прихоти им вымышленных крил;
Все на земле движением дышало,
Все на земле как будто ликовало.

Исчезнули бесплодные года,
Оратаи по воле призывали
Ветрá, дожди, жары и холода;
И верною сторицей воздавали
Посевы им, и хищный зверь исчез
Во тьме лесов, и в высоте небес,
И в бездне вод, сраженный человеком,
И царствовал повсюду светлый мир.
Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком,
Вот разума великолепный пир!
Врагам его и в стыд и в поученье,
Вот до чего достигло просвещенье!

Прошли века. Яснеть очам моим
Видение другое начинало:
Что человек? что вновь открыто им?
Я гордо мнил, и что же мне предстало?
Наставшую эпоху я с трудом
Постигнуть мог смутившимся умом.
Глаза мои людей не узнавали;
Привыкшие к обилью дольных благ,
На все они спокойные взирали,
Что суеты рождало в их отцах,
Что мысли их, что страсти их, бывало,
Влечением всесильным увлекало.

Желания земные позабыв,
Чуждаяся их грубого влеченья,
Душевных снов, высоких снов призыв
Им заменил другие побужденья.
И в полное владение свое
Фантазия взяла их бытие,
И умственной природе уступила
Телесная природа между них:

Их в Эмпирей и в Хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих;
Но по земле с трудом они ступали,
И браки их бесплодны пребывали.

Прошли века, и тут моим очам
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по суше, по водам,
Свершалася живущего судьбина.
Где люди? где? Скрывалися в гробах!
Как древние столпы на рубежах,
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладное блеянье.

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.
Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов, долин и гор.
Попрежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло;
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло:
Один туман над ней, синея, вился
И жертвою чистительной дымился.

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой Музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.

ДЕРЕВНЯ

Люблю деревню я и лето:
И говор вод, и тень дубров,
И благовоние цветов;
Какой душе не мило это?
Быть так, прощаю комаров!
Но признаюсь — пустыни житель,
Покой пустынный в ней любя,
Комар двуногий, гость-мучитель,
Нет, не прощаю я тебя!

СТАРИК

Венчали розы, розы Леля,
Мой первый век, мой век младой:
Я был счастливый пустомеля
И девам нравился порой.
Я помню ласки их живые,
Лобзанья, полные огня...
Но пролетели дни младые;
Они не смотрят на меня!
Как быть? У яркого камина,
В укромной хижине моей,
Накрою стол, поставлю вина
И соберу моих друзей.
Пускай венок, сплетенный Лелем,
Не обновится никогда, —
Года, увенчанные хмелем,
Еще прекрасные года.

Как ревностно ты сам себя дурачишь!
На хлопоты вставая до звезды,
Какой-нибудь да пакостью означишь
Ты каждый день без цели, без нужды!
Ты сам себя, и прост и подел вкупе,
Эпитимьей затейливой казнишь:
Заботливо толчешь ты уголь в ступе
И только что лицо свое пылишь.

Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Глупцы не чужды вдохновенья;
Как светлым детям Аонид,
И им оно благоволит:
Слетая с неба, все растенья
Равно весна животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
А лавром он не расцветет.

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!

БЕСЕНОК

Слыхал я, добрые друзья,
Что наши прадеды в печали,
Бывало, беса призывали:
Им подражаю в этом я.
Но не пугайтесь: подружился
Я не с проклятым сатаной,
Кому душою поклонился
За деньги старый Громобой;
Узнайте: ласковый бесенок
Меня младенцем навещал
И колыбель мою качал
Под шопот легких побасенок.
С тех пор я вышел из пеленок,
Между мужами возмужал,
Но для него еще ребенок.
Случится ль горе, иль беда,
Иль безотчетно иногда
Сгрустнется мне в моей конурке, —
Махну рукой: по старине
На сером волке, сивке-бурке
Он мигом явится ко мне.
Больному духу здравьем свистнет,
Бобами думу разведет,
Живой водой веселье вспрыснет,
А горе мертвою зальет.
Когда в задумчивом совете
С самим собой, из-за угла
Гляжу на свет, и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,

Тебѣ ль невинной, спокойной
Я приношу въ нескромный даръ
Разсказъ, гдѣ страсти недостойной
Изображенъ преступный жаръ?

И безобразный, и мятежный,
Онъ не займетъ твоей мечты;
Но что? на память дружбы нѣжной
Его быть можетъ примешь ты.

Такъ бѣдный отшельникъ [illegible]
Въ даръ принимаетъ иногда
Отъ путешественника-друга
[illegible] дальней [illegible] цвѣта

Е. Бор

Автограф первоначальной редакции стихотворения «При посылке «Бала» С. Э.»

Я слабым сердцем возмущен, —
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросит он,
Или, в мгновение зеницы,
Чудесный коврик-самолет
Он подо мною развернет,
И коврик тот в сады жар-птицы,
В чертоги дивной царь-девицы
Меня по воздуху несет.
Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель.

ПРИ ПОСЫЛКЕ «БАЛА» С. Э.

Тебе ль, невинной и спокойной,
Я приношу в нескромный дар
Рассказ, где страсти недостойной
Изображен преступный жар?

И безобразный, и мятежный,
Он не пленит твоей мечты;
Но что? на память дружбы нежной
Его, быть может, примешь ты.

Жилец семейственного круга,
Так в дар приемлет домосед
От путешественника-друга
Пустыни дальной дикий цвет.

СМЕРТЬ

Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу ее косой.

О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.

Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил,
В твое храненье всемогущий
Его устройство поручил.

И ты летаешь над твореньем,
Согласье прям его лия,
И в нем, прохладным дуновеньем,
Смиряя буйство бытия.

Ты укрощаешь восстающий
В безумной силе ураган,
Ты, на брега свои бегущий,
Вспять возвращаешь Океан.

Даешь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.

А человек! святая дева!
Перед тобой с его ланит

Мгновенно сходят пятна гнева,
Жар любострастия бежит.

Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба:
Ласкаешь тою же рукою
Ты властелина и раба.

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней;
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

В АЛЬБОМ

(К. К. Яниш)

Альбом походит на кладбище:
Для всех открытое жилище,
Он также множеством имен
Самолюбиво испещрен.
Увы! народ добросердечный
Равно туда, или сюда,
Несет надежду жизни вечной
И трепет страшного суда.
Но я, смиренно признаюся,
Я не надеюсь, не страшуся,
Я в ваших памятных листах
Спокойно имя помещаю.
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.

К<НЯГИНЕ> З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Из царства виста и зимы,
Где, под управой их двоякой,
И атмосферу и умы
Сжимает холод одинакой,
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафаэль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы,
Но где не стыдно, может быть,
Герои, мира властелины,
Ваш Капитолий позабыть
Для капитолия Коринны;
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?
Когда любимая краса
Последним сном смыкает вежды,
Мы полны ласковой надежды,
Что ей открыты небеса,
Что лучший мир ей уготован,
Что славой вечною светло
Там заблестит ее чело;
Но скорбный дух не уврачеван,
Душе стесненной тяжело,

И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Ее печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

Хвала, маститый наш Зоил!
Когда-то Дмитриев бесил
Тебя счастливыми стихами,
Бесил Жуковский вслед за ним,
Вот Пушкин бесит. Как любим,
Как отличен ты небесами!
Три поколения певцов
Тебя красой своих венцов
В негодованье приводили:
Пекись о здравии своем,
Чтобы, подобно первым трем,
Другие три тебя бесили.

ЭПИГРАММА

Поверьте мне, Фиглярин-моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
Не должно красть, — кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;
Не надобно в суде кривить душой,
Не хорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего! —
Ну, что ж? Бог с ним! все это к правде близко,
А может быть, и ново для него.

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков;
Но лишь ветр его коснется,
Он исчезнет без следов:
Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты.

ОТРЫВОК

ОН

Под этой липою густою
Со мною сядь, мой милый друг;
Смотри: как живо все вокруг!
Какой зеленой пеленою
К реке нисходит этот луг!
Какая свежая дуброва
Глядится с берега другова
В ее веселое стекло!
Как небо чисто и светло!
Все в тишине; едва смущает
Живую сень и чуткий ток
Благоуханный ветерок:
Он сердцу счастье навевает!
Молчишь ты?

ОНА

О любезный мой!
Всегда я счастлива с тобой
И каждый миг равно ласкаю.

ОН

Я с умиленною душой
Красу творенья созерцаю.
От этих вод, лесов и гор
Я на эфирную обитель,
На небеса подъемлю взор
И думаю: велик зиждитель,
Прекрасен мир! Когда же я
Воспомню тою же порою,
Что в этом мире ты со мною,

Подруга милая моя...
Нет сладким чувствам выраженья,
И не могу в избытке их
Невольных слез благодаренья
Остановить в глазах моих.

ОНА

Воздай тебе создатель вечный!
О чем еще его молить!
Ах! об одном: не пережить
Тебя, друг милый, друг сердечный.

ОН

Ты грустной мыслию меня
Смутила. Так! сегодня зренье
Пленяет свет веселый дня,
Пленяет божие творенье;
Теперь в руке моей твою
Я с чувством пламенным сжимаю,
Твой нежный взор я понимаю,
Твой сладкий голос узнаю...
А завтра... завтра... как ужасно!
Мертвец незрящий и глухой,
Мертвец холодный!.. Луч дневной
В глаза ударит мне напрасно!
Вотще к устам моим прильнешь
Ты воспаленными устами,
Ко мне с обильными слезами,
С рыданьем громким воззовешь:
Я не проснусь! И что мы знаем?
Не только завтра, сей же час
Меня не будет! Кто из нас
В земном блаженстве не смущаем
Такою думой?

ОНА

Что с тобой?
Зачем твое воображенье
Предупреждает провиденье?
Бог милосерд, друг милый мой!
Здоровы, молоды мы оба:
Еще далеко нам до гроба.

ОН

Но всё ж умрем мы наконец,
Все ляжем в землю.

ОНА

Что же, милый?
Есть бытие и за могилой,
Нам обещал его творец.
Спокойны будем: нет сомненья,
Мы в жизнь другую перейдем,
Где нам не будет разлученья,
Где все земные опасенья
С земною пылью отряхнем.
Ах! как любить без этой веры!

ОН

Так, всемогущий без нее
Нас искушал бы выше меры:
Так, есть другое бытие!
Ужели некогда погубит
Во мне он то, что мыслит, любит,
Чем он созданье довершил,
В чем, с горделивым наслажденьем,
Мир повторил он отраженьем
И сам себя изобразил?
Ужели творческая сила
Лукавым светом бытия
Мне ужас гроба озарила,
И только?.. Нет, не верю я.
Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.
Как! нетерпящая смешенья
В слепых стихиях вещества,
На хаос нравственный воззренья
Не бросит мудрость божества?
Как! между братьями своими
Мы видим правых и благих,
И, превзойден детьми людскими,
Не прав, не благ создатель их?..

Нет! мы в юдоли испытанья,
И есть обитель воздаянья:
Там, за могильным рубежом,
Сияет день незаходимый,
И оправдается незримый
Пред нашим сердцем и умом.

ОНА

Зачем в такие размышленья
Ты погружаешься душой?
Ужели нужны, милый мой,
Для убежденных убежденья?
Премудрость вышнего творца
Не нам исследовать и мерить:
В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.
Пойдем: грустна я в самом деле,
И от мятежных слов твоих,
Я признаюсь, во мне доселе
Сердечный трепет не затих.

МУЗА

Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

ЭПИГРАММА

В восторженном невежестве своем
На свой аршин он славу нашу мерит;
Но позабыл, что нет клейма на нем,
Что одному задору свет не верит.
Как дружеским он вздором восхищен!
Как бешено своим доволен он!
Он хвалится горячею душою.
Голубчик мой! уверься, наконец,
Что из глупцов, известных под луною,
Смешнее всех нам пламенный глупец.

К. А. СВЕРБЕЕВОЙ

В небе нашем исчезает
И, красой своей горда,
На другое востекает
Переходная звезда;
Но навек ли с ней проститься?
Нет, предписан ей закон:
Рано ль, поздно ль воротиться
На старинный небосклон.

Небо наше покидая,
Ты ли, милая звезда,
Небесам другого края
Передашься навсегда?
Весела красой чудесной,
Потеки в желанный путь;
Только странницей небесной
Воротись когда-нибудь!

ЭПИГРАММА

Что пользы вам от шумных ваших прений?
Кипит война; но что же? никому
Победы нет! Сказать ли почему?
Ни у кого ни мыслей нет, ни мнений.
Хотите ли, чтобы народный глас
Мог увенчать кого-нибудь из вас?
Чем холостой словесной перестрелкой
Морочить свет и множить пустяки,
Порадуйте нас дельною разделкой:
Благословясь, схватитесь за виски.

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Когда, печалью вдохновенный,
Певец печаль свою поет,
Скажите: отзыв умиленный
В каком он сердце не найдет?
Кто, вековых проклятий жаден,
Дерзнет осмеивать ее?
Но для притворства всякий хладен,
Плач подражательный досаден,
Смешно жеманное вытье!
Не напряженного мечтанья
Огнем услужливым согрет,
Постигнул таинства страданья
Душемутительный поэт.
В борьбе с тяжелою судьбою
Познал он меру вышних сил,
Сердечных судорог ценою
Он выраженье их купил.
И вот нетленными лучами
Лик песнопевца окружен,
И чтим земными племенами,
Подобно мученику, он.
А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках.

Нежданное родство с тобой даруя,
О, как судьба была ко мне добра!
Какой сестре тебя уподоблю я,
Ее рукой мне данная сестра!
Казалося, любовь в своем пристрастьи
Мне счастие дала до полноты;
Умножила ты дружбой это счастье,
Его могла умножить только ты.

ЭПИГРАММА

«Он вам знаком. Скажите, кстати,
Зачем он так не терпит знати?»
— Затем, что он не дворянин. —
«Ага! нет действий без причин.
Но почему чужая слава
Его так бесит?» — Потому,
Что славы хочется ему,
А на нее бог не дал права,
Что не хвалил его никто,
Что плоский автор он. — «Вот что!»

ЭПИГРАММА

Писачка в Фебов двор явился.
«Довольно глуп он! — бог шепнул: —
Но самоучкой он учился, —
Пускай присядет; дайте стул».
И сел он чванно. Нектар носят;
Его, как прочих, кушать просят;
И нахлебался тотчас он,
И загорланил. Но раздался
Тут Фебов голос: «Как! зазнался?
Эй, Надоумко, вывесть вон!»

Хотя ты малый молодой,
Но пожилую мудрость кажешь:
Ты слова лишнего не скажешь
В беседе самой распашной;
Приязни глупой с первым встречным
Ты сгоряча не заведешь,
К ногам вертушки не падешь
Ты пастушком простосердечным;
Воздержным голосом твоим
Никто крикливо не хвалим,
Никто сердито не осужен.
Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен,
Довольно дюжинной души.

<ЛАЗУРНЫЕ ОЧИ>

Люблю я красавицу
С очами лазурными:
О! в них не обманчиво
Душа ее светится!
И если прекрасная
С любовию томною
На милом покоит их,
Он мирно блаженствует,
Вовек не смутит его
Сомненье мятежное.
И кто не доверится
Сиянью их чистому,
Эфирной их прелести,
Небесной души ее
Небесному знаменью?

Страшна мне, друзья мои,
Краса черноокая;
За темной завесою
Душа ее кроется,
Любовник пылает к ней
Любовью тревожною
И взорам двусмысленным
Не смеет довериться.
Какой-то недобрый дух
Качал колыбель ее:
Оделася тьмой она,
Вспылала причудою,
Закралося в сердце к ней
Лукавство лукавого.

МАДОНА

В Италии где-то, но в поле пустом
(Не зрелось жилья на полмили кругом)

Меж древних развалин стояла лачужка;
С молоденькой дочкой жила в ней старушка.

С рассвета до ночи за тяжким трудом,
А все-таки голод им часто знаком.

И дочка порою душой унывала;
Терпеньем скудея, на бога роптала.

«Не плачь, не кручинься ты, солнце мое! —
Тогда утешала старушка ее: —

Не плачь, переменится доля крутая:
Придет к нам на помощь Мадона святая.

Да лик ее веру в тебе укрепит:
Смотри, как приветно с холста он глядит!»

Старушка смиренная с речью такою,
Бывало, крестилась дрожащей рукою,

И с теплою верою в сердце простом
Она с умиленным и кротким лицом

На живопись темную взор подымала,
Что угол в лачужке без рам занимала.

Но больше и больше нужда их теснит;
Дочь плачет и ропщет, старушка молчит.

С утра по руинам бродил любопытный:
Забылся, красе их дивясь, ненасытный.

Кров нужен ему от полдневных лучей:
Стучится к старушке, и входит он к ней.

На лавку садился пришлец утомленный,
Но вспрянул, картиною вдруг пораженный.

«Божественный образ! чья кисть это, чья?
О, как не узнать мне! Корреджий, твоя!

И в хижине этой творенье таится,
Которым и царский дворец возгордится!

Старушка, продай мне картину свою,
Тебе за нее я сто пиастров даю».

— Синьор, я бедна, но душой не торгую;
Продать не могу я икону святую. —

«Я двести даю, согласися продать».
— Синьор, синьор! бедность грешно искушать. —

Упрямства не мог победить он в старушке:
Осталась картина в убогой лачужке.

Но вскоре потом по Италии всей
Летучая весть разнеслася о ней.

К старушке моей гость за гостем стучится,
И, дверь отворяя, старушка дивится.

За вход она малую плату берет
И с дочкой своею безбедно живет.

Так, веру и гений в едино сливая,
Равно оправдала их дева святая.

МОЙ ЭЛИЗИЙ

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизийские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущий старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

В дни безграничных увлечений,
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений,
Наперсник юности моей.
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал;
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал:
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой,
Поэта мерные творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихают,
Страстей мятежные мечты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты;
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит. Остываю
Я и к гармонии стихов —
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета,
Когда смиренная диэта
Нужна здоровью моему,
Когда и тошный опыт света
Меня наставил кой-чему,
Когда от бурных увлечений
Желанным отдыхом дыша,
Для благочинных размышлений
Созрела томная душа;
Но я люблю восторг удалый,
Разгульный жар твоих стихов.
Дай руку мне: ты славный малый,
Ты в цвете жизни, ты здоров;
И неумеренную радость,
Счастливец, славить ты в правах;
Звучит лирическая младость
В твоих лирических грехах.
Не буду строгим моралистом
Или бездушным журналистом;
Приходит все своим чредом:
Послушный голосу природы,
Предупредить не должен годы
Ты педантическим пером;
Другого счастия поэтом
Ты позже будешь, милый мой,
И сам искупишь перед светом
Проказы Музы молодой.

ЯЗЫКОВУ

Бывало, свет позабывая
С тобою, счáстливым певцом,
Твоя Камена молодая
Венчалась гроздьем и плющом
И песни ветреные пела,
И к ней, безумна и слепа,
То, увлекаясь, пламенела
Любовью грубою толпа,
То, на свободные напевы
Сердяся в ханжестве тупом,
Она ругалась чудной девы
Ей непонятным божеством.
Во взорах пламень вдохновенья,
Огонь восторга на щеках,
Был жар хмельной в ее глазах
Или румянец вожделенья...
Она высоко рождена,
Ей много славы подобает:
Лишь для любовника она
Наряд Менады надевает;
Яви ж, яви ее скорей,
Певец, в достойном блеске миру:
Наперснице души твоей
Дай диадиму и порфиру;
Державный сан ее открой,
Да изумит своей красой,
Да величавый взор смущает
Ее злословного судью,
Да в ней хулитель твой познает
Мою царицу и свою.

ЭПИГРАММА

Кто непременный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистник непременный мой? —
Тут думать нечего: — родной!
Нам чаще друга враг полезен:
Подлунный мир устроен так; —
О как же дорог, как любезен
Самой природой данный враг!

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ

Предстала, и старец великий смежил
Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей,
Что гения череп — наследье червей.

Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета;
На все отозвался он сердцем своим,
Что просит у сердца ответа:
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен упованья;
Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век

И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждет ничего, —
Творца оправдает могила его.

И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший,
К предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

КОЛЬЦО

Дитя мое, она сказала,
Возьмешь иль нет мое кольцо?
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо.

Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое мое:
Ты будешь дум его царица,
Его второе бытие.

Но договор судьбой ревнивой
С прекрасным даром сопряжен,
И красоте самолюбивой
Тяжел, я знаю, будет он.

Свет, к ней суровый, не приметит
Ее приветливых очей,
Ее улыбку хладно встретит
И не поймет ее речей.

Вотще ей разум, дарованья,
И чувств и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета.

И долго, долго сиротою
Она по сборищам людским
Пойдет с поникшей головою,
Одна с унынием своим.

Но девы нежной не обманет
Мое счастливое кольцо:
Ей судия ее предстанет,
И процветет ее лицо.

Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.

Иди ж с надеждою веселой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжелый
Всезабывающей любви.

И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора,
Мне, друг мой, руку протяни.

А. А. Ф...ОЙ

Вы дочерь Евы, как другая:
Как перед зеркалом своим
Власы роскошные вседневно убирая,
Их блеском шелковым любуясь перед ним,
    Любуясь ясными очами,
    Обворожительным лицом
    Блестящей Грации, пред вами
Живописуемой услужливым стеклом,
Вы угадать могли свое предназначенье?
    Как, вместо женской суеты,
    В душе довольной красоты
    Затрепетало вдохновенье?
Прекрасный, дивный миг! Возликовал Парнас:
Хариту, как сестру, Камены окружили,
От мира мелочей вы взоры отвратили:
    Открылся новый мир для вас.
    Сей мир свободного мечтанья,
    В который входит лишь поэт;
Где исполнение находят все желанья,
    Где сладки самые страданья
    И где обманов сердцу нет.
Мы встретилися в нем. Блестящими стихами
Вы обольстительно приветили меня.
Я знаю цену им. Дарована судьбами
    Мне искра вашего огня.
Забуду ли я вас? забуду ль ваши звуки?
В душе признательной отозвались они.
Пусть бездну между нас раскроет дух разлуки,
    Пускай летят за днями дни:
    Пребудет неразлучна с вами
    Моя сердечная мечта,
Пока пленяюся я лирными струнами,
Покуда радует мне душу красота.

Наслаждайтесь: все проходит!
То благой, то строгой к нам,
Своенравно рок приводит
Нас к утехам и к бедам.
Чужд он долгого пристрастья:
Вы, чья жизнь полна красы,
На лету ловите счастья
Ненадежные часы.

Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью, и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

К чему невольнику мечтания свободы?
Взгляни: безропотно текут речные воды
В указанных брегах, по склону их русла;
Ель величавая стоит, где возросла,
Невластная сойти. Небесные светила
Назначенным путем неведомая сила
Влечет. Бродячий ветр не волен, и закон
Его летучему дыханью положен.
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные мечты смирим иль позабудем,
Рабы разумные, послушно согласим
Свои желания со жребием своим —
И будет счастлива, спокойна наша доля.
Безумец! не она ль, не вышняя ли воля
Дарует страсти нам? и не ее ли глас
В их гласе слышим мы? О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.

Храни свое неопасенье;
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Еще уловишь размышленье.
Как в Смольном цветнике своем,
И в свете сердцу будь послушной
И монастыркой благодушной
Останься долго, долго в нем.
Пусть для тебя преображаем
Игрой младенческой мечты,
Он век не рознит с тихим раем,
В котором расцветала ты.

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей?
Когда увижу разрешенье
Меня опутавших сетей?
Когда сей демон, наводящий
На ум мой сон, его мертвящий,
Отыдет, чадный, от меня,
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня?
Освобожусь воображеньем,
И крылья духа подыму,
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму?

Вотще ль мольбы? напрасны ль пени?
Увижу ль снова ваши сени,
Сады поэзии святой?
Увижу ль вас, ее светила?
Вотще! я чувствую: могила
Меня живого приняла,
И, легкий дар мой удушая,
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла.

Я не любил ее, я знал,
Что не она поймет поэта,
Что на язык души душа в ней без ответа:
Чего ж, безумец, в ней искал?
Зачем стихи мои звучали
Ее восторженной хвалой
И малодушно возвещали
Ее владычество и плен постыдный мой?
Зачем вверял я с умиленьем
Ей все мечты души моей?..
Туман упал с моих очей:
Ее бегу я с отвращеньем!
Так, омраченные вином,
Мы недостойному порою
Жмем руку дружеской рукою,
Приветствуем его с осклабленным лицом,
Красноречиво изливаем
Все думы сердца перед ним;
Ошибки темное сознание храним,
Но блажь досадную напрасно укрощаем
Умом взволнованным своим.
Очнувшись, странному забвению дивимся,
И незаконного наперсника стыдимся,
И от противного лица его бежим.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

Не растравляй моей души
Воспоминанием былого;
Уж я привык грустить в тиши,
Не знаю чувства я другого.
Во цвете самых пылких лет
Все испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

О мысль! тебе удел цветка:
Он свежий манит мотылька,
Прельщает пчелку золотую,
К нему с любовью мошка льнет,
И стрекоза его поет;
Утратил прелесть молодую
И чередой своей поблек —
Где пчелка, мошка, мотылек?
Забыт он роем их летучим,
И никому в нем нужды нет;
А тут зерном своим падучим
Он зарождает новый цвет.

О верь: ты, нежная, дороже славы мне.
Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье:
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине!
Я сердце предаю сердечному союзу:
Приди, мечты мои рассей,
Ласкай, ласкай меня, о друг души моей!
И покори себе бунтующую Музу.

Мой неискусный карандаш
Набросил вид суровый ваш,
Скалы Финляндии печальной;
Средь них, средь этих голых скал,
Я, дни весны моей опальной
Влача, душой изнемогал.
В отчизне я. Перед собою
Я самовольною мечтою
Скалы изгнанья оживил
И, их рассеянно рисуя,
Теперь с улыбкою шепчу я:
Вот где унылый я бродил,
Где, на судьбину негодуя,
Я веру в счастье отложил.

К. А. ТИМАШЕВОЙ

Вам все дано с щедротою пристрастной
Благоволительной судьбой:
Владеете вы лирой сладкогласной
И ей созвучной красотой.
Что ж грусть поет блестящая певица?
Что ж томны взоры красоты?
Печаль, печаль — души ее царица,
Владычица ее мечты.
Вам счастья нет, иль на одно мгновенье
Блеснувши, луч его погас;
Но счастлив тот, кто слышит ваше пенье,
Но счастлив тот, кто видит вас.

Где сладкий шопот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Все цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.

Зачем, тоскуя,
В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой

И забываю
Я бури вой.

О провиденье,
Благодаренье!
Забуду я
И дуновенье
Бурь бытия.
Скорбя душою,
В тоске моей,
Склонюсь главою
На сердце к ней,
И под мятежной
Метелью бед,
Любовью нежной
Ее согрет,
Забуду вскоре
Крутое горе,
Как в этот миг
Забыл природы
Гробовый лик
И непогоды
Мятежный крик.

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!

Зачем так радует ее
И солнце и весна!

Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далеко от нее
Он, дивный, унесет!

Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчетное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно символ
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашел.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нем свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит;
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милый,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
К безднам им воскликну я,
Да душе моей навстречу
Полетит душа твоя.

Есть милая страна, есть угол на земле,
Куда, где б ни были: средь буйственного стана,
В садах Армидиных, на быстром корабле,
Браздящем весело равнины океана,
Всегда уносимся мы думою своей;
Где, чужды низменных страстей,
Житейским подвигам предел мы назначаем,
Где мир надеемся забыть когда-нибудь
И вежды старые сомкнуть
Последним, вечным сном желаем.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Я помню ясный, чистый пруд;
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три острова цветут;
Светлея нивами меж рощ своих волнистых,
За ним встает гора, пред ним в кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,
А там счастливый дом... туда душа летит,
Там не хладел бы я и в старости глубокой!
Там сердце томное, больное обрело
Ответ на все, что в нем горело,
И снова для любви, для дружбы расцвело
И счастье вновь уразумело.
Зачем же томный вздох и слезы на глазах?
Она, с болезненным румянцем на щеках,

Она, которой нет, мелькнула предо мною.
Почий, почий легко под дерном гробовым:
    Воспоминанием живым
    Не разлучимся мы с тобою!
Мы плачем... но прости! Печаль любви сладка,
    Отрадны слезы сожаленья!
Не то холодная, суровая тоска,
    Сухая скорбь разуверенья.

ЗАПУСТЕНИЕ

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного Мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень;
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов:
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые, волнуяся, шумели;
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,
Приют хозяйственный в нем улья обрели,

И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот, попрежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто, безыменной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень, священную мне, встречу.

Вот верный список впечатлений
И легкий и глубокий след
Страстей, порывов юных лет,
Жизнь родила его — не гений.
Подобен он скрыжали той,
Где пишет ангел неподкупный
Прекрасный подвиг и преступный —
Все, что творим мы под луной.
Я много строк моих, о Лета!
В тебе желал бы окунуть
И утаить их как-нибудь
И от себя и ото света...
Но уж свое они рекли,
А что прошло, то непреложно.
Года волненья протекли,
И мне перо оставить можно.
Теперь я знаю бытие.
Одно желание мое —
Покой, домашние отрады.
И погружен в самом себе,
Смеюсь я людям и судьбе,
Уж не от них я жду награды.
Но что? с бессонною душой,
С душою чуткою поэта
Ужели вовсе чужд я света?
Проснуться может пламень мой,
Еще, быть может, я возвышу
Мой голос: родина моя!
Ни бед твоих я не услышу,
Ни славы, струны утая.

Н. Е. Б.....

Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепенется,
Кто на красавицу очей ни возведет:
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упадших чертогов колонны!

К КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Как жизни общие призывы,
Как увлеченья суеты,
Понятны вам страстей порывы
И обаяния мечты;
Понятны вам все дуновенья,
Которым в море бытия
Послушна наша ладия.
Вам приношу я песнопенья,
Где отразилась жизнь моя:
Исполнена тоски глубокой,
Противоречий, слепоты,
И между тем любви высокой,
Любви добра и красоты.

Счастливый сын уединенья,
Где сердца ветреные сны
И мысли праздные стремленья
Разумно мной усыплены;
Где, другу мира и свободы,
Ни до фортуны, ни до моды,
Ни до молвы мне нужды нет;
Где я простил безумству, злобе
И позабыл, как бы во гробе,
Но добровольно, шумный свет, —
Еще, порою, покидаю
Я Лету, созданную мной,
И степи мира облетаю
С тоскою жаркой и живой.
Ищу я вас; гляжу: что с вами?
Куда вы брошены судьбами,

Вы, озарявшие меня
И дружбы кроткими лучами,
И светом высшего огня?
Что вам дарует провиденье?
Чем испытует небо вас?
И возношу молящий глас:
Да длится ваше упоенье,
Да скоро минет скорбный час!

Звезда разрозненной плеяды!
Так из глуши моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.

Для ликующей свободы
Вновь Эллада ожила,
Собрала свои народы
И столицы подняла:
В ней опять цветут науки,
Носит понт торговли груз,
Но не слышны лиры звуки
В первобытном рае Муз!

Блестит зима дряхлеющего мира,
Блестит! Суров и бледен человек;
Но зелены в отечестве Омира
Холмы, леса, брега лазурных рек.
Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы,
Кастальский ключ живой струею бьет:
Нежданный сын последних сил природы —
Возник Поэт: идет он и поет.

Воспевает, простодушный,
Он любовь и красоту,
И науки, им ослушной,
Пустоту и суету:

Мимолетные страданья
Легкомыслием целя,
Лучше, смертный, в дни незнанья
Радость чувствует земля.

Поклонникам Урании холодной
Поет, увы! он благодать страстей:
Как пажити Эол бурнопогодный,
Плодотворят они сердца людей;
Живительным дыханием развита,
Фантазия подъемлется от них,
Как некогда возникла Афродита
Из пенистой пучины вод морских.

И зачем не предадимся
Снам улыбчивым своим?
Жарким сердцем покоримся
Думам хладным, а не им!
Верьте сладким убежденьям
Вас ласкающих очес
И отрадным откровеньям
Сострадательных небес!

Суровый смех ему ответом; персты
Он на струнах своих остановил,
Сомкнул уста вещать полуотверсты,
Но гордыя главы не преклонил:
Стопы свои он в мыслях направляет
В немую глушь, в безлюдный край; но свет
Уж праздного вертепа не являет,
И на земли уединенья нет!

Человеку непокорно
Море синее одно:
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн,
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!

И попрежнему блистает
Хладной роскошию свет:
Серебрит и позлащает
Свой безжизненный скелет;
Но в смущение приводит
Человека вал морской,
И от шумных вод отходит
Он с тоскующей душой!

НЕДОНОСОК

Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков
Возлетев, паду слабея.
Как мне быть? я мал и плох;
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами.

Блещет солнце: радость мне!
С животворными лучами
Я играю в вышине
И веселыми крылами
Ластюсь к ним как облачко;
Пью счастливо воздух тонкой:
Мне свободно, мне легко,
И пою я птицей звонкой.

Но ненастье заревет
И до облак, свод небесный
Омрачивших, вознесет
Прах земной и лист древесный:
Бедный дух! ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня как пух,
Мчит под небо громовое.

Бури грохот, бури свист!
Вихорь хладный! вихорь жгучий!
Бьет меня древесный лист,
Удушает прах летучий!

Обращусь ли к небесам,
Оглянуся ли на землю:
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подъемлю.

Смутно слышу я порой
Клич враждующих народов,
Поселян беспечных вой
Под грозой их переходов,
Гром войны и крик страстей,
Плач недужного младенца...
Слезы льются из очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающий тоской,
Я мечусь в полях небесных,
Надо мной и подо мной
Беспредельных — скорби тесных!
В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу... На земле
Оживил я недоносок.
Отбыл он без бытия:
Роковая скоротечность!
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

БОКАЛ

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристал...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин:
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.

Чем душа моя богата,
Все твое, о друг Аи!
Ныне мысль моя не сжата
И свободны сны мои;
За струею вдохновенной
Не рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой.

Мой восторг неосторожный
Не обидит никого;
Не откроет дружбе ложной
Таин счастья моего;
Не смутит глупцов ревнивых
И торжественных невежд
Излияньем горделивых
Иль святых моих надежд!

Вот теперь со мной беседуй,
Своенравная струя!
Упоенья проповедуй
Иль отравы бытия;

Сердцу милые преданья
Благодатно оживи
Или прошлые страданья
Мне на память призови!

О бокал уединенья!
Не усилены тобой
Пошлой жизни впечатленья,
Словно чашей круговой:
Плодородней, благородней,
Дивной силой будишь ты
Откровенья преисподней
Иль небесные мечты.

И один я пью отныне!
Не в людском шуму, пророк
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Не в бесплодном развлеченьи
Общежительных страстей,
В одиноком упоеньи
Мгла падет с его очей!

АЛКИВИАД

Облокотясь перед медью, образ его отражавшей,
Дланью слегка приподняв кудри златые чела,
Юный красавец сидел, горделиво-задумчив, и, смехом
Горьким смеясь, на него мужи казали перстом;
Девы, тайно любуясь челом благородно-открытым,
Нехотя взор отводя, хмурили брови свои.
Он же и глух был, и слеп; он, не в меди глядясь, а в грядущем,
Думал: к лицу ли ему будет лавровый венок?

ОСЕНЬ

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виется вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист ее падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Веселый сон минутных летних нег!
Вот эхо, в рощах обнаженных,

Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубров и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит.

4

А между тем досужий селянин
Плод годовых трудов сбирает:
Сметав в стога скошенный злак долин,
С серпом он в поле поспешает.
Гуляет серп. На сжатых бороздах
Снопы стоят в копнах блестящих
Иль тянутся, вдоль жнивы, на возах,
Под тяжкой ношею скрыпящих,
И хлебных скирд золотоверхий град
Подъемлется кругом крестьянских хат.

5

Дни сельского, святого торжества!
Овины весело дымятся,
И цеп стучит, и с шумом жернова
Ожившей мельницы крутятся.
Иди, зима! на строги дни себе
Припас оратай много блага:
Отрадное тепло в его избе,
Хлеб-соль и пенистая брага;
С семьей своей вкусит он, без забот,
Своих трудов благословенный плод!

6

А ты, когда вступаешь в осень дней,
Оратай жизненного поля,
И пред тобой во благостыне всей
Является земная доля;
Когда тебе житейские бразды,
Труд бытия вознаграждая,
Готовятся подать свои плоды
И спеет жатва дорогая,
И в зернах дум ее сбираешь ты,
Судеб людских достигнув полноты:

7

Ты так же ли, как земледел, богат?
  И ты, как он, с надеждой сеял;
И ты, как он, о дальнем дне наград
  Сны позлащенные лелеял...
Любуйся же, гордись восставшим им!
  Считай свои приобретенья!..
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
  Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!

8

Твой день взошел, и для тебя ясна
  Вся дерзость юных легковерий;
Испытана тобою глубина
  Людских безумств и лицемерий.
Ты, некогда всех увлечений друг,
  Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг
  Бесплодных дебрей созерцатель,
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

9

Но если бы негодованья крик,
  Но если б вопль тоски великой
Из глубины сердечныя возник
  Вполне торжественный и дикой:
Костями бы среди своих забав
  Содроглась ветреная младость,
Играющий младенец, зарыдав,
  Игрушку б выронил, и радость
Покинула б чело его навек,
И заживо б в нем умер человек!

10

Зови ж теперь на праздник честный мир!
  Спеши, хозяин тароватый!
Проси, сажай гостей своих за пир
  Затейливый, замысловатый!
Что лакомству пророчит он утех!

Каким разнообразьем брашен
Блистает он!.. Но вкус один во всех
И как могила людям страшен:
Садись один и тризну соверши
По радостям земным твоей души!

11

Какое же потом в груди твоей
Ни водворится озаренье,
Чем дум и чувств ни разрешится в ней
Последнее вихревращенье:
Пусть в торжестве насмешливом своем
Ум бесполезный сердца трепет
Угомонит и тщетных жалоб в нем
Удушит запоздалый лепет,
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад.

12

Иль, отряхнув видения земли
Порывом скорби животворной,
Ее предел завидя невдали,
Цветущий брег за мглою черной,
Возмездий край, благовестящим снам
Доверясь чувством обновленным
И бытия мятежным голосам,
В великом гимне примиренным,
Внимающий как арфам, коих строй
Превыспренний не понят был тобой, —

13

Пред промыслом оправданным ты ниц
Падешь с признательным смиреньем,
С надеждою, не видящей границ,
И утоленным разуменьем:
Знай, внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку
И легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку;
Знай, горняя иль дольная, она
Нам на земле не для земли дана.

14

Вот буйственно несется ураган,
  И лес подъемлет говор шумный,
И пенится, и ходит Океан,
  И в берег бьет волной безумной:
Так иногда толпы ленивый ум
  Из усыпления выводит
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум,
  И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.

15

Пускай, приняв неправильный полет
  И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
  Пусть заменит ее другая:
Не явствует земле ущерб одной,
  Не поражает ухо мира
Падения ее далекой вой,
  Равно как в высотах Эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

16

Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
  Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой, —
  Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
  Однообразно их покрывшей:
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

Были бури, непогоды,
Да младые были годы!

В день ненастный, час гнетучий
Грудь подымет вздох могучий;

Вольной песнью разольется:
Скорбь-невзгода распоется!

А как век-то, век-то старый
Обручится с лютой карой;

Груз двойной с груди усталой
Уж не сбросит вздох удалый:

Не положишь ты на голос
С черной мыслью белый волос!

Благословен святое возвестивший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный изгиб
Сердец людских пред нами обнаживший.
Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы.
Плод яблони со древа упадает:
Закон небес постигнул человек!
Так в дикий смысл порока посвящает
Нас иногда один его намек.

Еще как патриарх не древен я; моей
Главы не умастил таинственный елей:
Непосвященных рук бездарно возложенье!
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменьи ином, о дева красоты!
Под этой розою главой склонись, о ты,
Подобие цветов царицы ароматной,
В залог румяных дней и доли благодатной.

Толпе тревожный день приветен, но страшна
Ей ночь безмолвная. Боится в ней она
Раскованной мечты видений своевольных.
Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы,
        Видений дня боимся мы,
        Людских сует, забот юдольных.

        Ощупай возмущенный мрак:
        Исчезнет, с пустотой сольется
        Тебя пугающий призрак,
И заблужденью чувств твой ужас улыбнется.

О сын Фантазии! ты благодатных Фей
Счастливый баловень, и там, в заочном мире,
Веселый семьянин, привычный гость на пире
        Неосязаемых властей!
        Мужайся, не слабей душою
        Перед заботою земною:
Ей исполинский вид дает твоя мечта;
Коснися облака нетрепетной рукою —
Исчезнет; а за ним опять перед тобою
Обители духов откроются врата.

ПРИМЕТЫ

Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
Ловил ее знаменья с верой;

Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала:
О нем дружелюбной заботы полна,
Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу, волк,
Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он не был одним,
Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.

ОБЕДЫ

Я не люблю хвастливые обеды,
Где сто обжор, не ведая беседы,
Жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
Привел обед в счастливое броженье,
Чтоб дух играл с играющим вином,
Как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
Не менее Харит своим числом,
Числа Камен у вас не превышали.

ЗВЕЗДЫ

Мою звезду я знаю, знаю
  И мой бокал.
Я наливаю, наливаю,
  Как наливал.
Гоненьям рока, злобе света
  Смеюся я:
Живет не здесь — в звездах Моэта
  Душа моя!
Когда ж коснутся уст прелестных
  Уста мои —
Не нужно мне ни звезд небесных.
  Ни звезд Аи!

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

И тесный круг подлунных впечатлений
Сомкнувшая давно,
Под веяньем возвратных сновидений
Ты дремлешь; а оно

Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!

Всегда и в пурпуре и в злате,
В красе негаснущих страстей,
Ты не вздыхаешь об утрате
Какой-то младости твоей.
И юных Граций ты прелестней!
И твой закат пышней, чем день!
Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень!

Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная

МУДРЕЦУ

Тщетно меж бурною жизнью и хладною смертью,
философ,
Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
Нам, из ничтожества вызванным творчества словом
тревожным,
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.
Тот, кого миновали общие смуты, заботу
Сам вымышляет себе: лиру, палитру, резец;
Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель!

РИФМА

Когда на играх олимпийских,
На стогнах греческих недавних городов,
Он пел, питомец Муз, он пел среди валов
Народа, жадного восторгов мусикийских:
В нем вера полная в сочувствие жила.
Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.
Толпа вниманием окована была,
Пока, могучим сотрясеньем
Вдруг побежденная, плескала без конца
И струны звучные певца
Дарила новым вдохновеньем.
Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил, и славословил он
Или оплакивал народную Фортуну,
И устремлялися все взоры на него,
И силой слова своего
Витийя властвовал народным произволом:
Он знал, кто он; он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его торжественным глаголом.
Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума?
Сам судия и подсудимый,
Скажи: твой беспокойный жар —
Смешной недуг иль высший дар?

Реши вопрос неразрешимый!
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, Рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

Предрассудок! он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал.

Гонит в нем наш век надменный,
Не узнав его лица,
Нашей правды современной
Дряхлолетнего отца.

Воздержи младую силу!
Дней его не возмущай;
Но пристойную могилу,
Как уснет он, предку дай.

Что за звуки? Мимоходом
Ты поешь перед народом,
Старец нищий и слепой!
И, как псов враждебных стая,
Чернь тебя обстала злая,
Издеваясь над тобой.

А с тобой издавна тесен
Был союз Камены песен,
И беседовал ты с ней
Безыменной, роковою,
С дня, как в первый раз тобою
Был услышан соловей.

Бедный старец! слышу чувство
В сильной песни... Но искусство...
Старцев старее оно:
Эти радости, печали —
Музыкальные скрыжали
Выражают их давно!

Опрокинь же свой треножник!
Ты избранник, не художник!
Попеченья гений твой
Да отложит в здешнем мире:
Там, быть может, в горном клире
Звучен будет голос твой!

РОПОТ

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

АХИЛЛ

Влага Стикса закалила
Дикой силы полноту
И кипящего Ахилла
Бою древнему явила
Уязвимым лишь в пяту.

Обречен борьбе верховной,
Ты ли, долею своей
Равен с ним, боец духовный,
Сын купели новых дней?

Омовен ее водою,
Знай, страданью над собою
Волю полную ты дал,
И одной пятой своею
Невредим ты, если ею
На живую веру стал!

СКУЛЬПТОР

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

На все свой ход, на все свои законы.
Меж люлькою и гробом спит Москва;
Но и до ней, глухой, дошла молва,
Что скучен вист и веселей салоны
Отборные, где есть уму простор,
Где властвует не вист, а разговор.
И погналась за модой новосветской,
Но погналась старуха непутем:
Салоны есть, — но этот смотрит детской,
А тот, увы! — глядит гошпиталем.

Филида с каждою зимою,
Зимою новою своей,
Пугает большей наготою
Своих старушечьих плечей.
И, Афродита гробовая,
Подходит, словно к ложу сна,
За ризой ризу опуская,
К одру последнему она.

Здравствуй, отрок сладкогласный!
Твой рассвет зарей прекрасной
Озаряет Аполлон!
Честь возникшему Пииту!
Малолетную Хариту
Ранней лирой тронул он.

С утра дней счастлив и славен,
Кто тебе, мой мальчик, равен?
Только жаворонок живой,
Чуткой грудию своею,
С первым солнцем, полный всею
Наступающей весной!

КОТТЕРИИ

Братайтеся, к взаимной обороне
Ничтожностей своих вы рождены;
Но дар прямой не брат у вас в притоне,
Бездарные писцы хлопотуны!
Наоборот союзным на благое,
Реченного достойные друзья:
Аминь, аминь, вещал он вам, где трое
Вы будете — не буду с вами я.

Спасибо злобе хлопотливой,
Хвала вам, недруги мои!
Я, не усталый, но ленивый,
Уж пил Летийские струи.

Слегка седеющий мой волос
Любил за право на покой;
Но вот к борьбе ваш дикий голос
Меня зовет и будит мой.

Спасибо вам, я не в утрате!
Как богоизбранный еврей,
Остановили на закате
Вы солнце юности моей!

Спасибо! молодость вторую,
И человеческим сынам
Доселе безвестную, пирую
Я в зависть Флакку, в славу вам!

С КНИГОЮ «СУМЕРКИ» С. Н. К.

Сближеньем с вами на мгновенье
Я очутился в той стране,
Где *в оны дни* воображенье
Так сладко, складно лгало мне.
На ум, на сердце мне излили
Вы благодатные струи
И чудотворно превратили
В день ясный *сумерки* мои.

Люблю я вас, богини пенья,
Но ваш чарующий наход,
Сей сладкий трепет вдохновенья, —
Предтечей жизненных невзгод.

Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываюсь, полный муки,
От Музы, ласковой ко мне,
И говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.

НА ПОСЕВ ЛЕСА

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит, —
К ее сынам еще взывает лира.

Велик господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос:
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елѐй, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти,
Поэзии таинственных скорбей,
Могучие и сумрачные дети.

Когда твой голос, о Поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит;

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стесненной грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто! — но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

МОЛИТВА

Царь небес! успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нем таинство печали полюбя.

Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою, —
Рай зрела в нем чудесная любовь.

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.

ПИРОСКАФ

Дикою, грозною ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан.
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался недаром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами,
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.

Только вдали, океана жилица,
Чайке подобна, вод его птица,
Парус развив, как большое крыло,
С бурной стихией в томительном споре,
Лодка рыбачья качается в море:
С брегом набрежное скрылось, ушло!

Много земель я оставил за мною;
Вынес я много смятенной душою
Радостей ложных, истинных зол;
Много мятежных решил я вопросов
Прежде, чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога;
Жадные длани я к ней простирал.

Темную страсть мою днесь награждая,
Кротко щадит меня немочь морская:
Пеною здравья брызжет мне вал!

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду· мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл: прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе коё-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Ты дал мне благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет.

Москва нас приняла, расставшихся с деревней.
Ты был вожатый мой в столице нашей древней.
Всех макаронщиков тогда узнал я в ней,
Ментора моего полуденных друзей.
Увы! оставив там могилу дорогую,
Опять увидели мы вотчину степную,
Где волею небес узнал я бытие,
О сын Авзонии, для бурь, как ты свое,
Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной,
Ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный.

Ты полюбил тебя призревшую семью
И, с жизнию ее сливая жизнь свою,

Ее событьями в глуши чужого края
Былого своего преданья заглушая,
Безропотно сносил морозы наших зим;
В наш краткий летний жар тобою был любим
Овраг под сению дубов прохладовейных.
Участник наших слез и праздников семейных,
В дни траура главой седой ты поникал;
Но ускорял шаги и членами дрожал,
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,
Питомца твоего, недавнего корнета,
К коленам матери кибитка принесет,
И скорбный взор ее минутно оживет.

Но что! радушному пределу благодарный,
Нет! ты не забывал отчизны лучезарной!
Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра
Имел ты на устах от утра до утра,
Именовал ты нам и принцев и прелатов
Земли, где зрел, дивясь, суворовских солдатов,
Входящих (вопреки тех пламенных часов,
Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов),
В густой пыли побед, в грозе небритых бород,
Рядами стройными в классический твой город;
Земли, где, год спустя, тебе предстал и он,
Тогда Буонапарт, потом Наполеон,
Минутный царь царей, но дивный Кондотьери,
Уж зиждущий свои гигантские потери.

Скрывая власти глад, тогда морочил вас
Он звонкой пустотой революцьонных фраз.
Народ ему зажег приветственные плошки;
Но ты, ты не забыл серебряные ложки,
Которые, среди блестящих общих грез,
Ты контрибуции назначенной принес:
Едва ты узнику печальному британца
Простил военную систему Корсиканца.

Что на твоем веку, то ль благо, то ли зло
Возникло, при тебе в преданье перешло:
В Альпийских молниях, приемлемый опалой,
Свой ратоборный дух, на битвы не усталый,
В картечи эпиграмм Суворов испустил.

Злодей твой на скале пустынной опочил;
Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети
Уж поняли тобой взлелеянные дети;
Когда, свидетели превратностей земли,
Они глубокий взор уставить уж могли,
Забвенья чуждые за жизненною чашей,
На итальянский гроб в ограде церкви нашей.

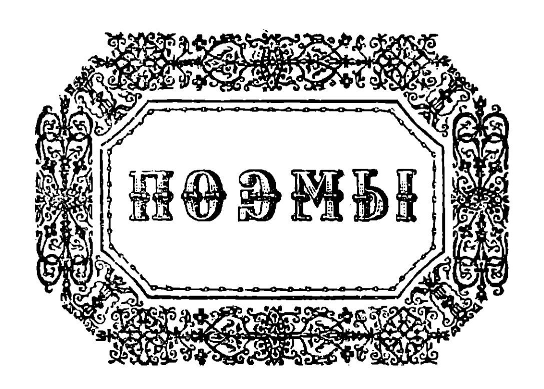
А я, я, с памятью живых твоих речей,
Увидел роскоши Италии твоей!
Во славе солнечной Неаполь твой нагорный,
В парах пурпуровых и в зелени узорной,
Неувядаемой, — амфитеатр дворцов
Над яркой пеленой лазоревых валов;
И Цицеронов дом, и злачную пещеру,
Священную поднесь Камены суеверу,
Где спит великий прах властителя стихов,
Того, кто в сей земле волканов и цветов,
И ужасов и нег взлелеял Эпопею,
Где в мраки Тартара открыл он путь Энею,
Явил его очам чудесный сад утех,
Обитель сладкую теней блаженных тех,
Что, крепки в опытах земного треволненья,
Сподобились вкусить эфирных струй забвенья.

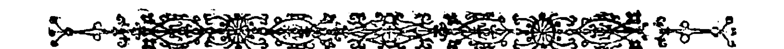
Неаполь! До него среди садов твоих
Сердца мятежные отыскивали их.
Сквозь занавес веков еще здесь помнят виллы
Приюты отдыхов и Мария и Силлы.
И кто, бесчувственный, среди твоих красот,
Не жаждал в их раю обресть навес иль грот,
Где б скрылся (не на час, как эти полубоги,
Здесь Лету пившие, чтоб крепнуть для тревоги),
Но чтоб незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладостной с последним, вечным сном.

И в сей Италии, где всё — каскады, розы,
Мелезы, тополи и даже эти лозы,
Чей безымянный лист так преданно обник
Давно из божества разжалованный лик,
Потом с чела его повиснул полусонно, —

Все беззаботному дыханью благосклонно,
Ужиться ты не мог и, помня сладкий юг,
Дух предал строгому дыханью наших вьюг.
Не сетуя о том, что за пределы мира
Он улететь бы мог на крылиях Зефира!

О тайны душ! меж тем как сумрачный поэт,
Дитя Британии, влачивший столько лет
По знойным берегам груди своей отравы,
У миртов, у олив, у моря и у лавы,
Молил рассеянья от думы роковой,
Владеющей его измученной душой,
Напрасно! (уст его, как древле уст Тантала,
Струя желанная насмешливо бежала) —
Мир сердцу твоему дал пасмурный навес
Метелью полгода скрываемых небес,
Отчизна тощих мхов, степей и древ иглистых!
О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых,
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный Аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем.


ПОЭМЫ



ПИРЫ

Друзья мои! я видел свет,
На все взглянул я верным оком.
Душа полна была сует,
И долго плыл я общим током...
Безумству долг мой заплачен,
Мне что-то взоры прояснило;
Но, как премудрый Соломон,
Я не скажу: все в мире сон!
Не все мне в мире изменило:
Бывал обманут сердцем я,
Бывал обманут я рассудком;
Но никогда еще, друзья,
Обманут не был я желудком.

Признаться каждый должен в том,
Любовник, иль поэт, иль воин:
Лишь беззаботный гастроном
Названья мудрого достоин.
Хвала и честь его уму!
Дарами нужными ему
Земля усеяна роскошно.
Пускай герою моему
Пускай, друзья, порою тошно,
Зато не грустно: горя чужд
Среди веселостей вседневных,
Не знает он душевных нужд,
Не знает он и мук душевных.

Трудясь над смесью рифм и слов,
Поэты наши чуть не плачут;
Своих почтительных рабов
Порой красавицы дурачут;
Иной храбрец, в отцовский дом
Явясь уродом с поля славы,
Подозревал себя глупцом:
О бог стола, о добрый Ком,
В твоих утехах нет отравы!
Прекрасно лирою своей
Добиться памяти людей;
Служить любви еще прекрасней,
Приятно драться; но ей-ей,
Друзья, обедать безопасней!

Как не любить родной Москвы!
Но в ней не град первопрестольный,
Не золоченые главы,
Не гул потехи колокольной,
Не сплетни вестницы-молвы
Мой ум пленили своевольный.
Я в ней люблю весельчаков,
Люблю роскошное довольство
Их продолжительных пиров,
Богатой знати хлебосольство
И дарованья поваров.
Там прямо веселы беседы;
Вполне уважен хлебосол;
Вполне торжественны обеды;
Вполне богат и лаком стол.
Уж он накрыт, уж он рядами
Несчетных блюд отягощен
И беззаботными гостями
С благоговеньем окружен.
Еще не сели; всё в молчаньи;
И каждый гость вблизи стола
С веселой ясностью чела
Стоит в роскошном ожиданьи,
И сквозь прозрачный, легкий пар
Сияют лакомые блюды,
Златых плодов, десерта груды...
Зачем удел мой слабый дар!

Но так весной ряды курганов
При пробужденных небесах
Сияют в пурпурных лучах
Под дымом утренних туманов.
Садятся гости. Граф и князь,
В застольном деле все удалы,
И осушают не ленясь
Свои широкие бокалы:
Они веселье в сердце льют,
Они смягчают злые толки;
Друзья мои, где гости пьют,
Там речи вздорны, но не колки.
И начались чудеса:
Смешались быстро голоса;
Собранье глухо зашумело;
Своих собак, своих друзей,
Певцов, героев хвалят смело;
Вино разнежило гостей
И даже ум их разогрело.
Тут все торжественно встает,
И каждый гость, как муж толковый,
Узнать в гостиную идет,
Чему смеялся он в столовой.

Меж тем одним ли богачам
Доступны праздничные чаши?
Не мудрены пирушки наши,
Но не уступят их пирам.
В углу безвестном Петрограда,
В тени древес, во мраке сада,
Тот домик помните ль, друзья,
Где наша верная семья,
Оставя скуку за порогом,
Соединялась в шумный круг
И без чинов с румяным богом
Делила радостный досуг?
Вино лилось, вино сверкало;
Сверкали блестки острых слов,
И веки сердце проживало
В немного пламенных часов.
Стол покрывала ткань простая;
Не восхищалися на нем

Мы ни фарфорами Китая,
Ни драгоценным хрусталем:
И между тем сынам веселья
В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Аи.
Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободою кипит.
Как пылкий ум не терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой.
Мы в ней заботы потопляли
И средь восторженных затей
«Певцы пируют! — восклицали: —
Слепая чернь, благоговей!»

Любви слепой, любви безумной
Тоску в душе моей тая,
Насилу, милые друзья,
Делить восторг беседы шумной
Тогда осмеливался я.
«Что потакать мечте унылой, —
Кричали вы: — смелее пей!
Развеселись, товарищ милый,
Для нас живи, забудь о ней!»
Вздохнув, рассеянно послушный,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывалися печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней!» невнятно лепетали.

И где ж изменница-любовь!
Ах, в ней и грусть — очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!

Разлучены судьбою строгой:
И каждый с ропотом вздохнул,
И брату руку протянул,
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает,
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.

О если б, теплою мольбой
Обезоружив гнев судьбины,
Перенестись от скал чужбины
Мне можно было в край родной!
(Мечтать позволено поэту.)
У вод домашнего ручья
Друзей, разбросанных по свету,
Соединил бы снова я.
Дубравой темной осененный,
Родной отцам моих отцов,
Мой дом, свидетель двух веков,
Поникнул кровлею смиренной.
За много лет до наших дней
Там в чаши чашами стучали,
Любили пламенно друзей
И с ними шумно пировали...
Мы, те же сердцем в век иной,
Сберемтесь дружеской толпой
Под мирный кров домашней сени:
Ты, верный мне, ты, Дельвиг мой,
Мой брат по Музам и по лени,
Ты, Пушкин наш, кому дано
Петь и героев, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано с проказливым умом
Быть сердца верным знатоком
И лучшим гостем за бутылкой.
Вы все, делившие со мной
И наслажденья и мечтанья,
О, поспешите в домик мой
На сладкий пир, на пир свиданья!

Слепой владычицей сует
От колыбели позабытый,
Чем угостит анахорет,
В смиренной хижине укрытый?
Его пустынничий обед
Не будет лакомый, но сытый.
Веселый будет ли, друзья?
Со дня разлуки, знаю я,
И дни и годы пролетели,
И разгадать у бытия
Мы много тайного успели:
Что ни ласкало встарину,
Что прежде сердцем ни владело,
Подобно утреннему сну,
Все изменило, улетело!
Увы! на память нам придут
Те песни, за веселой чашей,
Что на Парнасе берегут
Преданья молодости нашей:
Собранье пламенных замет
Богатой жизни юных лет;
Плоды счастливого забвенья,
Где воплотить умел поэт
Свои живые сновиденья...
Не обрести замены им!
Чему же веру мы дадим?
Пирам! В безжизненные лета
Душа остылая согрета
Их утешением живым.
Пускай навек исчезла младость,
Пируйте, други: стуком чаш
Авось приманенная радость
Еще заглянет в угол наш.

ЭДА

«Чего робеешь ты при мне,
Друг милый мой, малютка Эда?
За что, за что наедине
Тебе страшна моя беседа?
Верь, не коварен я душой;
Там, далеко, в стране родной,
Сестру я добрую имею,
Сестру чудесной красоты;
Я нежно, нежно дружен с нею,
И на нее похожа ты.
Давно... что делать?.. но такая
Уж наша доля полковая!
Давно я, Эда, не видал
Родного счастливого края,
Сестры моей не целовал!
Лицом она, будь сердцем ею;
Мечте моей не измени
И мне любовию твоею
Ее любовь напомяни!
Мила ты мне. Веселье, муку,
Всё жажду я делить с тобой:
Не уходи, оставь мне руку!
Доверься мне, друг милый мой!»

С улыбкой вкрадчивой и льстивой
Так говорил гусар красивый
Финляндке Эде. Русь была
Ему отчизной. В горы Фина
Его недавно завела
Полков бродячая судьбина.
Суровый край: его красам,
Пугаяся, дивятся взоры;

На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновый лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит взгляд;
Пришлец исполнен смутной думы:
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?
В доселе счастливой глуши,
Отца простого дочь простая,
Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках,
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледноголубые,
Подобно Финским небесам.

День гаснул, скалы позлащая.
Пред хижиной своей одна
Сидела дева молодая,
Лицом спокойна и ясна.
Подсел он скромно к деве скромной,
Завел он кротко с нею речь;
Ее не мыслила пресечь
Она в задумчивости томной,
Внимала слабым сердцем ей.
Так роза первых вешних дней
Лучам неверным доверяет:
Почуя теплый ветерок,
Его лобзаньям открывает
Благоуханный свой шипок
И не предвидит хлад суровый,
Мертвящий хлад, дохнуть готовый.

В руке гусара моего
Давно рука ее лежала:
В забвеньи сладком у него
Она ее не отнимала.
Он к сердцу бедную прижал:
Взор укоризны, даже гнева
Тогда поднять хотела дева,
Но гнева взор не выражал.
Веселость ясная сияла
В ее младенческих очах,
И, наконец, в таких словах
Ему Финляндка отвечала:
«Ты мной давно уже любим:
Зачем же нет? Ты добродушен,
Всегда заботливо послушен
Малейшим прихотям моим.
Они докучливы бывали;
Меня ты любишь, вижу я:
Душа признательна моя.
Ты мне любезен: не всегда ли
Я угождать тебе спешу?
Я с каждым утром приношу
Тебе цветы; я подарила
Тебе кольцо; всегда была
Твоим весельем весела;
С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы;
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадешь, когда полюбишь:
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».

«Я твой губитель, Эда? я?
Тогда пускай мне казнь любую
Пошлет небесный судия!
Нет, нет! я с тем тебя целую!»
«На что? зачем? какой мне стыд!»
Младая дева говорит.

Уж поздно. Встать, бежать готова
С негодованием она.
Но держит он. «Постой! два слова!
Постой! ты взорами сурова:
Ужель ты мной оскорблена?
О нет, останься: миг забвенья,
Минуту шалости прости!»
«Я не сержуся; но пусти!»
«Твой взор исполнен оскорбленья,
И ты лицом не можешь лгать:
Позволь, позволь для примиренья
Тебя еще поцеловать».
«Оставь меня!»
«Мой друг прекрасный!
И за ребяческую блажь
Ты неизвестности ужасной
Меня безжалостно предашь!
И не поймешь мое страданье!
И такова любовь твоя!
Друг милый мой, одно лобзанье,
Одно, иль ей не верю я!»

И дева бедная вздохнула,
И милый лик свой, до того
Отвороченный от него,
К нему тихонько обернула.

Как он самим собой владел!
С какою медленностью томной,
И между тем как будто скромной,
Напечатлеть он ей умел
Свой поцелуй! Какое чувство
Ей в грудь младую влил он им!
И лобызанием таким
Владеет хладное искусство!
Ах, Эда, Эда! Для чего
Такое долгое мгновенье
Во влажном пламени его
Пила ты страстное забвенье?
Теперь полна в душе своей
Желанья смутного заботой,
Ты освежительной дремотой

Уж не сомкнешь своих очей;
Слетят на ложе сновиденья,
Тебе безвестные досель,
И долго жаркая постель
Тебе не даст успокоенья.
На камнях розовых твоих
Весна игриво засветлела,
И ярко-зелен мох на них,
И птичка весело запела,
И по гранитному одру
Светло бежит ручей сребристый,
И лес прохладою душистой
С востока веет поутру;
Там за горою дол таится,
Уже цветы пестреют там;
Уже черемух фимиам
Там в чистом воздухе струится:
Своею негою страшна
Тебе волшебная весна.
Не слушай птички сладкогласной!
От сна восставшая, с крыльца
К прохладе утренней лица
Не обращай, и в дол прекрасный
Не приходи, а сверх всего,
Беги гусара твоего!

Уже пустыня сном объята;
Встал ясный месяц над горой,
Сливая свет багряный свой
С последним пурпуром заката;
Двойная, трепетная тень
От черных сосен возлегает,
И ночь прозрачная сменяет
Погасший неприметно день.
Уж поздно. Дева молодая,
Жарка ланитами, встает
И молча, глаз не подымая,
В свой угол медленно идет.

Была беспечна, весела
Когда-то добренькая Эда;
Одною Эдой и жила
Когда-то девичья беседа;
Она приветно и светло
Когда-то всем глядела в очи:
Что ж изменить ее могло?
Что ж это утро облекло
И так внезапно в сумрак ночи?
Она рассеянна, грустна;
В беседах вовсе не слышна;
Как прежде, ясного привета
Ни для кого во взорах нет;
Вопросы долго ждут ответа,
И часто странен сей ответ;
То жарки щеки, то бесцветны
И, тайной горести плоды,
Нередко свежие следы
Горючих слез на них заметны.

Бывало, слишком зашалит
Неосторожный постоялец:
Она к устам приставит палец,
Ему с улыбкой им грозит.
Когда же ей он подарит
Какой-нибудь наряд дешевый,
Финляндка дивной ей обновой
Похвастать к матери бежит,
Меж тем его благодарит
Веселым книксом. Шаловливо
На друга сонного порой
Плеснет холодною водой

И убегает торопливо,
И долго слышен громкий смех.
Ее трудов, ее утех
Всегда в товарищи малюткой
Бывал он призван с милой шуткой.
Взойдет ли утро, ночи ль тень
На усыпленны холмы ляжет,
Ему красотка добрый день
И добру ночь приветно скажет.

Где время то? При нем она
Какой-то робостию ныне
В своих движеньях смущена;
Веселых шуток и в помине
Уж нет; незначущих речей
С ним даже дева не заводит,
Как будто стал он недруг ей;
Зато порой с его очей
Очей задумчивых не сводит,
Зато порой наедине
К груди гусара вся в огне
Бедняжка грудью припадает
И, страсти гибельной полна,
Сама уста свои она
К его лобзаньям обращает;
А в ночь бессонную одна,
Одна с раскаяньем напрасным,
Сама волнением ужасным
Души своей устрашена,
Уныло шепчет: что со мною?
Мне с каждым днем грустней, грустней;
Ах, где ты, мир души моей!
Куда пойду я за тобою!
И слезы детские у ней
Невольно льются из очей.

Она была не без надзора.
Отец ее, крутой старик,
Отчасти в сердце к ней проник.
Он подозрительного взора
С несчастной девы не сводил;
За нею следом он бродил:

И подсмотрел ли что такое,
Но только молодой шалун
Раз видел, слышал, как ворчун
Взад и вперед в своем покое
Ходил сердито; как потом
Ударил сильно кулаком
Он по столу и Эде бедной,
Пред ним трепещущей и бледной,
Сказал решительно: «Поверь,
Не сдобровать тебе с гусаром!
Вы за углами с ним недаром
Всегда встречаетесь. Теперь
Ты рада слушать негодяя.
Худому выучит. Беда
Падет на дуру. Мне тогда
Забота будет небольшая:
Кто мой обычай ни порочь,
А потаскушка мне не дочь».
Тихонько слезы отирая
У грустной Эды: «Что ворчать?»
Сказала с кротостию мать:
«У нас смиренная такая
До сей поры была она.
И в чем теперь ее вина?
Грешишь, бедняжку обижая».
«Да, молвил он, ласкай ее,
А я сказал уже свое».

День после, в комнатке своей,
Уже вечернею порою,
Одна, с привычною тоскою,
Сидела Эда. Перед ней
Святая библия лежала.
На длань склоненная челом,
Она рассеянным перстом
Рассеянно перебирала
Ее измятые листы
И в дни сердечной чистоты
Невольной думой улетала.
Взошел он с пасмурным лицом,
В молчаньи сел, в молчаньи руки
Сжал на груди своей крестом;

Приметы скрытой, тяжкой муки
В нем все являло. Наконец:
«Долг от меня, — сказал хитрец, —
С тобою требует разлуки.
Теперь услышать милый глас,
Увидеть милые мне очи
Я прихожу в последний раз:
Покроет землю сумрак ночи
И навсегда разлучит нас.
Виною твой отец суровый:
Его укоры слышал я;
Нет, нет, тебе любовь моя
Не нанесет печали новой!
Прости!» Чуть дышуща, бледна,
Гусара слушала она.
«Что говоришь? Возможно ль? Ныне?
И навсегда, любезный мой!..»
«Бегу отселе; но душой
Останусь в милой мне пустыне.
С тобою видеть я любил
Потоки те же, те же горы;
К тому же небу возводил
С небесной радостию взоры:
С тобой в разлуке свету дня
Уже не радовать меня!
Я волю дал любви несчастной
И погубил, доверясь ей,
За миг летящий, миг прекрасный
Всю красоту грядущих дней.
Но слушай! Срок остался краткой:
Пугаяся ревнивых глаз,
Везде преследующих нас,
Доселе мельком и украдкой
Видались мы; моей мольбой
Не оскорбись. На расставанье
Позволь, позволь иметь с тобой
Мне безмятежное свиданье!
Лишь мраки ночи низойдут,
И сном глубоким до денницы
Отяжелелые зеницы
Твои домашние сомкнут,
Приду я к тихому приюту

Моей любезной: о, покинь
Девичий страх и на минуту
Затвор досадный отодвинь!
Прильну в безмолвии печальном
К твоим устам, о жизнь моя,
И в лобызании прощальном
Тебе оставлю душу я».

Прискорбно дева поглядела
На обольстителя; не смела,
Сама не зная почему,
Она довериться ему:
Бедою что-то ей грозило;
Какой-то страх в нее проник;
Ей смутно сердце говорило,
Что не был прост его язык.
Святая книга, как сначала,
Еще лежавшая пред ней,
Ей долг ее напоминала.
Ко груди трепетной своей
Прижав ее: «Нет, нет, — сказала, —
Зачем со злобою такой
Играть моею простотой?
Иль мало было прегрешений?
Еще ль, еще ль охотный слух
Склоню на голос искушений?
Оставь меня, лукавый дух!
Оставь, без новых угрызений».

Но вправду враг ему едва ль
Не помогал: с такою силой
Излил он ропот свой, печаль
Столь горько выразил, что жаль
Гусара стало деве милой:
И слезы падали у ней
В тяжелых каплях из очей.
И в то же время то моленья,
То пени расточал хитрец.
«Что медлишь? Дороги мгновенья!»
К ней приступил он наконец:
«Дай слово!» — «Всей душой тоскуя,
Какое слово дать могу я, —

Сказала, — сжалься надо мной!
Владею ль я сама собой!
И что я знаю!» Пылко, живо
Тут к сердцу он ее прижал.
«Я буду, жди меня!» сказал.
Сказал и скрылся торопливо.

Уже и холмы и поля
Покрыты мраками густыми.
Смиренный ужин разделя
С неприхотливыми родными,
Вошла девица в угол свой;
На дверь задумчиво взглянула:
«Поверь, опасен гость ночной!»
Ей совесть робкая шепнула,
И дверь ее заложена.
В бумажки мягкие она
Златые кудри завернула,
Снять поспешила как-нибудь
Дня одеяния неловки,
Тяжелодышущую грудь
Освободила от шнуровки,
Легла и думала заснуть.
Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
«Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?
Я своенравна в самом деле.
Пущу его: ведь миг со мной
Пробудет здесь любезный мой,
Потом навек уйдет отселе».
Так мнит уж девица и вот
С одра тихохонько встает,
Ко двери с трепетом подходит
И вот задвижки роковой
Уже касается рукой;
Вот руку медленно отводит,
Вот приближает руку вновь;
Железо двинулось: вся кровь
Застыла в девушке несчастной,
И сердце сжала ей тоска.
Тогда же чуждая рука

Дверь пошатнула: «Друг прекрасный,
Не бойся, Эда, это я!»
И от смятенья дух тая,
Полна неведомого жара,
Девица бедная моя
Уже в объятиях гусара.

Увы! досталась в эту ночь
Ему желанная победа:
Чувств упоенных превозмочь
Ты не могла, бедняжка Эда!
Заря багрянит свод небес.
Восторг обманчивый исчез;
С ним улетел и призрак счастья;
Открылась бездна нищеты:
Слезами скорби платишь ты
Уже за слезы сладострастья!
Стыдясь пылающего дня,
На крае ложа рокового
Сидишь ты, голову склоня.
Взгляни на друга молодого!
Внимай ему: нет, нет, с тобой
Он не снесет разлуки злой;
Тебе все дни его и ночи;
Отец его не устрашит:
Он подозренья усыпит,
Обманет бдительные очи;
Твой будет он, покуда жив...
Напрасно все; она не внемлет,
Очей на друга не подъемлет,
Уста безмолвные раскрыв,
Потупя в землю взор незрящий;
Ей то же друга разговор,
Что ветр, бессмысленно свистящий
Среди ущелин Финских гор.

Недолго, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Идет поспешно день за днем.
Гусару дева молодая
Уже покорствует во всем.
За ним она, как лань ручная,
Повсюду ходит. То четой
Приемлет их в полдневный зной
Густая сень дубровы сонной,
То зазовет дремучий бор,
То приглашают гроты гор
В свой сумрак неги благосклонной;
Но чаще сходятся они
В долу соседственном, глубоком.
В густой рябиновой сени
Над быстро льющимся потоком
Они садятся на траву.
Порой любовник в томной лени
Послушной деве на колени
Кладет беспечную главу
И легким сном глаза смыкает.
Дух притаив, она внимает
Дыханью друга своего;
Древесной веткой отвевает
Докучных мошек от него;
Его волнистыми власами
Играет детскими перстами.

Когда ж подымется луна
И дикий край под ней задремлет,
В приют укромный свой она
К себе на одр его приемлет.

Но дева нежная моя
Томится тайною тоскою.
Раз обычайною порою
У вод любимого ручья
Они сидели молчаливо.
Любовник в тихом забытьи
Глядел на светлые струи,
Пред ним бегущие игриво.
Дорогой сорванный цветок
Он как-то бросил в быстрый ток.
Вздохнула дева молодая;
На друга голову склоня:
«Так, — прошептала, — и меня,
Миг полелея, поласкав,
Так на погибель бросишь ты!»
Уста незлобной красоты
Улыбкой милой улыбнулись,
Но скорбь взяла-таки свое:
И на ресницах у нее
Невольно слезы навернулись.
Она косынкою своей
Их отерла и веселей
Глядеть стараяся на друга:
«Прости! Безумная тоска!
Сегодня жизнь моя сладка,
Сегодня я твоя подруга,
И завтра будешь ты со мной,
И день еще, и, статься может,
Я до разлуки роковой
Не доживу, господь поможет!»

Невинной нежностью не раз
Она любовника смущала
И сожаленье в нем подчас
И угрызенье пробуждала;
Но чаще, чаще он скучал
Ее любовию тоскливой

И миг разлуки призывал
Уж как свободы миг счастливый.
Не тщетно!
Буйный швед опять
Не соблюдает договоров:
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья:
Война, война! Грядущий день —
День рокового разлученья.

Нет слез у девы молодой.
Мертва лицом, мертва душой,
На суету походных сборов
Глядит она: всему конец!
На ней встревоженный хитрец
Остановить не смеет взоров.
Сгустилась ночь. В глубокий сон
Все погрузилося. Унылый,
В последний раз идет он к милой.
Ей утешенья шепчет он,
Ее лобзает он напрасно.
Внимает, чувства лишена;
Дает лобзать себя она,
Но безответно, безучастно!
Мечтанья все бежали прочь.
Они томительную ночь
В безмолвной горести проводят.
Уж в путь зовет сиянье дня,
Уже ретивого коня
Младому воину подводят,
Уж он садится. У дверей
Пустынной хижины своей
Она стоит, мутна очами.
Девица бедная, прости!
Уж по далекому пути
Он поскакал. Уж за холмами
Не виден он твоим очам...
Согнув колена, к небесам
Она сперва воздела руки,
За ним простерла их потом

И в прах поверглася лицом
С глухим стенаньем смертной муки.

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под одежды снеговой
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют за скалами.
Во мгле волнистой и седой
Исчезло небо. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей;
В ней Эды прежней нет и тени:
Изнемогает в цвете дней,
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее бледна,
В молчаньи грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна.
Сидит, и бури вой мятежный
Уныло слушает она,
Мечтая: «Нет со мною друга;
Ты мне постыл, печальный свет!
Конца дождусь ли я, иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
Когда, когда на сон глубокий
Мне даст могила свой приют
И на нее сугроб высокий,
Бушуя, ветры нанесут?»

Кладбище есть. Теснятся там
К холмам холмы, кресты к крестам,
Однообразные для взгляда;
Их (меж кустами чуть видна,
Из круглых камней сложена)
Обходит низкая ограда.
Лежит уже давно за ней
Могила девицы моей.

И кто теперь ее отыщет,
Кто с нежной грустью навестит?
Кругом все пусто, все молчит;
Порою только ветер свищет
И можжевельник шевелит.

ЭПИЛОГ

Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И все напрасно! Чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седо-брадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами.
Орел наш грозный возлетел!
Он в нем узнал орла Полтавы!
Все покорилось. Но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец Муз, питомец боя,

Тебе, Давыдов, петь ее.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты.
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строи.
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

ТЕЛЕМА И МАКАР

Подражание Вольтеру

Непостоянна, своевольна,
Ничем Телема не довольна;
Всегда душа ее полна
Младенческого беспокойства;
Любила толстяка она
Совсем иного с нею свойства:
Макар не тужит ни о чем,
Ему покой всего дороже;
С весельем шумным незнаком,
Он незнаком со скукой тоже;
Заснет он ночью крепким сном,
Едва глаза свои зажмурит;
Поутру встанет молодцом,
День целый после балагурит.
В любви причудливой своей
К Макару часто нестерпимой
Была Телема: милым ей
Хотелось быть боготворимой.
Однажды, чем-то оскорбясь,
Увлекшись живостью сердечной,
В упреках горьких излилась
Пред ним она. Макар беспечный
Покинул бедную смеясь.
Без друга скучно и уныло
Тянулись дни. Из края в край
За ним бежать она давай:
Жить без Макара тошно было.

Надежды ветреной полна,
Приходит в Царское она.
Того ли встретит, иль другого:

«Не здесь ли милый мой дружок?
Макара нет ли дорогого?»
Никто без хохота не мог
Услышать имени такого.
— Какой Макар тобой любим?
Как разлучилася ты с ним?
Что он, голубушка, за диво? —
Она в ответ нетерпеливо:
«Нет лучше друга моего;
Он добродушен, доброхотен,
Веселонравен, беззаботен,
Не ненавидит никого,
И сам никем не ненавидим».
— Ступай, ответствовали ей,
Здесь нет его: таких людей
Мы при дворе совсем не видим.

Решилась далее итти
Моя беглянка молодая;
Заходит в лавру по пути,
Макара мирного найти
В сей мирной пристани мечтая.
Игумен ей: «Сказать ли вам?
Его мы долго поджидали;
Но, признаюсь, по пустякам!
Посты, раздор и скуку нам
В замену стены наши дали».
Один неласковый чернец
Сказал вертушке наконец:
«Охота по миру шататься!
Найдется ль, полно, ваш беглец?
На том он свете, может статься!»

Телему сей живой мертвец
Чуть не взбесил таким приветом.
«Его найду я, мой отец,
Не беспокойтеся об этом.
Нет! о Макаре дорогом
Не понапрасну я тоскую:
Одна я жизнь ему дарую;
Не может быть он в мире том,
Когда я в этом существую!»

«Но где же встречу друга я? —
Мечтает странница моя. —
В столице? что же? не чудесно:
Между певцами, верно, он,
Которыми изображен
Он столь искусно и прелестно».
Один из них ей молвил так:
«Вы обманулися никак:
Не появлялся, к сожаленью,
И между нами ваш чудак;
О нем мы пишем кое-как,
По одному воображенью!»

Совет пред нею. На него
Взглянула странница — и мимо:
«Нет, для Макара моего
Такое место нестерпимо!
Там нет его. Не спорю в том:
Прельститься мог бы он двором:
Двор полон чудного угара;
Но за присутственным столом
Ввек не увижу я Макара!»
Надеясь друга повстречать,
Телема стала навещать
Гулянья, зрелища столицы,
Ко всем заглядывала в лицы —
По пустякам! Приглашена
В дома блестящие она,
Где те счастливцы председают,
Которых светским языком
Людьми с утонченным умом,
Людьми со вкусом называют:
Они приветливы лицом,
Речами веселы, свободны
И с милым сердцу беглецом
Ей показались очень сходны.
Но чем с Макаром дорогим
Похожей быть они старались,
Тем от прямого сходства с ним
Они заметней удалялись!

Тоска, печаль ее взяла;
Наскуча бегать попустому
Из места в место, побрела
Она тихохонько до дому.
В давно покинутый приют
Приходит странница — и что же?
Уже Макар с улыбкой тут
Подругу ждал на брачном ложе:
«Со мною в мире и любви, —
Он молвил, — с этих пор живи;
Живи, о лишнем не тоскуя,
И коль расстаться вновь со мной
Не хочешь, нрава тишиной
Себе приязнь мою даруя,
От угожденья моего
Не требуй более того,
Что я даю, что дать могу я».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Зевес, любя семью людскую,
Попарно души сотворил
И наперед одну мужскую
С одною женской согласил.
Хвала всевышней благостыне!
Но в ней нам мало пользы ныне:
Глядите! ныне род людской,
Размножась, облил шар земной.
Куда пойду? мечтаешь с горем,
На хладный север, знойный юг?
За Белым иль за Черным морем
Блуждаешь ты, желанный друг?
Не всё. Задача есть другая.
Шатаясь по свету, порой
Столкнешься с родственной душой
И рад; но вот беда какая:
Душа родная — нос чужой
И посторонний подбородок!..
Враждуют чувства меж собой:
Признаться, способ мировой
Находкой был бы из находок!
Но он потерян между нас,
О нем живет один рассказ.

В земле, о коей справедливо
Нам чудеса вещает старь,
В Египте, жил-был славный царь.
Имел он дочь — творенья диво,
Красот подсолнечных алмаз,
Любовь души, веселье глаз:

Челом белее лилий Нила;
Коралла пышного морей
Устами свежими алей;
Яснее днéвного светила
Улыбкой ясною своей.
В пределах самых отдаленных
Носилася ее хвала
И женихами привела
К ней полк царей иноплеменных.
И Мемфис град заликовал,
В нем пир за пиром восставал.
Светла, прелестна, восседая
В кругу любовников своих,
Моя царевна молодая
Совсем с ума сводила их.
И все бы ладно шло; но что же?
Всегда веселая, она
Вдруг стала пасмýрна, грустна,
Так что на дело не похоже.
К своим высоким женихам
Вниманье вовсе прекратила
И, кроме колких эпиграмм,
Им ничего не говорила.

Какая же была вина,
Что изменилась так она?
Любовь. Случайною судьбою
Державный пир ее отца
Украсить лирною игрою
Призвали юного певца:
Не восхвалял он Озирида,
Не славил Аписа-быка,
Любовь он пел, о Зораида!
И песнь его была сладка,
Как вод согласное журчанье,
Как нежных горлиц воркованье,
Как томный ропот ветерка,
Когда, в полудень воспаленный,
Лобзает он исподтишка
Цветок, роскошно усыпленный.
Свершился вышний приговор.
Свершился! никакою силой

Неотразимый, с этих пор
Пред ней носился образ милый;
С тех пор в душе ее звучал,
Звучал всечасно голос нежный,
Ее питал, упоевал
Тоскою сладкой и мятежной!
«Как глупы эти дикари,
Разноплеменные цари!
И как прелестен он!» вздыхая,
Мечтала дева молодая.

Но между тем летели дни;
Решенья гости ожидали,
Решенья не было. Они
Уже сердиться начинали.
Сам царь досадою вскипел;
Он не охотник был до шуток
И жениха, чрез трое суток,
Избрать царевне повелел.

Была как громом речью гневной
Младая дочь поражена.
На что ж, в судьбе своей плачевной,
Решилась, бедная, она!
Рыдала долго Зораида,
Взрывала сердце ей обида,
Взрывала сердце ей печаль;
Вдруг мысль в уме ее родилась:
Лицом царевна прояснилась
И шепчет: «Ах, едва ль, едва ль...
Но что мы знаем? статься может,
Он в самом деле мне поможет».

Вам рассказать я позабыл,
Что в эту пору, мой читатель,
Столетний маг в Мемфисе был,
Изиды вещий толкователь.
Он, если не лгала молва,
Проник все тайны естества.
На то и жил почтенный дядя;
Отвергнув мира суету,

Не пил, не ел, не спал он, глядя
В глаза священному коту.
И в нем-то было упованье;
К нему-то, милые друзья,
Решилася на совещанье
Итти красавица моя.

Едва редеет мгла ночная,
И, пробуждаться начиная,
Едва румянится восток;
Еще великий Мемфис дремлет
И утро нехотя приемлет,
А уж покинув свой чертог,
В простой и чуждой ей одежде,
Но страха тайного полна,
Доверясь ветреной надежде,
Выходит за город она.
Перед очами Зораиды
Пустыня та, где пирамиды
За пирамидами встают
И (величавые гробницы)
Гигантским кладбищем ведут
К стопам огромной их царицы.
Себе чудак устроил тут
Философический приют.
Блуждает дева молодая
Среди столицы гробовой:
И вот приметен кров жилой,
Над коим пальма вековая
Стоит, роскошно помавая
Широколиственной главой.
Царевна видит пред собой
Обитель старца. Для чего же
Остановилася она,
Внезапно взором смущена
И чутким ухом настороже?
Что дланью трепетной своей
Объемлет сердце? что так пышет
Ее лицо? и грудь у ней,
Что так неровно, сильно дышит?
Приносит песнь издалека
Ей дуновенье ветерка.

ПЕСНЯ

Зачем от раннего рассвета
До поздней ночи я пою,
Безумной птицей, о Ниэта!
Красу жестокую твою?

Чужда, чужда ты сожаленья:
Звезда взойдет, звезда зайдет;
Сурова ты, а мне забвенья
Бессильный лотос не дает.

Люблю, любя в могилу сниду;
Несокрушима цепь моя:
Я видел диво-Зораиду,
И не забыл Ниэты я.

Чей это голос? Вседержитель!
Она ль его не узнает!
Певец, души ее пленитель,
Другую пламенно поет!
И вот что боги ей судили!
Уж ей колена изменили,
Уж меркнет свет в ее очах,
Без чувств упала бы во прах,
Но нашей деве в то мгновенье
Предстало чудное виденье.
Глядит: в одежде шутовской
Бредет к ней старец гробовой.
Паяс торжественный и дикой,
Белобородый, желтоликой,
В какой-то острой шапке он;
Пестреет множеством каракул
На нем широкий балахон:
То был почтенный наш Оракул.
К царевне трепетной моей
Подходит он; на темя ей
Приветно руку налагает,
Глядит с улыбкою в лицо
И ободрительно вещает:

«Прими чудесное кольцо:
Ты им, о дева! уничтожишь
Хитросплетенный узел твой;
Кому на перст его возложишь,
С тем поменяешься звездой.
Иди, и мудрость Озирида
Наставит свыше мысль твою.
Я даром сим, о Зораида,
Тебе за веру воздаю».

Возвращена в свои чертоги,
Душою полная тревоги,
Царевна думает: «Во сне
Все это чудилося мне?
Но нет, не сновиденье это!
Кольцо на палец мой надето
Почтенным старцем: вот оно.
Какую ж пользу в нем найду я?
Он говорил, его даруя,
Так бестолково, так темно».
Опять царевна унывает,
Недоумения полна;
Но вот невольниц призывает
И отыскать повелевает
Свою соперницу она.

По повелению другому,
Как будто к празднику большому
Ее чертоги убраны;
Везде легли ковры богаты
И дорогие ароматы
Во всех кадилах возжены,
Все водометы пущены;
Блистают редкими цветами
Ряды узорчатых кошниц,
И полон воздух голосами
Дальноземельных, чудных птиц;
Все негой сладостною дышит,
Все дивной роскошию пышет.
На троне, радостным венцом,
Порфирой светлою блистая,
Сидит царевна молодая,

Окружена своим двором.
Вотще прилежно наблюдает
Ее глаза смущенный двор
И угадать по ним желает,
Что знаменует сей позор:
Она в безмолвии глубоком,
Как сном объятая, сидит
И неподвижным, мутным оком
На двери дальние глядит.
Придворные безмолвны тоже.
Дверь отворилась: «Вот она!»
Лицом бледнее полотна,
Царевна вскрикнула. Кого же
Узрела, скорбная душой,
В толпе невольниц пред собой?
Кого? — пастушку молодую,
Собой довольно недурную,
Но очень смуглую лицом,
Глазами бойкую и злую,
С нахмуренным, упрямым лбом.
Царевна смотрит и мечтает:
«Она ли мне предпочтена!»
Но вот придворных высылает
И остается с ней одна.

Царевна первого привета
Искала долго, наконец
Печально молвила: «Ниэта!
Ты видишь: пышен мой дворец,
В жемчуг и злато я одета,
На мне порфира и венец;
Я красотою диво света,
Очарование сердец!
Я всею славою земною
Наделена моей звездою:
Чего желать могла бы я?
И что ж, Ниэта, в скорби чудной
Милее мне твой жребий скудный,
Милее мне звезда твоя.
Ниэта, хочешь ли, с тобою
Я поменяюся звездою?»

Мудрен царевнин был привет,
Но не застенчива природно:
«Как вашей милости угодно»,
Ниэта молвила в ответ.
Тогда на палец ей надела
Царевна дивное кольцо:
Закрыть смущенное лицо
Руками бедная хотела;
Но что же? в миг волшебный сей
Моя царевна оживилась
Душой Ниэтиной; а в ней
Душа царевны очутилась.
И быстрым чудом бытие
Переменив, лицо свое
Закрыла дурочка степная,
Царевна же, наоборот,
Спустила руки на живот,
Рот удивленный разевая.
Где Зораида, где она?
Осталась тень ее одна.
Когда ж лицо свое явила
Ниэта, руки опустя
(О как обеих их шутя
Одна минута изменила!),
Блистало дивной красотой
Лицо пастушки молодой:
Во взорах чувство выражалось,
Горела нежная мечта,
Для слова милого, казалось,
Сейчас откроются уста,
Ниэта та же, да не та.
Так из-за туч луна выходит,
Вдруг озаряя небеса:
Так зелень свежую наводит
На рощи пыльные роса.

С главой поникшею Ниэта,
С невольным пламенем лица
Тихонько вышла из дворца,
И о судьбе ее до света
Не доходил уж слух потом.
Так что ж? о счастии прямом

Проведать людям неудобно;
Мы знаем, свойственно ему
Любить хранительную тьму,
И, драгоценное, подобно
В том драгоценному всему.
Где искрометные рубины,
Где перлы светлые нашли?
В глубоких пропастях земли,
На темном дне морской пучины.

А что с царевною моей?
Она с плотнейшим из князей
Великолепно обвенчалась.
Он с нею ладно жил, хотя
В иное время не шутя
Его супруга завиралась,
И даже под сердитый час
Она, возвыся бойкий глас,
Совсем ругательски ругалась.
Он не роптал на то ничуть,
Любил житье-бытье простое,
И сам, где надо, завернуть
Не забывал словцо лихое.
По-своему до поздних дней
Душою в душу жил он с ней.

Что я прибавлю, друг мой нежный!
Жизнь непогодою мятежной,
Ты знаешь, встретила меня;
За бедством бедство подымалось;
Век над главой моей, казалось,
Не взыдет радостного дня.
Порой смирял я песнопеньем
Порыв болезненных страстей;
Но мне тяжелым вдохновеньем
Была печаль души моей.
Явилась ты, мой друг бесценный,
И прояснилась жизнь моя:
Веселой Музой вдохновенный,
Веселый вздор болтаю я.

Прими мой труд непринужденный!
Счастливым светом озаренный
Души, свободной от забот,
Он — твой достаток справедливый:
Он первый плод мечты игривой,
Он новой жизни первый плод.

БАЛ

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребренные луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
В роскошных перьях и цветах,
С улыбкой мертвой на устах,
Обыкновенной рамой бала,
Старушки светские сидят
И на блестящий вихорь зала
С тупым вниманием глядят.

Кружатся дамы молодые,
Не чувствуют себя самих;
Драгими камнями у них
Горят уборы головные;
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд:
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.

В движеньи всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,

Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно острится,
И оба правы: говорят,
Что в то же время можно дамам,
Меняя слева взгляд на взгляд,
Смеяться справа эпиграммам.
Меж тем и в лентах и в звездах,
Порою с картами в руках,
Выходят важные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Но гости глухо зашумели,
Вся зала шопотом полна:
«Домой уехала она!
Вдруг стало дурно ей». — Ужели?
— В кадрили весело вертясь,
Вдруг помертвела! — Что причиной?
Ах, боже мой! Скажите, князь,
Скажите, что с княгиней Ниной,
Женою вашею? — Бог весть,
Мигрень, конечно!.. В сюрах шесть.
— Что с ней, кузина? танцовали
Вы в ближней паре, видел я?
— В кругу пристойном не всегда ли
Она как будто не своя?

Злословье правду говорило.
В Москве меж умниц и меж дур
Моей княгине чересчур
Слыть Пенелопой трудно было.
Презренья к мнению полна,
Над добродетелию женской
Не насмехается ль она,
Как над ужимкой деревенской?
Кого в свой дом она манит:
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен ли слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

Но как влекла к себе всесильно
Ее живая красота!
Чьи непорочные уста
Так улыбалися умильно!
Какая бы Людмила ей,
Смирясь, лучей благочестивых
Своих лазоревых очей
И свежести ланит стыдливых
Не отдала бы сей же час
За яркий глянец черных глаз,
Облитых влагой сладострастной,
За пламя жаркое ланит?
Какая фее самовластной
Не уступила б из харит?

Как в близких сердца разговорах
Была пленительна она!
Как угодительно-нежна!
Какая ласковость во взорах
У ней сияла! Но порой,
Ревнивым гневом пламенея,
Как зла в словах, страшна собой,
Являлась новая Медея!
Какие слезы из очей
Потом катилися у ней!
Терзая душу, проливали
В нее томленье слезы те:
Кто б не отер их у печали,
Кто б не оставил красоте?

Страшись прелестницы опасной,
Не подходи: обведена
Волшебным очерком она;
Кругом ее заразы страстной
Исполнен воздух! Жалок тот,
Кто в сладкий чад его вступает:
Ладью пловца водоворот
Так на погибель увлекает!
Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Одуревающей приманки;

Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар — не жар любви.

Так, не сочувствия прямого
Могуществом увлечена,
На грудь роскошную она
Звала счастливца молодого:
Он пересоздан был на миг
Ее живым воображеньем;
Ей своенравный зрелся лик,
Она ласкала с упоеньем
Одно видение свое.
И гасла вдруг мечта ее:
Она вдалась в обман досадный,
Ее прельститель ей смешон,
И средь толпы Лаисе хладной
Уж не приметен будет он.

В часы томительные ночи,
Утех естественных чужда,
Так чародейка иногда
Себе волшебством тешит очи:
Над ней слились из облаков
Великолепные чертоги;
Она на троне из цветов,
Ей угождают полубоги.
На миг один восхищена
Живым видением она;
Но в ум приходит с изумленьем,
Смеется сердца забытью
И с тьмой сливает мановеньем
Мечту блестящую свою.

Чей образ кисть нарисовала?
Увы! те дни уж далеко,
Когда княгиня так легко
Воспламенялась, остывала!
Когда, питомице прямой
И Эпикура и Нинoны,
Летучей прихоти одной
Ей были ведомы законы!

Посланник рока ей предстал:
Смущенный взор очаровал,
Поработил воображенье,
Слиял все мысли в мысль одну
И пролил страстное мученье
В глухую сердца глубину.

Красой изнеженной Арсений
Не привлекал к себе очей:
Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений
Носил он на челе; в очах
Беспечность мрачная дышала,
И не улыбка на устах,
Усмешка праздная блуждала.
Он не задолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Предстал он в дом моей Лаисы,
И остряков задорный полк
Не знаю как пред ним умолк —
Главой поникли Адонисы.
Он в разговоре поражал
Людей и света знаньем редким,
Глубоко в сердце проникал
Лукавой шуткой, словом едким,
Судил разборчиво певца,
Знал цену кисти и резца,
И сколько ни был хладно-сжатым
Привычный склад его речей,
Казался чувствами богатым
Он в глубине души своей.

Неодолимо, как судьбина,
Не знаю что, в игре лица,
В движеньи каждом пришлеца,
К нему влекло тебя, о Нина!

С него ты не сводила глаз...
Он был учтив, но хладен с нею,
Ее смущал он много раз
Улыбкой опытной своею;
Но, жрица давняя любви,
Она ль не знала, как в крови
Родить мятежное волненье,
Как в чувства дикий жар вдохнуть...
И всемогущее мгновенье
Его повергло к ней на грудь.

Мои любовники дышали
Согласным счастьем два-три дни;
Чрез день, другой потом они
Несходство в чувствах показали.
Забвенья страстного полна,
Полна блаженства жизни новой,
Свободно, радостно она
К нему ласкалась; но суровый,
Унылый часто зрелся он:
Пред ним летал мятежный сон;
Всегда рассеянный, судьбину,
Казалось, в чем-то он винил,
И, прижимая к сердцу Нину,
От Нины сердце он таил.

Неблагодарный! Им у Нины
Все мысли были заняты:
Его любимые цветы,
Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали новые уборы
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне убран кабинет,
Где сладострастный полусвет,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар —
Животворило всё желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Вотще! Он предан был печали.
Однажды (до того дошло)
У Нины вспыхнуло чело
И очи ярко заблистали.
Страстей противных беглый спор
Лицо явило. «Что с тобою», —
Она сказала, — что твой взор
Все полон мрачною тоскою?
Досаду давнюю мою
Я боле в сердце не таю:
Печаль с тобою неразлучна;
Стыжусь, но ясно вижу я:
Тебе тяжка, тебе докучна
Любовь безумная моя!

Скажи, за что твое презренье?
Скажи, в сердечной глубине
Ты нечувствителен ко мне
Иль недоверчив? Подозренье
Я заслужила. Старины
Мне тяжело воспоминанье:
Тогда всечасной новизны
Алкало у меня мечтанье;
Один кумир на долгий срок
Поработить его не мог;
Любовь сегодняшняя трудно
Жила до завтрашнего дня:
Мне вверить сердце безрассудно;
Ты прав, но выслушай меня.

Беги со мной: земля велика!
Чужбина скроет нас легко,
И там безвестно, далеко,
Ты будешь полный мой владыка.
Ты мне Италию порой
Хвалил с блестящим увлеченьем;
Страну, любимую тобой,
Узнала я воображеньем:
Там солнце пышно, там луна
Восходит, сладости полна;
Там вьются лозы винограда,

Шумят лавровые леса:
Туда, туда! с тобой я рада
Забыть родные небеса.

Беги со мной! Ты безответен!
Ответствуй, жребий мой реши.
Иль нет! зачем? Твоей души
Упорный холод мне приметен:
Молчи же! не нуждаюсь я
В словах обманчивых — довольно!
Любовь несчастная моя
Мне свыше казнь... но больно, больно!..»
И зарыдала. Возмущен
Ее тоской: «Безумный сон
Тебя увлек, — сказал Арсений, —
Невольный мрак души моей —
След прежних жалких заблуждений
И прежних гибельных страстей.

Его со временем рассеет
Твоя волшебная любовь:
Нет, не тревожься, если вновь
Тобой сомненье овладеет!
Моей печали не вини».
День после, мирною четою,
Сидели на софе они.
Княгиня томною рукою
Обняла друга своего
И прилегла к плечу его.
На ближний столик, в думе скрытной
Облокотясь, Арсений наш
Меж тем по карточке визитной
Водил небрежный карандаш.

Давно был вечер. С легким треском
Горели свечи на столе,
Кумиров мрамор в дальней мгле
Кой-где блистал неверным блеском.
Молчал Арсений, Нина тож.
Вдруг, тайным чувством увлеченный,
Он восклицает: «Как похож!»
Проснулась Нина: «Друг бесценный,

Похож! Ужели? мой портрет!
Взглянуть позволь... Что ж это? Нет!
Не мой: жеманная девчонка
Со сладкой глупостью в глазах,
В кудрях мохнатых, как болонка,
С улыбкой сонной на устах!

Скажу, красавица такая
Меня затмила бы совсем...»
Лицо княгини между тем
Покрыла бледность гробовая.
Ее дыханье отошло,
Уста застыли, посинели;
Увлажил хладный пот чело,
Непомертвелые блестели
Глаза одни. Вещать хотел
Язык мятежный, но коснел:
Слова сливались в лепетанье.
Мгновенье долгое прошло,
И, наконец, ее страданье
Свободный голос обрело:

«Арсений, видишь, я мертвею;
Арсений, дашь ли мне ответ!
Знаком ты с ревностию?.. Нет!
Так ведай, я знакома с нею,
Я к ней способна! В старину,
Меж многих редкостей Востока,
Себе я выбрала одну...
Вот перстень... с ним я выше рока!
Арсений! мне в защиту дан
Могучий этот талисман;
Знай, никакое злоключенье
Меня при нем не устрашит.
В глазах твоих недоуменье,
Дивишься ты! Он яд таит».

У Нины руку взял Арсений:
«Спокойна совесть у меня, —
Сказал, — но дожил я до дня
Тяжелых сердцу откровений.
Внимай же мне. С чего начну?

Не предавайся гневу, Нина!
Другой дышал я в старину,
Хотела то сама судьбина.
Росли мы вместе. Как мила
Малютка Оленька была!
Ее мгновеньями иными
Еще я вижу пред собой
С очами темноголубыми,
С темнокудрявой головой.

Я называл ее сестрою,
С ней игры детства я делил;
Но год за годом уходил
Обыкновенной чередою.
Исчезло детство. Притекли
Дни непонятного волненья,
И друг на друга возвели
Мы взоры, полные томленья.
Обманчив разговор очей.
И руку Оленьки моей
Сжимая робкою рукою,
«Скажи, — шептал я иногда, —
Скажи, любим ли я тобою?»
И слышал сладостное *да.*

В счастливый дом, себе на горе,
Тогда я друга ввел. Лицом
Он был приятен, жив умом;
Обворожил он Ольгу вскоре.
Всегда встречались взоры их,
Всегда велся меж ними шопот.
Я мук язвительных моих
Не снес: излил ревнивый ропот.
Какой же ждал меня успех?
Мне был ответом детский смех!
Ее покинул я с презреньем,
Всю боль души в душе тая.
Сказал прости всему; но мщеньем
Сопернику поклялся я.

Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему,
И по желанью моему

Вскипела ссора между нами:
Стрелялись мы. В крови упав,
Навек я думал мир оставить;
С одра восстал я телом здрав,
Но сердцем болен. Что прибавить?
Бежал я в дальние края:
Увы! под чуждым небом я
Томился тою же тоскою.
Родимый край узрев опять,
Я только с милою тобою
Душою начал оживать».

Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела;
Но от руки его потом
Освободив тихонько руку,
Вдруг содрогнулася лицом,
И все в нем выразило муку.
И обессилена, томна,
Главой поникнула она.
«Что, что с тобою, друг бесценный?»
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» — «Ничего».

Еще на крыльях торопливых
Промчалось несколько недель
В размолвках бурных, как досель,
И в примиреньях несчастливых.
Но что же, что же напослед?
Сегодня друга нет у Нины,
И завтра, послезавтра нет!
Напрасно, полная кручины,
Она с дверей не сводит глаз
И мнит: он будет через час.
Он позабыл о Нине страстной;
Он не вошел, вошел слуга,
Письмо ей подал... миг ужасный!
Сомненья нет: его рука!

«Что медлить, — к ней писал Арсений, —
Открыться должно... Небо! в чем?
Едва владею я пером,
Ищу напрасно выражений.
О Нина! Ольгу встретил я;
Она поныне дышит мною,
И ревность прежняя моя
Была неправой и смешною.
Удел решен. По старине,
Я верен Ольге, верной мне.
Прости! твое воспоминанье
Я сохраню до поздних дней:
В нем понесу я наказанье
Ошибок юности моей».

Для своего и для чужова
Незрима Нина: всем одно
Твердит швейцар ее давно:
Не принимает, нездорова!
Ей нужды нет ни в ком, ни в чем;
Питье и пищу забывая,
В покое дальнем и глухом
Она недвижная, немая
Сидит и с места одного
Не сводит взора своего.
Глубокой муки сон печальный!
Но двери пашут растворясь:
Муж не весьма сентиментальный,
Сморкаясь громко, входит князь.

И вот садится. В размышленье
Сначала молча погружен,
Ногой потряхивает он;
И наконец: «С тобой мученье!
Без всякой грусти ты грустишь;
Как погляжу, совсем больна ты:
Ей-ей! с трудом вообразишь,
Как вы причудами богаты!
Опомниться тебе пора.
Сегодня бал у князь-Петра;
Забудь фантазии пустые
И от людей не отставай:

Там будут наши молодые,
Арсений с Ольгой. Поезжай.

Ну что, поедешь ли?» — «Поеду»,
Сказала, странно оживясь,
Княгиня. «Дело, — молвил князь, —
Прощай, спешу я в клоб к обеду».
Что, Нина бедная, с тобой?
Какое чувство овладело
Твоей болезненной душой?
Что оживить ее умело,
Ужель надежда? Торопясь
Часы летят; уехал князь;
Пора готовиться княгине.
Нарядами окружена,
Давно не бывшими в помине,
Перед трюмо стоит она.

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облег
И меж обильными косами
Рукой искусной пропущон,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!
В стекле живом и беспристрастном

Княгиня бедная моя
Глядяся, мнит: «И это я!
Но пусть на страшное виденье
Он взор смущенный возведет:
Пускай узрит свое творенье
И всю вину свою поймет».

Другое тяжкое мечтанье
Потом волнует душу ей:
«Ужель сопернице моей
Отдамся я на поруганье!
Ужель спокойно я снесу,
Как, торжествуя надо мною,
Свою цветущую красу
С моей увядшею красою
Сравнит насмешливо она!
Надежда есть еще одна:
Следы печали я сокрою
Хоть вполовину, хоть на час...»
И Нина трепетной рукою
Лицо румянит в первый раз.

Она явилася на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В яркоблестящей, пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И словом, этот вихрь утех,
Больным душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел на Нину кто-нибудь?
Иль лишним счастием блистало
Лицо у Ольги молодой?
Чтоб ни было, ей дурно стало,
Она уехала домой.

Глухая ночь. У Нины в спальной,
Лениво споря с темнотой,
Перед иконой золотой
Лампада точит свет печальный,
То пропадет во мраке он,

То заиграет на окладе;
Кругом глубокий, мертвый сон!
Меж тем в блистательном наряде,
В богатых перьях, жемчугах,
С румянцем странным на щеках,
Ты ль это, Нина, мною зрима?
В переливающейся мгле,
Зачем сидишь ты недвижима,
С недвижной думой на челе?

Дверь заскрипела: слышит ухо
Походку чью-то на полу;
Перед иконою, в углу,
Стал и закашлял кто-то глухо.
Сухая, дряхлая рука
Из тьмы к лампаде потянулась;
Светильню тронула слегка,
Светильня сонная очнулась,
И свет нежданный и живой
Вдруг озаряет весь покой:
Княгини мамушка седая
Перед иконою стоит,
И вот уж, набожно вздыхая,
Земной поклон она творит.

Вот поднялась, перекрестилась;
Вот поплелась было домой:
Вдруг видит Нину пред собой,
На полпути остановилась.
Глядит печально на нее,
Качает старой головою:
«Ты ль это, дитятко мое,
Такою позднею порою?..
И не смыкаешь очи сном,
Горюя, бог знает, о чем!
Вот так-то ты свой век проводишь,
Хоть от ума, да не умно:
Ну, право, ты себя уходишь,
А ведь грешно, куда грешно!

И что в судьбе твоей худого?
Как погляжу я, полон дом
Не перечесть каким добром;
Ты роду-звания большого;
Твой князь приятного лица,
Душа в нем кроткая такая:
Всечасно вышнего творца
Благословляла бы другая!
Ты позабыла бога... да,
Не ходишь в церковь никогда:
Поверь, кто господа оставит,
Того оставит и господь;
А он-то духом нашим правит,
Он охраняет нашу плоть!

Не осердись, моя родная;
Ты знаешь, мало ли о чем
Мелю я старым языком:
Прости, дай ручку мне». Вздыхая,
К руке княгининой она
Устами ветхими прильнула:
Рука ледяно-холодна.
В лицо ей с трепетом взглянула:
На нем поспешный смерти ход;
Глаза стоят и в пене рот...
Судьбина Нины совершилась,
Нет Нины! ну так что же? нет!
Как видно, ядом отравилась,
Сдержала страшный свой обет!

Уже билеты роковые,
Билеты с черною каймой,
На коих бренности людской
Трофеи, модой принятые,
Печально поражают взгляд;
Где сухощавые Сатурны
С косами грозными сидят,
Склонясь на траурные урны;
Где кости мертвые крестом
Лежат разительным гербом

Под гробовыми головами, —
О смерти Нины должну весть
Узаконенными словами
Спешат по городу разнесть.

В урочный день, на вынос тела,
Со всех концов Москвы большой
Одна карета за другой
К хоромам князя полетела.
Обсев гостиную кругом,
Сначала важное молчанье
Толпа хранила; но потом
Возникло томное жужжанье:
Оно росло, росло, росло
И в шумный говор перешло.
Объятый счастливым забвеньем,
Сам князь за дело принялся
И жарким богословским преньем
С ханжой каким-то занялся.

Богатый гроб несчастной Нины
Священством пышным окружен,
Был в землю мирно опущен;
Свет не узнал ее судьбины.
Князь, без особого труда,
Свой жребий вышней воле предал.
Поэт, который завсегда
По четвергам у них обедал,
Никак с желудочной тоски
Скропал на смерть ее стишки.
Обильна слухами столица;
Молва какая-то была,
Что их законная страница
В журнале дамском приняла.

ЦЫГАНКА

ГЛАВА I

— Прощай, Елецкой: ты не весел,
И рассветает уж давно;
Пошло мне впрок твое вино:
Ух! я встаю насилу с кресел!
Не правда ль, братцы, по домам!
— Нет! пусть попляшет прежде нам
Его цыганка. Ангел-Сара,
Ну что? потешить нас нельзя ль?
Ступай, я сяду за рояль.
— Могу сказать, вас будет пара:
Ты охмелен, и в сон она
Уже давно погружена.
Прощайте, господа!..
Гуляки
Встают, шатаясь на ногах;
Берут на стульях, на столах
Свои разбросанные фраки,
Свои мундиры, сюртуки;
Но, доброй воле вопреки,
Не споры сборы. Шляпу на лоб
Надвинув, держит пред собой
Стакан недопитый иной
И рассуждает: «Надлежало б...»
Умом и телом недвижим,
Он долго простоит над ним.
Другой пред зеркалом на шею
Свой галстук вяжет, но рука
Его тяжка и неловка:

Все как-то врозь идут под нею
Концы проклятого платка.
К свече приставя трубку задом,
Ждет третий пасмурный чудак,
Когда закурится табак.
Лихие шутки сыплют градом. —
Но полно: вон валит кабак.
«Прощай, Елецкой, до свиданья!»
— Прощайте, братцы, добрый путь!
И, сокращая провожанья,
Дверь поспешает он замкнуть.

Один оставшися, Елецкой
Брюзгливым оком обозрел
Покой, где праздник молодецкой
Порой недавнею гремел.
Он чувство возбуждал двойное:
Великолепье отжилое,
Штоф полинялый на стенах;
Меж окон зеркала большие,
Но все и в пятнах и в лучах;
В пыли завесы дорогие,
Давно нечищенный паркет;
К тому же буйного разгулья
Всегдашний, безобразный след:
Тут опрокинутые стулья,
Везде табачная зола,
Стаканы середи стола
С остатками задорной влаги;
Тарелки жирные кругом;
И вот, на выпуске печном,
Строй догоревших до бумаги
И в блеске утренних лучей
Уже бледнеющих свечей.

Открыв рассеянной рукою
Окно, Елецкой взор тупой,
Взор, отуманенный мечтой,
Уставил прямо пред собою.
Пред ним, светло озарена
Наставшим утром, ото сна
Москва торжественно вставала.

Под раннею лазурной мглой
Блестящей влагой блеск дневной
Река местами отражала;
Аркада длинного моста
Белела ярко. Чуден, пышен,
Московских зданий красота,
Над всеми зданьями возвышен,
Огнем востока Кремль алел.
Зажгли лучи его живые
Соборов главы золотые;
Меж ними царственно горел
Иван Великий. Сад красивый,
Кругом твердыни горделивой
Вияся, живо зеленел.
Но он на пышную столицу
Глядел с душевною враждой.
За что? О том в главе другой
Найдут особую страницу.
Он был воскормлен сей Москвой.
Минувших дней воспоминанья
И дней грядущих упованья —
Всё заключал он в ней одной;
Но странной доли нес он бремя,
И был ей чуждым в то же время,
И чуждым больше, чем другой.

ГЛАВА II

Отца и матери Елецкой
Лишился в годы те, когда
Обыкновенно жизни светской
Нам наступает череда.
И свет узнал он, и сначала
Являлся в вечер на три бала;
С визитной карточкой порой
Летел на выезд городской.
Согласно с общим заведеньем,
Он в праздник Пасхи, в Новый год,
К дядям и теткам с поздравленьем
Скакал с прихода на приход.

Живее жизнью насладиться
Алкал безумец молодой
И начал с первых дней томиться
Пределов светских теснотой.
Ему в гостиных стало душно:
То было глупо, это скучно.
Из них Елецкой мой исчез,
И на желанном им просторе
Житьем он новым зажил вскоре
Между буянов и повес.
Развратных, своевольных правил
Несчастный кодекс он составил;
Всегда ссылалось на него
Его блажное болтовство.
Им проповедуемых мнений,
Иль половины их большой,
Наверно чужд он был душой,
Причастной лучших вдохновений;
Но, мысли буйством увлечен,
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,
Края чужие посетил;
Там промотался, проигрался
И в путь обратный поспешил.
Своим пенатам возвращенный,
Всему решительным венцом,
Цыганку взял к себе он в дом,
И, общим мненьем пораженный,
Сам рушил он, над ним смеясь,
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.
Неделя Светлая была
И под Новинское звала
Граждан московских. Все бежало,
Все торопилось: стар и млад,
Жильцы лачуг, жильцы палат,
Живою, смешанной толпою,
Туда, где, словно сам собою,
На краткий срок, в единый миг,
Блистая пестрыми дворцами,
Шумя цветными флюгерами,
Средь града новый град возник —
Столица легкая безделья
И бесчиновного веселья,
Досуга русского кумир!
Там целый день разгульный пир;
Там раздаются звуки трубны,
Звенят, гремят литавры, бубны;
Паясы с зыбких галлерей
Зовут, манят к себе гостей.
Там клепер знает чёт и нéчет;
Ножи проворные венцом
Кругом себя индеец мечет
И бисер нижет языком.
Гордясь лихими седоками,
Там одноколки, застучав,
С потешных гор летят стремглав.
Своими длинными шестами
Качели крашеные там
Людей уносят к небесам.
Волшебный праздник довершая,

Меж тем с веселым торжеством
Карет блестящих цепь тройная
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,
Ежеминутно осажденных
Нетерпеливою толпой,
Давно бродил Елецкой мой.
Окинув взорами собранье,
В одном остановил вниманье
Он на девице молодой.
Своими чистыми очами,
Своими детскими устами,
Своей спокойной красотой,
Одушевленной выраженьем
Сей драгоценной тишины,
Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны.
Давно он знал ее заочно.
С его глазами ненарочно
Глазами встретилась она;
Их выраженьем смущена,
Покрылась краскою живою
И отвела тихонько взор.
Охвачен бедственной межою,
Не зрел Елецкой с давних пор
Румянца этого святого.
Упадший дух подъемля в нем,
Он был для путника ночного
Денницы розовым лучом.
Он к милой думой умиленной
Летит. Меж тем она встает;
Девице руку подает
Ее сосед, старик почтенный;
Из балагана идут вон —
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,
Он жаждет имя дорогое!
И незнакомка названа.
Гражданка сферы той она,
Того злопамятного света,

(39)

~~Ты ль это, Нина, мною зрима?~~

~~Въ переливающейся мглѣ~~

~~Зачѣмъ сидишь ты недвижима~~

~~Съ недвижной думой на~~ челѣ?

Дверь заскрипѣла: слышитъ ухо

Походку чью-то на полу;

Передъ иконою, въ углу,

Сталъ и закашлялъ кто-то глухо.

сухая

~~[illegible]~~ дряхлая рука

Изъ тьмы къ лампадѣ потянулась;

Свѣтильню тронула слегка,

Свѣтильня сонная очнулась

И свѣтъ нежданный и живой

Вдругъ озаряетъ весь покой:

Княгини мамушка сѣдая

Передъ иконою стоитъ,

Авторская правка Боратынского
на экземпляре первого издания поэмы «Бал».

С кем в опрометчивые лета,
В избытке гордом юных сил,
Сам в бой неровный он вступил.
Смягчит ли идол оскорбленный
Он жертвой позднею своей?
Против него предубежденной,
Предстать осмелится ли ей?
И всех преград он сам виною!
Меж тем в борьбе его с молвою
Прошло, промчалось много дней.
Елецкой мыслил промежутком;
Полней других созрел рассудком
Он в самом опыте страстей,
И, наконец, среди пороков,
Кипевших роем вкруг него,
И ядовитых их уроков,
И омраченья своего
В душе сберег он чувства пламя.
Елецкой битву проиграл,
Но побежденный, спас он знамя
И пред самим собой не пал.

ГЛАВА III

Незамечаем и неведом,
За милою бродил он следом;
В тени задумчивых дубров
Прекрасных Пресненских прудов,
В аллеях стриженых бульвара,
Между красавиц городских,
Искал он девы дум своих.
Не для блистательного дара
Актеров наших посещал
Он душный театральный зал:
Елецкой, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера молодая
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней.
Вкусив неполное свиданье,
Елецкой приходил домой,
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежея,
Июльский день. Бульвар Тверской
Дремал под нисходящей мглой;
Пустела длинная аллея;
Царица тишины и сна,
Высоко поднялась луна.
Но со знакомыми своими
Еще, в болтливом забытье,
Сидела Вера на скамье.
В соседстве, не замечен ими,
За липой темной и густой,
Стоял влюбленный наш герой.

Перчатку Вера уронила.
Поспешно поднял он ее
И подал ей. Лицо свое
К нему с испугом обратила
Младая дева. Разговор
Прервав, на нем остановила
Встревоженный, но долгий взор.
Судьбу, душой своей довольной,
Он и за то благодарил.
Елецкой Веру поразил
Своей услугой своевольной,
И хоть на час, ее мечта
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных, бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Покрылось небо облаками;
Дождь бесконечный ливмя лил;
И вот мороз его сменил.
Застыли воды, снег клоками
На мостовую повалил:
Пришла зима. Свистя, крутится
Метель на Пресненских прудах,
На обнаженных деревах
Бульвара иней серебрится.
Там, где недавнею порой
Гуляли грации толпой,
Какой-нибудь жандарм усатый,
Шагая, шпорами стучит;
С метлой стоит мужик брадатый,
Иль школьник с сумкою бежит.
Для балов, вечеров при этом
Театр оставлен модным светом.
Елецкой мрачен и сердит...

Но вот в известном маскараде
Должна быть Вера. Ожил он
И в полнадежде, в полдосаде
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;
Кадрили вьются ей под лад,
Кипит, пестреет маскарад.
В его затею не вступает
И кстати большинство гостей:
В тени их он еще видней.
Призраки всех веков и наций,
Гуляют феи, визири,
Полишинели, дикари,
Их мучит бес мистификаций;
Но не выходит хитрых фраз:
«Я знаю вас! я знаю вас!» —
Ни у кого для продолженья
Недостает воображенья.
Признаться надобно: не нам,
Сугробов северных сынам,
Приноровляться к детям Юга!
Метелей дух не создал нас
Для их блистательных проказ.
К чему неловкая натуга?
Мы сохраняем холод свой
В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит
И Веру чуть с ума не сводит.
Успел разведать он о ней
Довольно этих мелочей,
В которых тайны роковые
Девицы видят молодые.
В словах запутанных своих
Он намекает ей о них;
И удивленья, и смущенья
Полна, горит она лицом
И вот выходит из терпенья.
«Я как обманутая сном!
Скажите, ради бога, кто вы?»

Елецкой

Вы любопытны, как дитя.
Итак, со мною не шутя
Вы познакомиться готовы?

Нежданным именем моим
Я испугаю вас.

Вера

Как скучно!
Всё шутки.

Елецкой

Я не склонен к ним
И остерег вас добродушно:
Я дух... и нет глуши, жилья,
Где б я, незримый, не был с вами.
Все чутким ухом слышу я,
Все вижу зоркими очами.
Не бойтесь! слушаю, гляжу
Я с полной преданностью дружбы;
Неожидаемые службы
Я вам догадливо служу:
Однажды перед ваши очи
Я в виде смертного предстал;
В ту пору сумрак летней ночи
Мне образ видимый давал...
Вы узнаете?

Вера

Ваши сказки
Вы продолжите до утра.
Смотрите: все снимают маски,
Снимите же свою, пора!

Елецкой

Не мне. Оставьте убежденья:
Я не исполню ваш приказ.
Лицо открыл бы я для вас
Без выраженья, без значенья.
Нет, нет; я вспомню веселей
Сей разговор непринужденный,
Почти нежданно уловленный
Счастливой маскою моей,
Чем взор холодного смущенья,

Который на лицо мое
Вперите вы, когда ее
Сниму я вам из угожденья.
Нет, я б не мог его снести!
Прощайте; я не здешний житель;
В мою безвестную обитель
Я должен во-время сойти.

Елецкой тихо удалился;
Уж был у выхода и зал
Совсем, казалось, покидал,
Но у дверей остановился:
Взглянуть он раз еще желал
На Веру... Тихий взор он встретил,
Мольбу немую в нем заметил,
Укор в нем дружеский постиг
И скинул маску. В этот миг
Пред ним лицо другое стало,
Очами гневными сверкало
И дико поднятой рукой
Грозило Вере и пропало
С Елецким вместе за толпой

ГЛАВА IV

Едва веселыми лучами
День новый окна озлатил,
Елецкой скорыми шагами
Уже по комнате ходил.
Порой, в забвении глубоком
Остановясь, прилежным оком
Во что-то всматривался он.
Во взорах счастье выражалось;
Перед душой его, казалось,
Летал веселый, светлый сон.
Через мгновенье пробужденный,
Он, тем же чувством озаренный,
Свою прогулку продолжал
И скоро снова прерывал.
В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом.
Усталость выражали очи:
Казалось, в продолженье ночи
Их Сара не смыкала сном.
Она порывисто чесала
Густые, черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала.
Она склонялась головой,
Но на Елецкого порой
Взор исподлобья подымала.
Какою злобой он дышал!
Другой мечты душою полон,
Подруги он не замечал;
К ней напоследок подошел он:

«Что это смотришь ты совой? —
Сказал он: — Сара, что с тобой?
Да молви слово!»

Сара

Ах, мой боже!
Ты ждешь ответа моего.
Вот он: я знаю, отчего
Ты так доволен!

Елецкой

Отчего же?

Сара

Меня ты думал обмануть,
Когда вчера, кривя душою,
Ты мне с заботою такою
Скорей советовал заснуть!
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?
Ляг, Сара, спать!» И я легла,
Да уж нарочно не спала! —
Давно грозит мне эта кара!
Давно я брошена тобой!
Ты сутки целые порой
Двух слов со мной не произносишь,
Любимых песен петь не просишь!
Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела?
Ее вчера я разглядела:
Совсем, совсем не хороша!

Елецкой

Так вот в чем дело!

Сара

Сара знает,
Какая ждет ее судьба
За то, что служит, угождает
Тебе по воле, как раба:
Со знатной барышней своею
Ты обвенчаешься, а с нею

Простишься, и ее на двор
Метлою выметут как сор.

Елецкой

Ты совершенно сумасбродишь!
Какие странные мечты!
По пустякам горюешь ты
И на меня тоску наводишь.

Сара

А кто, бывало, говорил,
Ко мне ласкаясь то и дело:
«Тебя я, Сара, полюбил.
Жить одному мне надоело,
Будь мне подругою! со мной
Живи под кровлею одной!
Я нравом весел; живо, шумно,
В пирах и песнях завсегда
Мы будем проводить года».
Я согласилася безумно. —
Что ж вышло?

Елецкой

Из моих речей
Тобой забыта половина.
Я говорил: твоя судьбина
Не будет скована с моей!
Покуда любо жить со мною,
Живи! наскучило — прощай,
Былую радость поминай!
С твоей свободой той порою
Я выговаривал мою.
Но я тебя не узнаю!
И сердце будущим тревожа,
Ты на цыганку не похожа.
Ваш род беспечен.

Сара

Проклят он!
Он человечества лишен!
Нам чужды все края мирские!

Мы на обиды рождены!
Забавить прихоти чужие
Для пропитанья мы должны.
Я о себе молчу: цыганка
Вам не подруга, а служанка!
Она пляши и распевай,
А сердцу воли не давай.

Елецкой

Оставь пустые опасенья:
Не разлучимся мы с тобой.
Хотя другого поколенья,
Родня я вашему судьбой.
И я, как вы, отвержен светом,
И мне враждебен сердца глас...
Не распадется, верь мне в этом,
Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою
Судьба Елецкого свела,
Своей разгульною душою
Она мила ему была.
«Я горя знать не буду с нею.
Каких тяжелых, черных дум,
Мне иногда гнетущих ум,
Свободной резвостью своею
Не удалит она сейчас?
Кому при блеске этих глаз
Приснятся мрачные печали?»
Так думал он; но дни мелькали;
К ее душе своей душой
На продолжительное время
Не мог пристать Елецкой мой.
Ему потом уж стали в бремя
Затеи девы удалой.
Не принимая в них участья,
Уж он желал другого счастья:
Души, с которой мог бы он
Делиться всей своей душою.
Надеждой темной увлечен,
Он Саре пробовал порою
Передавать свои мечты;

Но образованного чувства
Язык для дикой красоты
Был полон странной темноты.
Она, не ведая искусства,
Под речи друга своего
Без всякой совести зевала
Иль в скором времени его
Сторонней шуткой прерывала;
Но смутно трогалась, и ей
Невразумительных речей
Цыганка голос понимала.
Подруге ветреной своей
Он ежедневно был милей,
Но к ней хладел по той же мере.
Когда, любовью вспыхнув к Вере,
Он нравом стал еще мрачней,
Она развлечь его хотела,
Она родные песни пела,
Она по стульям, по столам
С живыми кликами скакала;
Она при нем по пустякам
Как можно громче хохотала;
Но завсегда ее смущал
В то время взор его брюзгливый:
Пред ним порыв ее игривый
В одно мгновенье упадал.
Она сердилась и роптала,
И грусть давила сердце ей,
И тщетно Сара призывала
Покой и радость прежних дней.

ГЛАВА V

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Как часто в середине бала,
Когда уж музыка играла
Иль попури, иль котильон
И Вера, со своим танцором
Наскуча пошлым разговором,
Погружена в сторонний сон,
Глазами молча провожала
Среди блистательного зала
Пред нею вьющиясь четы, —
Елецкой речию своею,
Нежданно слышимой за нею,
Вдруг прерывал ее мечты.
Довольно холодно сначала
С ним в разговор она вступала,
Но оживлялася потом,
И ободрен ее вниманьем,
Он был заманчивым свиданьем
К свиданью новому влеком.

Однажды он за стулом Веры
Средь вихря бального сидел.
В своих речах уж не умел
Он соблюдать холодной меры;

Она исчезнула. Лишен
Над пылким сердцем всякой власти,
Уж говорил открыто он
С ней языком мятежной страсти.
Кончая: «Дайте мне ответ! —
Он молвил: — Многое во вред
Мне городская злоба трубит;
Сжился я со враждой молвы;
Но вы? что думаете вы
О том, который вас так любит?»

Вера

Что все другие; даже мне
Еще известнее, как пра́ва
О вас рассеянная слава,
Как должно верить ей вполне.

Елецкой

Вам всех известней? Вы всех строже?
Но почему же, отчего же?

Вера

Когда глаза мои в тот раз
Меня в обман не приводили,
Словами вашими сейчас
Двух, не одну вы оскорбили.

Елецкой

Я вашей искренности рад.
Уже в судьбе моей стократ
Я с вами жаждал объясненья!
Примите исповедь мою:
Весьма во многом, нет сомненья,
Останусь я без извиненья;
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть
Минувших дней своих вступил,
Свою запутанную совесть
Он перед Верой обнажил;
Поверил ей без украшенья

Свои былые заблужденья,
К которым, впрочем, был влеком
Он меньше сердцем, чем умом.
С ее случайною знакомкой,
Своею смуглой однодомкой
Свое сближенье передал,
Как сам его он понимал:
Одним внушением унылым
Души, томимой пустотой,
Союзом, столько же постылым
Теперь ему, как ей самой.
«К ней обратиться, — он прибавил, —
Безумный миг меня заставил;
Ошибся я в себе и в ней.
Нет, нет! я не был с нею дружен!
Я для души ее не нужен, —
Нужна другая для моей».

И тихо речь его журчала
За Верой, ей одной слышна.
Но что? вникала ли она
В слова его? Она молчала;
Была чуть-чуть обращена
К нему щека ее одна;
Но это легкое движенье
Заметить было мудрено:
Злословье самое оно
Не привело бы в искушенье.
Ей изменяло лишь одно:
Вниманье к балу притупело,
И краснощекий офицер,
Тогдашний Верин кавалер,
Ее в то время то и дело
К порядку танца пробуждал
И ей фигуры толковал.

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотой.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,

Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единый
И тем осмыслить бытие.
Тут романтические встречи
С героем повести моей,
Его задумчивые речи
Тревожить стали душу ей.
Одно, быть может, впечатленье
Ей берегло воображенье...
Его рассеял он. С какой
Благополучною душой
С тех пор она ему внимала!
С какою сладостью о нем
В невольном забытьи своем
Уединенная мечтала!
Как, новой жизнию дыша,
Легко ей было! Как блистала,
Как ликовала в ней душа!
Девица юная не знала,
Живого счастия полна,
Что так доверчиво она
Одной отравой в нем дышала;
Что сей приветный ветерок,
Ее ласкающий так нежно —
Грозы погибельной пророк;
Что вдруг дохнет она мятежно,
И мир в глазах ее затмит,
И все красы его разрушит,
И все цветы его иссушит,
И жизни путь опустошит.

ГЛАВА VI

Летели дни. Свои свиданья
Елецкой с Верой продолжал.
И с каждым больше упованья
Любви своей он обретал.
Увы! старательно скрывая
Заботу сердца, между тем,
Наверно дева молодая
С ним не обмолвилась ничем;
Но не владела выраженьем
Лица невинного она:
На нем со всем ее смятеньем
Была душа ее видна.
«Любим я!» с ропотом и мукой
Елецкой сам себе твердил.
Великий пост уж подходил
И с Верой скорою разлукой,
Разлукой долгою грозил!

. . . .

. . . .

«Нет! — мыслит он, — до расставанья,
Во что бы ни было, должна
Решить судьбу мою она!»

Он ждет удобного мгновенья;
И Вера, время разлученья
Предвидя, днями дорожит
И их считает и грустит.
Уехал дядя. В тихой зале,
При свете двух свечей, одна,
Твердила на своем рояле
Урок докучливый она;
Полна душой другой заботы,

Насильно всматривалась в ноты...
Вдруг... протянувшись перед ней,
Закрыла их рука чужая.
Ветр пошатнул огонь свечей;
Вздрогнула дева молодая,
Оборотилася, глядит:
Елецкой перед ней стоит.
«Не беспокойтесь, ради бога!
Какая странная тревога
У вас написана в глазах!
Я вас прошу, не уходите!
Чего боитесь вы? сидите:
Я все скажу вам в двух словах».

Вера

Я не могу остаться с вами!
Подите. Разговор такой
Мне неприличен. Боже мой!
Одна я, видите вы сами!
Подите.

Елецкой

Наперед я знал,
Что я застану вас одною:
Одну я видеть вас желал.
Остаться должно вам со мною,
Вам должно выслушать меня.

Вера

Оставьте до другого дня,
Я умоляю вас, подите!
Мой дядя будет сей же час.

Елецкой

Один вопрос: люблю я вас,
Вы это знаете. Скажите:
Я равнодушен вам иль нет?

Вера

На все, на все один ответ:
Подите!..

Елецкой

Вы ли говорили?
Я ль слышал вас? и не во сне!
Я не любим... Зачем же мне
Давно вы это не внушили?
Своей холодности зачем
Вы мне тотчас не показали?
Зачем, скажите, мне внимали
Вы так приветно между тем?
Зачем, глаза мои встречая,
Не отводили ваших глаз?
Зачем дышала всякий раз
В них дума нежная такая?
Дитя! кокетки записной
Постигнув опытную ролю,
Признайтесь: вы играли вволю
Моей безумною душой!
Кто б мог подумать! в ваши лета!
Мою любовь мне не забыть;
Желал бы я ее предмета
Не презирать. Но, так и быть!
Прощайте!

Вера

Нет! такого мненья
Я не оставлю ни за что!
Не правы ваши заключенья.
Я прямодушна. Я не то
Сказать хотела... Нет... Просите
Руки моей, и если...

Елецкой

Вы?
Вы мне об этом говорите?
А восклицанья всей Москвы!
На наш союз ваш дядя строгой
Не согласится никогда;
Молитвы будут без плода.
Нет, Вера, нет! другой дорогой
Итти нам должно. Для венца
Сегодня ночью у крыльца
Я ждать вас буду. Все готово:

Бежать со мною дайте слово!
Любовь слепая мне нужна.
Решитесь.

Вера

Я изумлена
Таким нежданным предложеньем.
Нет, это будет преступленьем!
Нет, я и думать не хочу!
Я так ужасно огорчу
Того, который...

Елецкой

Все забудет
Он, нашим счастием счастлив,
И напоследок справедлив
Он и ко мне, наверно, будет.
Ему (вам нужно ль обещать?)
Я буду сыном самым нежным.
Страдал я долго безнадежным —
Ах, Вера! снова ли страдать!
Меня вы любите: судьбиной
Оставлен нам исход единый.
Ах, Вера, Вера! сердце в вас
Сей миг решительный измерит:
Меня печально разуверит
В нем малодушный ваш отказ.
Все, все он кончит между нас!
Бегите, Вера! дайте руку...
Не на ужасную разлуку,
С которой не сживуся я,
Но на союз святой и вечный.
Мой милый друг, мой друг сердечный!
Скажи: не правда ль? ты моя?

Вера

Люблю, люблю я вас... Но что же?
Что предлагаете вы мне?
На что решиться! Боже, боже!
Подумать дайте в тишине!

Елецкой

Я знаю, горестная мера;
Но — ты ль не видишь? — нет иной!
Решись!

Вера

Не нынче!

Елецкой

Нынче, Вера;
Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая
Еще противилась ему.
Он нежно к сердцу своему
Прижал ее. Лицом пылая,
Потупя взор, склонив главу,
Она умом изнемогала
И, ни во сне, ни наяву,
Свое согласье прошептала.

Елецкой ликовал душой;
По темной улице домой
Он шел походкою веселой.
Но у порога своего
Остановился; ум его
Смутился думою тяжелой:
Там Сара! — В голове своей
Уже Елецкой принял меры,
Чтоб неприличной встрече с ней
Вновь не подвергнуть милой Веры.
Москву с невестой в эту ночь
Покинет он; обряд венчальный
Он совершит в деревне дальной;
Он все предвидел, все точь-в-точь
Обдумал. Сары он не знает;
Любовью в ней не почитает
По нем расчетливой любви;
Не верит в ней ревнивой муке.
«Из них любую призови —
Все тверды в нужной им науке!» —

Так мыслил он. Но в этот миг...
Иль Сару лучше он постиг
При наступающей разлуке?
Упрек в душе его возник.
Его докучное внушенье
Он опроверг в уме своем
И, отряхнув недоуменье,
Вошел в свой дом, где в то мгновенье
И Сара думала о нем.

ГЛАВА VII

Грустила брошенная Сара;
Но в этот вечер было ей
Еще грустней, еще тошней.
Почти болезненного жара
Была тоска ее полна.
В своем волнении она
Платком в лицо себе махала, —
Прохлады воздух не давал,
Но кровь ей пуще волновал.
Иглу к работе принуждала, —
Колола пальцы ей игла.
Гадать цыганка начала, —
Еще тошнее: карты врали,
Когда ей счастье предрекали,
И наводили страх, когда
В них выходила ей беда.
Их со стола она столкнула,
Шитье отбросила, вздохнула,
На стол локтями опершись,
Цыганка стиснула руками
Чело... и смятыми кольцами
Вкруг пальцев кудри обвились.
Закрыв глаза, она сидела...
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» — К ней
В покой из боковых дверей
Цыганка старая глядела.

Сара

Ненила, ты? войди скорей;
Я заждалась тебя, Ненила;
Совсем я брошена, совсем!

Не угожу ему ничем.
Хотя бы ты мне услужила!
Что, принесла ли?

Старуха

Принесла.
Да уж насилу добрела,
Метель такая закутила!
Гляди-ка: вот твое вино!
Уж удружит тебе оно;
Спасибо скажешь.

Сара

Ах, Ненила!
Верь: ты мне душу воротила!
Я полюблюсь ему опять?
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгать!
Лишь дай испить, сама увидишь!
Он обвенчается с тобой,
И заживешь ты госпожой,
А там старухи не обидишь.
Ты мне поверь, моя красотка,
Придут благие времена!

Сара

Как я тобой одолжена!
Но там идут... его походка;
Поставь подарок свой на стол,
Да и прощай, уйди отселе,
Уйди скорее!

В самом деле
Елецкой в комнату вошел.
В глазах его была суровость,
Пред Сарой молча он ходил;
Речь, наконец, к ней обратил.
«Тебе сказать я должен новость:

С тобой я скоро расстаюсь.
Послушай, Сара! я женюсь».

Лицо у Сары побледнело
И загорелось в тот же миг.
Нож острый в сердце ей проник:
Оно то стыло, то кипело;
Хотела б смертная тоска
Излиться воплем и слезами...
Рвалися бурными волнами
У ней попреки с языка...
Но эти первые движенья
Она в себе перемогла
И голос мирный обрела,
Хотя дрожащий от волненья.
«Давно я этого ждала!
Не удивишь меня разлукой, —
Сказала Сара. — Долгой мукой
Я приготовлена была.
А скоро ль свадьба?»

Елецкой

В доме этом
Я не ночую; не жалей
О старине. В судьбе твоей
Я обязуюся ответом,
И уж подумал я о ней;
Довольна будешь.

Сара

Мне не нужно
Постылых милостынь твоих.
Не беспокойся, и без них
С тобой расстануся я дружно.
Пенять не буду я тебе.
Жила я весело, счастливо;
Теперь не то, — какое диво?
Не все стоять одной судьбе!
У нас верна одна могила:
А кто на свете долго мил?
Как ты сегодня разлюбил,

Так я бы завтра разлюбила;
За что сердиться?

Елецкой

Очень рад.
Дай руку, Сара! Пред тобою
Я совершенно виноват.
Я вижу, выше ты душою,
Чем полагал доселе я:
Ты не притворщица пустая.
Обыкновенье ваше зная,
Я ждал упреков, слез, вытья...
Спасибо, нет их; без сомненья,
Простимся дружно мы с тобой.
Мила ты, Сара!

Сара

Плач и вой
В душе... Но что до сокрушенья!
В слезах и воплях толку нет.
Мы расстаемся? Власть господня!
Простимся весело. Сегодня
Я именинница, мой свет!
В последний раз мое здоровье
Ты должен выпить... но до дна!
Как в старину; смотри ж: условье!
Не то сейчас заплàчу... На!

Елецкой

Твое здоровье? Рад душою...
И вот — ни капли нет на дне.
Надеюсь, ты довольна мною?

Сара

Спасибо! Сядь теперь ко мне,
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем
К ней на диван Елецкой сел,
Но, далеко уже мечтаньем,
Он на часы свои глядел.

«Скажи мне, — Сара продолжала, —
Судьбою новою своей
Доволен ты?»

Елецкой

А что?

Сара

Ей-ей!
Я коротко твой нрав узнала:
Не переменишься ты в нем...
Привык ты к беззаботной доле,
Разгульной жизни, вольной воле,
Стошнишь порядочным житьем.
Наскучит, твердо предрекаю,
Тебе и милая твоя:
Тебе наскучила же я!
Жаль бедной! По себе я знаю,
И слишком знаю, каково!
Как я бы выла да рыдала,
Когда бы втайне не питала
Еще у сердца моего
Одной надежды!

Елецкой

Полно, что ты?
Все были кончены расчеты, —
Что за надежда?

Сара

Брежу я.
И как равняться я посмею
С невестой счастливой твоею!
О ней единой мысль твоя;
Ты ею дышишь. Ах, царица,
Царица светлая она!
Я перед нею пыль одна.
Но... в ум придет же небылица!
Забудь любовь свою на час:
Какая разница меж нас? —

Что я цыганкой уродилась?
Что нет за мною сел, хором?
Что говорить не научилась
Я иностранным языком?
Вот всё. Не шутка, очень знаю!
Но сердцем я не уступаю
Твоей невесте. Чем она
Любовь поныне доказала?
Какие слезы проливала?
Что перенесть была должна?
А я... что слез я источила,
Каких обид не проглотила,
Молчанье горькое храня!
Ты разлюбил, я все любила;
Ты гнал безжалостно меня, —
К тебе я злобному ласкалась,
Как собачонка. Рассмотри
Меня получше: говори,
Такая ль я тебе досталась? —
Глаза потухнули от слез;
Лицо завяло, грудь иссохла;
Я только, только что не сдохла!..
Ты все молчишь?

Елецкой

Тебе нанес
Я много горя... Я не ведал,
Когда другой мой жребий предал,
Что ты... Но что со мною?.. Свет
В глазах темнеет... все кружится...
Мне дурно, Сара, дурно...

Сара́

Нет!
Я знаю, что в тебе творится.
В душе мятущейся твоей
Я чудным чудом оживаю:
Разлучницы проклятой в ней
Бесовский образ погашаю.
Бледнеешь ты... Не мудрена
Измена мне, а ей страшна!

Будь ей теперь моя судьбина!
Томись она, крушись она!
С тоски иссохни, как лучина!
Умри она! ты мой: приди,
Прижмись опять к моей груди!
Очнись от лютого угара,
Приди, и все забуду я.
Узнай меня, узнай: я Сара!
Я Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками
Его рыдая обвила
И жадно к сердцу повлекла.
Глядел он мутными глазами,
Но не противился. Главой
Он даже тихо приклонился
К ее плечу; на нем немой,
Казалось, томно позабылся. —
По грозной буре, тишина
Влилась отрадно в сердце Сары.
«Он мой! подействовали чары!» —
С восторгом думала она.
Но время долгое проходит —
Он все лежит, он все молчит;
Едва дыханье переводит
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;
Миг страшной истины настал:
Она вгляделась — труп холодный
В ее объятиях лежал.

ГЛАВА VIII

Стояла ночь уже давно.
Градские стогны опустели;
В домах уснувших ни одно
Не озарялося окно,
Все одинаково чернели.
Луна не светит, все молчит;
Лишь ветер воет и свистит,
Метель до кровель воздымая.
Обету своему верна,
До самой улицы одна
Доходит Вера молодая;
Никем не встречена она.
В лицо суровый и холодный
Ей дует ветер непогодный,
И ночь ненастная черна.
Она стоит; она мгновенья
Считает, полная волненья...
Бегут мгновенья! Вера ждет —
Он не приходит; не придет!
В ней сердце замерло... девицу
Приемлет снова прежний кров.
Уж ранний вой колоколов
Порою той будил столицу,
И в город, сквозь ночную тень,
Уж голубея крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,
Где он забыл любовь, вражду,
Где равнодушен он к суду
Толпы и светской и несветской, —
Уж не однажды порастал
Весенней, новою травою,

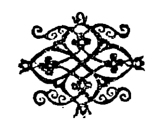
И снег пушистой пеленою
Его не раз уж покрывал.
Но долго ль юноша несчастный
Жил в сердце Веры? Много ль слез,
Ее сердечных первых грез,
У ней исторг обман ужасный? —
В ту ж зиму с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась;
Блистает тою же красой;
Но строже смотрит за собой:
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут;
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут;
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой;
В раздумьи праздном не видали
И никогда не заставали
С романом Веры Волховской.
Девицей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?

Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романических мечтах?
Или теперь в ее глазах
За общий очерк, в миг забвенья,
Полусвершенный ею шаг
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такою,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши, —
Утрачен Верой молодою
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда, заснувшею столицей,
При ярком блеске зимних звезд
В санях несется вереницей
Весельчаков ее поезд?
К цыганам. Пред знакомым домом
Остановились. В двери с громом
Стучат; привычною рукой
Им отворил цыган седой.
В хоромах спящих тьма густая,
Но путь знаком. Толпа лихая
Спешит проникнуть в тот покой,
Где, ночи шумной ожидая,
Еще с вечерней первой мглой
В свои постели пуховые
Легли цыганки молодые.
Уж гости ветреные там,
Уж кличут дев по именам.
Но все Египетское племя
Кругом приезжих в то же время
С веселым шумом собралось,
И свеч сиянье разлилось.
Дремоту девы покидают,
Встают на общий громкий зов,
Платками плечи прикрывают,

Ногами ищут башмаков
И вот уж весело болтают,
И табор к пению готов.
Одна цыганка на постели
Сидит недвижно. На гостей
Глядит сердито. Роем к ней
Подруги смуглые подсели;
Свой дикий взгляд она хранит,
Устами молча шевелит
Или бессмысленно порою,
Вздохнув, качает головою.
Но грянул своенравный хор:
Блеснул ее туманный взор,
Уста улыбка озарила;
Воскреснув в крике хоровом,
Она, веселая лицом,
С ним голос яркий согласила.
Умолкнул хор, и вновь она
Сидит сурова и мрачна.
Так воротилась в табор Сара.
Судьбы последнего удара
Цыганка вынесть не могла
И разум в горе погребла.
Вотще родимые напевы
Уносят душу бедной девы
В былые, лучшие года!
Так резвый ветер иногда
Листок упадший подымает,
С ним вьется в светлых небесах,
Но, вдруг утихнув, опускает
Его опять на дольний прах.



ПРОЗА

<ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «ЭДА»>

Сочинитель предполагает действие небольшой своей повести в 1807 году, перед самым открытием нашей последней войны в Финляндии.

Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытною природою, совершенно отличною от русской. Обильная историческими воспоминаниями, страна сия была воспета Батюшковым, и камни ее звучали под конем Давыдова, певца-наездника, именем которого справедливо гордятся поэты и воины.

Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев.

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. Но долгие годы, проведенные сочинителем в Финляндии, и природа финляндская и нравы ее жителей глубоко напечатлелись в его воображении. Что ж касается до остального, то сочинитель мог ошибиться; но ему казалося, что в поэзии две противополож-

ные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом Кавказского Пленника и Бахчисарайского Фонтана. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели итти новою собственною дорогою.

ТАВРИДА

А. Муравьева. М. 1827 г., in 12, 148 стр.

Полезна критика строгая, а не едкая. Тот не любит искусства, кто разбирает произведение с эпиграмматическим остроумием. Более или менее отзываясь недоброжелательством, оно заставляет подозревать критика в пристрастии и удаляет его от настоящей его цели: уверить читателя в справедливости своего мнения. Еще замечу, что, разбирая сочинение, не одной публике, но и автору (разумеется, ежели он имеет дарование) нужно показать его недостатки, а этого никогда не достигнешь, ежели будешь расточать более насмешки, нежели доказательства, более будешь стараться пристыдить, нежели убедить сочинителя.

Ежели строго разбирать стихотворения г-на Муравьева, конечно, многое и очень многое найдешь достойным осуждения; но в то же время увидишь красоты, ручающиеся за истинное дарование. Г-н Муравьев поэт неопытный, но Поэт — и это главное. Во всех его пьесах небрежность слога доведена до крайности; но почти во всех ощутительно возвышенное вдохновение. Он еще не написал ничего истинно хорошего, но подает прекрасные надежды.

Книга г-на Муравьева заключает в себе описательную поэму под названием *Таврида* и несколько мелких стихотворений.

Таврида — произведение совершенно ученическое. Создание ее бедно или, лучше сказать, в ней нет никакого

создания. Это риторическое распространение двух стихов Пушкина в Бахчисарайском фонтане:

Где скрылись ханы? где гарем?
Кругом все пусто, все уныло...

Ежели мы прибавим, что в поэме г-на Муравьева нет ни одной строфы, с начала до конца написанной истинно хорошими стихами, достоинство ее будет весьма не велико. Таврида, кажется, первый опыт г-на Муравьева; но ежели в ней еще не видно искусства, то видны уже силы. Таврида писана небрежно, не не вяло. Неточные ее описания иногда ярки и необработанные стихи иногда дышат каким-то беспокойством, похожим на вдохновение. Не привожу примеров, ибо сказанное мною чувствительнее в целом сочинении, нежели в его частностях.

В мелких стихотворениях дарование г-на Муравьева гораздо зрелее. Каждая пьеса уже заключает в себе более или менее полное создание, и от времени до времени встречаются прекрасные стихи. Приведем отрывок из стихотворения «Ермак», которое одно из хороших в разбираемой нами книге. Остяк рассказывает путнику о завоевании Сибири по темным преданиям, сохранившимся в его племени.

Вот видишь, путник: много, много
Прошло холодных, бурных зим,
С тех пор, как бранною тревогой
Иртыш великий был грозим.
Отколь? зачем? я не открою;
Но бурной вьюгой притекли
Сюда, к убийственному бою,
Другого племя остяки:
Они друг друга убивали,
Везде лишь кровь текла одна;
Снега с полей уж не смывали
Войны багрового пятна.
И вот однажды ночь застала
Здесь, на Иртышских берегах,
Пришельцев. Все меж ними спало,
Забыв о мстительных врагах.
Они ж стрелами разбудили
И смертью отогнали сон!
Но челноки пришельцев плыли
Среди кипящих, грозных волн.
Их вождь был скован из железа,
И нашей смерти чужд он был!

В Иртыш, добыча мрачной грезы,
Прыгнул, проснулся и поплыл,
И близок был к ладьям союзным;
Быть может, их бы досягнул,
Иртышу показался грузным:
Иртыш взревел, — он потонул,

Другого племя остяки, И нашей смерти чужд он был, Иртышу показался грузным. Прекрасно! Но сколько недостатков в этом отрывке! *Я не открою* — нужно *я не знаю; они друг друга убивали,* т. е. воины Ермака друг друга убивали, по смыслу стихов; это ли хотел сказать сочинитель? *Снега с полей уж не смывали войны багрового пятна,* слишком изысканно для остяка. *Забыв о мстительных врагах: мстительных* ненужный эпитет. *Они ж стрелами разбудили...* Кого? Все четверостишие дурно. *В Иртыш, добыча мрачной грезы...* Почему знает остяк, что Ермаку в это время что-нибудь грезилось? Лучше было сказать: *полусонный.* Надобно заметить, что я разбираю хорошее у г-на Муравьева.

Не буду говорить особо о каждом стихотворении г-на Муравьева,— это бы заняло слишком много времени. Не могу, однакож, оставить без внимания стихотворение его *Стихии,* которое мне кажется лучшим из всего собрания как по созданию, так и по исполнению. Я приведу его в новое доказательство и прекрасного дарования г-на М<уравьева> и великих его недостатков.

Я с духом беседовал диких пустынь!
    Пред юношей, с мрачного трона,
Клубящимся вихрем восстал исполин;
    Земли расступилося лоно!
Он эхом раздался, он ветром завыл
И юношу тучею праха покрыл.

Строфа сия звучна и живописна; но где же логика? К чему: *земли расступилося лоно?* Г-н Муравьев изобразил уже своего духа, *восставшего с мрачного трона,* следовательно, трон этот ему видим, следовательно, он не в глубине земли; а ежели не так, то прежде, нежели явится дух, земля должна расступиться. Сколько несообразностей! Последние два стиха прекрасны.

Я с духом беседовал бурных валов!
Завыли широкие волны;
Он с пиршества шел поглощенных судов,
Утопших отчаяньем полный!
И много о тайнах бездонных ревел,
И юноша пеной его поседел.

Завыли широкие волны... вставка. Следующие три стиха красоты превосходной. Ежели б г-н Муравьев всегда облекал в подобные стихи картины своенравного воображения, мы бы уже поздравили себя с великим Поэтом. *И юноша пеной его поседел:* дурно, потому что изысканно. Надобно было сказать: *И юношу пеной своею покрыл.* Лирическая поэзия любит простоту выражений.

Я с духом беседовал горных зыбей,
С лазурным владыкой эфира!
И он, улыбаясь во звуке речей,
Открыл мне все прелести мира;
Меня облаками, смеясь, одевал,
И юноша свежесть эфира вдыхал!

В этой строфе хорош один только стих: *Меня облаками, смеясь, одевал.* Что такое значит: *во звуке речей открыть все прелести мира?* Прочтите кому угодно эти два стиха: каждый будет их толковать по-своему и, может быть, никто не угадает настоящей мысли автора. К тому же дух эфира должен говорить только о своей области, а не о целом мире; а не то г-ну Муравьеву не для чего беседовать особо с каждым стихийным духом: довольно поговорить с воздушным, который всеведущ.

Я с духом беседовал вечных огней!
Гул дальнего грома раздался!
Не мог усидеть он на туче своей,
Палящий, клубами свивался,
И с треском следил свой убийственный путь,
И юноше бросил он молнию в грудь!

Отчего дух огня не мог усидеть на своей туче (не говорю уже о низком выражении: *усидеть*)? Чего же он испугался? Можно ли писать таким образом и никогда не поверять воображения рассудком? Для пользы искусства почти досадно, что г-н Муравьев человек с дарованием.

Я духом напитан ревущих стихий,
Они и с младенцем играли;
Вокруг колыбели моей возлегли
И бурной рукою качали;
Я помню их дикую песнь надо мной,
Но как передам ее звук громовой?

Эта строфа с начала до конца прекрасна, кроме рифм: *стихий* и *возлегли,* которые чересчур не точны. Еще: *И бурной рукою качали* — кого, что? Должно подразумевать колыбель, но это не сказано: местоимение здесь необходимо.

Скажем вообще о г-не Муравьеве, что, богатому жаром и красками, ему недостает обдуманности и слога, следственно — очень многого. Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего. Что касается до слога, надобно помнить, что мы для того пишем, чтобы передавать друг другу свои мысли; если мы выражаемся неточно, нас понимают ошибочно или вовсе не понимают: для чего ж писать? Надеемся, что г-н Муравьев в будущих сочинениях исполнит наши ожидания и порадует нас красотами, не затемненными столькими недостатками.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА»>*

Сочинение, представляемое теперь публике, одно из тех, которое журналисты наши обыкновенно называют безнравственными, хотя обвинение в безнравственности довольно странно в государстве, имеющем цензуру, и где *печатать позволяется,* являющееся на первом листе книги, уже ручается за безвредность ее содержания.

Странно также, что г-да журналисты, позволяя себе столь неприличные обвинения, называя развратными произведениями: Руслана, Онегина, Цыган, Нулина, Эду, Бал, и потому имея полное право поместить в тот же разряд и Наложницу, до сих пор не определили, в чем, по их мнению, состоит нравственность или безнравственность литературных произведений.

Постараемся решить вопрос, равно важный для писателей и для читателей.

Журналисты наши выразили некоторые положительные требования. Воспевайте добродетели, а не пороки, говорили они; изображайте лица, достойные подражания; пишите для назидательной нравственной цели, не замечая, что каждое из сих требований противоречит другому.

Изобразить какую-либо добродетель значит заставить ее действовать, следственно подвергнуть испытаниям, искушениям, т. е. окружить ее пороками. Где нет борьбы, там нет и заслуги. Следственно, лицо, достойное подражания, не может выказаться иначе, как между лицами, ему противуположными.

Что такое нравственная цель литературного произведения? В чем состоит она? Есть люди, называющие

* Под таким заглавием первоначально была напечатана поэма «Цыганка».

нравственными сочинениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель. Мнение это некоторым образом противно нравственности, истине и религии. Ежели бы добродетель всегда торжествовала, в чем было бы ее достоинство? Этого не хотело провидение, и здешний мир есть мир испытаний, где большею частью добродетель страждет, а порок блаженствует. Из этого наружного беспорядка в видимом мире и феологи и философы выводят необходимость другой жизни, необходимость загробных наград и наказаний, обещаемых нам откровением.

Нравственное сочинение не состоит ли в выводе какой-нибудь философической мысли, вообще полезной человечеству? Но чтобы в самом деле быть полезною, мысль должна быть истинною, следственно, извлеченною из общего, а не из частного. Как же, изображая только добродетель, играющую довольно второстепенную роль в свете, и минуя торжествующий порок, я достигну этого вывода? Я скажу мысль блестящую, но необходимо ложную, следственно вредную.

Нет, скажут наши противники, мы не требуем, чтобы вы изображали одну добродетель: изображайте и порок, но первую привлекательною, второй отвратительным.

Мы погрешим против истины: не все пороки имеют вид решительно гнусный. По большей части наши добрые и злые начала так смежны, что нельзя провести разделяющей линии между ними. В этом случае отменно истинны шуточные стихи Панара:

Trop de froideur est indolence,
Trop d'activité turbulence,
Trop de rigueur est dureté,
Trop de finesse est artifice,
Trop d'économie avarice,
Trop d'audace témérité,
Trop de complaisance est bassesse,
Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté devient hauteur, etc. *

---

* Избыток холодности есть бесстрастие, избыток деятельности — шумливость, избыток суровости — жесткость, избыток тонкости — хитросплетение, избыток бережливости — скупость, избыток удальства — безрассудность, избыток угодливости — низость, избыток доброты становится слабостью, избыток гордости — высокомерием и т. д. *(франц.)*.

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Нет человека совершенно добродетельного, т. е. чуждого всякой слабости, ни совершенно порочного, т. е. чуждого всякого доброго побуждения. Жалеть об этом нечего: один был бы добродетелен по необходимости, другой порочен по той же причине; в одном не было бы заслуги, в другом вины; следственно, ни в том, ни в другом ничего нравственного.

Характеры смешанные, именно, те, которые так не любы г-дам журналистам, одни естественны, одни нравственны: их двойственность и составляет их нравственность. Одно и то же лицо является нам попеременно добродетельным и порочным, попеременно ужасает нас и привлекает. Федра, оплакивающая незаконную страсть свою, и Федра, ей уступающая, — две противуположные Федры: мы любим добродетельную, ненавидим порочную, и здесь мы не можем ошибиться, не можем принять добродетель за порок и порок за добродетель. Действия не смешаны, как характеры; действие добродетельное совершенно прекрасно, действие порочное совершенно безобразно, и нравственный вывод, о котором так хлопочут г-да журналисты, хлопочут до того, что ради оного предлагают нам удаляться от истины, изображая лица неестественные, — этот нравственный вывод внушает нам, без всяких посторонних соображений, всякое лицо, верно снятое с природы.

Но не безнравственно ли, скажут они, то участие, которое возбуждает в нас герой трагедии, романа, поэмы даже в ту минуту, когда он уступает преступному побуждению? Не говорит ли нам наше сердце, что и мы охотно совершили бы то же преступление, надеясь возбудить то же участие? Если означенное лицо без борьбы уступает искушению, оно не возбуждает участия, не возбуждает его и тогда, когда мы чувствуем, что оно не употребило всего могущества воли своей на победу преступной наклонности и позволило побороть себя, а не пало под силою обстоятельств, превышающих нравственную его силу. Побежденные Трояне возбуждают наше участие

потому, что они защищались до последней крайности; побежденные, они не ниже победителей; расчетливая сдача какой-нибудь крепости не восхищает нас, подобно падшей Трое, и никто не сравнивает ее коменданта с божественным Гектором.

Должно прибавить, что творения, развивающие чувствительность, в то же время просвещают совесть. Ежели они располагают нас к лишнему числу искушений, они развивают в нас лишние способы противустоять им.

Рассматривая литературные произведения по правилам наших журналистов, всякую книгу найдем мы безнравственною. Что, например, хуже Квинта Курция? Он изображает привлекательно неистового честолюбца, жадного битв и побед, стоющих так дорого роду человеческому; кровь его не ужасает; чем больше ее прольет, тем он будет счастливее; чем далее простре т он опустошение, тем он будет славнее; и эту книгу будут читать юные властители! — Что хуже Гомера? В первом стихе Илиады он уже показывает безнравственную цель свою, намерение воспевать порок:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!

Раскроем даже Ивана Выжигина, творение г. Булгарина, писателя, который всех настоятельнее требует нравственной цели от современных сочинений. Найденыш воспитывается в доме белорусского помещика, который кормит его и одевает довольно скудно, но и это благодеяние для подкидыша. Он за это платит ему неблагодарностью, помогает какому-то удальцу увезти дочь своего благодетеля и сам за нею следует. Потом ведет жизнь бродяги, негоден и порядочен, смотря по обстоятельствам; получает толчок от одного офицера, за который не сердится; присвоивает себе чужое имя; наконец наследует два миллиона денег, женится по любви и живет в совершенном благополучии. Что заключите вы из подобного романа? Какую нравственную мысль вы из него извлечете, если даже узнаете, что он отменно хорошо раскупился? Ничто не придет вам на ум, кроме старой русской пословицы: не родись ни хорош, ни умен, а родись счастлив; но что в ней назидательного?

Читатель видит, что подобным образом можно неопровержимо доказать вредное влияние всякого сочине-

ния и, из следствия в следствие, заключить с логическою основательностью, что в благоустроенном государстве должно запретить литературу.

В таком случае должно запретить и человека. Но природа одарила его разумом не для невежества, одарила словом не для молчания. Какой незваный критик решится воспретить ему дозволенное провидением и тем явно противоречить его цели? Запретить человеку пользоваться своим разумом, значит унизить его до животных, его лишенных.

Сами г-да журналисты, вероятно, на это не согласятся: их постигла бы общая участь человечества.

Чем соглаcиться критику на уничтожение литературы, следственно на уничтожение человека, не благоразумнее ли взглянуть на нее с другой точки зрения: не требовать от нее положительных нравственных поучений, видеть в ней науку, подобную другим наукам, искать в ней *сведений,* а ничего иного?

Знаю, что можно искать в ней и прекрасного, но прекрасное не для всех; оно непонятно даже людям умным, но не одаренным особенною чувствительностью: не всякий может читать с чувством, каждый с любопытством. Читайте же роман, трагедию, поэму, как вы читаете путешествие. Странствователь описывает вам и веселый юг, и суровый север, и горы, покрытые вечными льдами, и смеющиеся долины, и реки прозрачные, и болота, поросшие тиною, и целебные, и ядовитые растения. Романисты, поэты изображают добродетели и пороки, ими замеченные, злые и добрые побуждения, управляющие человеческими действиями. Ищите в них того же, чего в путешественниках, в географах: известий о любопытных вам предметах; требуйте от них того же, чего от ученых: истины показаний.

Читайте землеописателей, и, не выходя из вашего дома, вы будете иметь понятие об отдаленных, разнообразных краях, которых вам, может быть, не случится увидеть собственными глазами. Читайте романистов, поэтов, и вы узнаете страсти, вами или не вполне, или совсем не испытанные; нравы, выражение которых, может быть, вы бы сами не заметили; узнаете положения, в которых вы не находились; обогатитесь мыслями, впечатлениями, которых вы без того бы не имели; приобщите

к опытам вашим опыты всех прочтенных вами писателей и бытием их пополните ваше.

Ежели показания их верны, впечатление, вами полученное, будет непременно нравственно, ибо зрелище действительной жизни, развитие прекрасных и безобразных страстей, дозволенное в ней провидением, конечно, не развратительно, и мир действительный никого еще не заставил воскликнуть: как прекрасен порок! как отвратительна добродетель!

Из этого следует, что нравственная критика литературного произведения ограничивается простым исследованием: справедливы или несправедливы его показания?

Критика может жаловаться также на неполноту их, ибо самое полное описание предмета есть в то же время и самое верное. Можно сказать недостаточную правду. Есть истины относительные, которых отдельное выражение внушает ложное понятие.

Иностранные литературы имеют книги, по счастию неизвестные в нашей: это подробные откровения всех своенравий чувственности, подробные хроники развращения. Несмотря на то, что все их показания справедливы, книги сии, конечно, развратительны, но это потому, что их показания не полны. В действительной жизни за часами развратного упоения следуют часы тяжелой усталости; какое отвращение возбуждают тогда в развратнике воспоминания нечистых его наслаждений! Выразите так же полно чувство последующее, как полно выразили предыдущее, и картина ваша не будет безнравственною: одно впечатление уравновесит другое. Ежели вы изобразили первые шаги разврата, изобразите и последние. Описав любострастие, злоупотребляющее силами юности, опишите и следствия злоупотребления. Представьте нам раннюю, болезненную старость сластолюбца, раннюю неспособность его не только к тем наслаждениям, которых несет он наказание, но и к обыкновенным, позволенным; ранний упадок умственных его способностей. Что будет поучительнее изображения преждевременно поседевшего разврата, в страданиях благоприобретенного недуга, смешащего не природным, но заслуженным тупоумием? И в этом изображении не будет ничего насильственного.

Невоздержность телесная приемлет мзду свою еще в здешней жизни; временное тело обретает ее во времени,

между тем как неумирающий дух находит ее только в вечности.

С творениями, о которых мы говорили, не должно смешивать эротические стихотворения, вакхические и застольные песни. Не упоминая уже о том, что из похвал красоте не следует позволительности разврата, в эротической поэзии чувственность обыкновенно уравновешивается чувством, и большая разница — живописать красоту, обладание которой может быть беспорочным, и живописать своенравия разврата, которые нельзя удовлетворить без преступления. Славить вино и обеды не значит проповедывать пьянство и обжорство. Каждый это разумеет. Державин, воспевавший иногда красоту и пиршества; Дмитриев, говорящий иногда о вине и поцелуях; Богданович, который

Киприду иногда являл без покрывала;

Батюшков, Пушкин, написавшие несколько эротических элегий и вакхических песней, конечно, не безнравственные писатели. Не говоря уже о том, что сии писатели не ограничивались выражением одного чувства; что подражатель Анакреона в то же время певец Фелицы, певец бога; что автор стихотворения *Счет поцелуев* в то же время творец Ермака и преложитель высоких песней Давида; что Душенька изобилует не одними сладострастными картинами; что между шаловливыми стихотворениями Батюшкова есть и унылые, есть и высокие; что автор Руслана в то же время автор Годунова; и что никто не принуждает читателя в целой книге стихотворений твердить одно для него соблазнительное, когда, перевернув страницу, он найдет другое, впечатление которого исправит впечатление первого; вообще несправедливо быть строже к писателю, нежели к человеку; и ежели действие не вредит доброй славе одного, еще менее его описание может вредить доброй славе другого.

Тем менее, что выбор предмета не столько зависит от самого писателя, сколько от свойства его дарований; что упрекать в разврате эротического поэта так же несправедливо, как упрекать в жестокости поэта трагического. Неужели вы думаете, что Анакреон не желал быть Гомером, Проперций — Виргилием, Шольё — Расином и т. д.? Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разно-

образнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее. Но только Гомеры, Шекспиры являют нам полный мир в своих творениях. Дарования односторонние обрекают других на изображение частностей. Произведение одного имеет нужду быть поясненным, пополненным произведением другого, и писатели сего рода только в своей совокупности доставляют нам то нравственное впечатление, которое производит один многообразный писатель.

Или не читайте, или читайте всё: иначе вы будете всегда в заблуждении. Читать одного автора с частным дарованием все равно, что читать одну страницу в писателе многообъемлющем. Раскройте Шекспира на монологе злодея, искусными софизмами ободряющего себя к преступлению, остановитесь на нем — и Шекспир будет для вас проповедником злодеяния; но прочтите всё творение, прочтите всего Шекспира, и самая эта страница будет наставительна: так и книга односторонняя занимает не лишнее место в библиотеке.

Журналисты наши говорят часто о юных читателях и юных читательницах, которым может быть вредно такое-то и такое-то произведение. Кто с этим спорит? Но нянька не позволяет ребенку играть ножом. Благоразумные наставники не дают своим воспитанникам книги, несообразные с их летами. Когда ж мы уже вышли из-под надзора, вступили в свет и можем всё видеть и всё слышать, мы можем и всё читать; и как не мир, а мы сами виновны, когда злоупотребляем жизнию, так не писатели, а мы сами виноваты, когда злоупотребляем чтением.

До сих пор мы говорили о книгах, преимущественно посвященных изображению лиц и нравов, выражению страстей, чувств и впечатлений, но не говорили о книгах, писанных для доказательства того или другого мнения, книгах, писанных с положительною нравственною целью.

Книги сего рода подлежат тому же исследованию, что и первые. Мнение тогда только полезно и нравственно, когда оно справедливо; но всякий чувствует (не говоря уже о вреде, наносимом совершенно ложным нравственным понятием и который нельзя сравнивать со вредом, причиняемым неверным изображением характера, страсти или картины), всякий чувствует, что в подобных книгах развитие односторонней истины может иметь особенно

пагубное влияние. Сколько преступлений, сколько бедствий народных произошло от превратных нравственных мнений, от частных истин, принятых за общие! Не буду исчислять их. Скажу только, что мало истин не относительных, следственно, мало книг, писанных с нравственною целью, т. е. посвященных выражению одной избранной мысли, которых исключительное чтение не было бы вредно и влияние которых не было бы нужно уравновешивать чтением других, им противуречащих.

Заключим, и надеемся, так заключит с нами и читатель, что в книге безнравственна только ложь, вредна только односторонность; но ни лжи, ни односторонности не существует там, где литература деятельна, где ложное показание тотчас рождает улику, где решение нравственного вопроса тотчас вызывает исследования и противуречия, где публика не осуждена на чтение одной указанной книги.

Просим читателя судить о нравственном достоинстве Наложницы по правилам, нами изложенным, а не по правилам, исповедуемым г-дами журналистами, по нашему мнению, довольно необдуманным.

АНТИКРИТИКА

В 10-м № Телескопа 1831 года помещен разбор Наложницы, на который, хотя поздно, мы позволим себе несколько замечаний.

Критик, порицая, во-первых, самое имя поэмы, старается доказать, что, хотя не в названии дело, название много значит. «Имя не безделица», — говорит он: — «по имени встречают, а по уму провожают; но для того, чтобы проводить, без сомнения надобно прежде встретить».

Автор назвал поэму свою *Наложницей,* потому что не нашел названия точнее. Он не полагал его неблагопристойным, ибо его употребляют даже в учебных книгах. В любой из них прочтете: Турецкий султан имеет столько-то жен и столько-то *наложниц*. Он не почитал его низким, ибо оно употребляется поэтами. В Борисе Годунове Марина говорит Самозванцу: вверяюся тебе

> Не как раба желаний легких мужа,
> *Наложница* безмолвная твоя. —

Ежели не слово, то самый полный его смысл в ежедневном разговорном обращении. Все говорят, не краснея, о любовницах Людвига XIV. Должно заметить, что заменяют словом «любовница» другое, порицаемое критиком более в избежание педантизма, нежели неблагопристойности. Конечно, из двух однозначительных слов одно почитается пристойным, другое непристойным. Но кто немного подумает, тот увидит, что либо общество, кото-

рому они принадлежат преимущественно, либо нравы людей, у которых они чаще на языке, приобщают их к словам, не оскорбляющим стыдливости, или кладут на них печать отвержения; но слово «наложница», не принадлежащее языку разговорному, не употребительное нигде, слово книжное, может быть пристойным или непристойным только по существенному своему значению. Мы уже доказали, что светская утонченность не оскорбляется смыслом слова «наложница»; следовательно, автор поэмы под сим именем мог употребить его, не заслуживая порицания.

По имени встречают, говорит критик: это справедливо; но кому вредит автор, назвав поэму свою Наложницей, ежели в самом деле это название так ужасно? Одному себе. Многие, испугавшись имени, не прочтут сочинения и, что еще хуже, не купят его; но в таком случае автор не подвергается осуждению моралиста, а только литературный делец может сердечно пожалеть о неловкости писателя, не умеющего сбывать с рук свои сочинения.

«Сам сочинитель,— говорит далее критик (стр. 223),— кажется, чувствовал, что впечатление, им производимое, не совсем может быть выгодным, ибо поспешил вооружиться предисловием, в котором, рассуждая о нравственности литературных произведений, старается укрепить ее за новым своим произведением и тем обнаруживает желание предупредить соблазн, которого, очевидно, страшится». На странице же 238, изрекая окончательный суд поэме, критик объявляет ее *совершенно невинной*.

Следственно, критик в отношении к нравственности порицает в Наложнице одно название; но автор не защищает его в своем предисловии, он даже о нем не упоминает; следственно, это предисловие писано не с тою целью, которую предполагает критик. Настоящая цель его очевидна: желание решить вопрос, — в чем состоит нравственность литературных произведений?

Критик, разбирая предисловие, укоряет автора в том, что он почитает литературу наукою, а не искусством, что он предлагает искать в ней истины, а не изящного (стр. 229—230). «В изящном зрелище действительности,— говорит критик, — эстетическая нравственность литературных произведений. Они должны быть изящны, и довольно» (стр. 232).

Автору принадлежит вопрос, в чем состоит нравственность литературных произведений? Он говорит о литературе только в отношении ее к нравственности: он моралист, а не эстетик, и должен рассматривать литературу не как искусство, но как стихию, в одном случае вредоносную, в другом — благодетельную. Он не называет ее наукой, а уподобляет науке. Таковые подобия весьма позволены, и мы увидим ниже, что сам критик на них не скупится. Сравнение это довольно точно, ибо литература весьма немногих занимает, как искусство, как способ творить изящное; всех же остальных занимает она, как представление жизни, как самая жизнь, ибо философия сознала тождество бытия и мысли. Жизнь есть наука в обширном ее смысле, смысле, в котором принимает ее автор предисловия.

Сочинитель, говоря о нравственности литературных произведений, не ищет ее в их изяществе, потому что ищет условий нравственности для всех произведений словесности, а не для одних изящных. Изящное произведение всегда нравственно, положим; но оно может быть нравственным и не будучи изящным; что же в таком случае составляет его нравственность? Нельзя ли найти закона, обнимающего как изящные, так и неизящные творения? Автор видит его в истине показаний. С сим положением критик согласен, ежели оно относится к литературе вообще (стр. 232). Приходится ли оно к изящной? Посмотрим.

Что истинно, то нравственно, говорит автор предисловия. Нет, отвечает критик: что изящно, то нравственно; а в чем дело? В том, что в отношении к нравственности обе формулы однозначительны, с тою разницей, что одна объемлет всю литературу, а другая весьма немногие из ее произведений, с тою разницей, что первая идет прямо к делу, а другая требует объяснений. Критик и приводит оные, и, чтобы растолковать читателю, каким образом изящное всегда нравственно, он открывает ему — что бы вы думали? — что изящное всегда истинно. Вот слова его (стр. 232):

«Объяснимся подробнее. Какое существенное назначение всякого изящного творения? Воспроизведение действительной жизни по образцу изящества или, что то же, представление ее в совершенном равенстве с собою.

Мысль и действие разлагают элементы, из коих она слагается, порабощая их взаимно друг другу, но изящное произведение должно сдружать их в совершенную гармонию, точно так, как сдружены они рукою всехудожною в великом здании вселенной, которая есть образец высочайшего изящества».

Что говорит критик? — Что он признает мир действительный образцом высочайшего изящества; но, сказав выше, что нравственность литературных произведений в их изяществе, он признает его в то же время образцом высочайшей нравственности; из чего следует, что творение не может быть ни изящным, ни нравственным иначе, как верно отражая действительность, иначе, как будучи истинным.

«Неоспоримо, — продолжает критик, — что гармония, составляющая изящество великой вселенной, для нашего человеческого уха, постигающего ее только в отдельных частях и дробных отрывках, звучит нередко яркими диссонансами: но сии диссонансы спасаются в всеобщей симфонии бесчисленных аккордов бытия, открывающейся иногда и нам в минуты превыше-земного одушевления».

Что это значит, ежели не то, что, творя изящное, мы угадываем истинное, и что чем изящнее творение, тем оно истиннее? Ибо сам критик говорит, что в минуты превыше-земного одушевления, т. е. художественного творчества, нам открывается симфония бесчисленных аккордов бытия, т. е. что в эти минуты мы видим яснее настоящее устройство вселенной, следственно глядим на нее с точки зрения самой истинной?

Зачем же критик требует от сочинителя предисловия, чтобы он сказал: что изящно, то нравственно, а не что истинно, то нравственно, когда он сам первое положение доказывает последним? когда из собственных слов его явствует, что одно положение заключено в другом; когда одна формула частная, а другая всеобъемлющая, что именно было нужно для его рассуждения?

Из собственных доводов критика следует, что творение не может быть изящным иначе, как будучи истинным; но он объявил уже, что ежели оно изящно, оно нравственно; следовательно, ежели оно истинно, то тоже нравственно. Это рассуждение имеет всю ясность и всю силу матема-

тического доказательства и забавно напоминает аксиому: два количества, равные одному третьему, равны между собою. Это не вредит автору предисловия и доказывает ясно, что формула, им употребляемая, приходится литературе вообще и литературе изящной в особенности; следовательно, он употребил ту самую формулу, которую надлежало, ибо определено ею, в чем состоит нравственность литературных произведений как изящных, так и неизящных.

«Автор, — говорит далее критик (стр. 234), — горько жалуется на журналистов, которые требуют от поэтов, чтобы они воспевали добродетели, а не пороки, изображали лица, достойные подражания. Не можем не подивиться добродушию автора предисловия, который считает достойными опровержения такие нелепые требования. Не более следовало уделить внимания людям, называющим нравственными произведениями только те, в которых наказывается порок и награждается добродетель, ежели еще таковые люди существуют в наше время».

Предоставляем судить публике, существуют или нет предрассудки, которые опровергает автор предисловия; а ежели существуют, — чем предрассудок нелепее, тем он достойнее опровержения. Но когда бы сии предрассудки принадлежали даже и немногим, можно ли оставлять их без внимания в сочинении умозрительном? Что бы сказал критик о сочинителе курса математики, который пропустил бы в нем начальные теоремы, оправдываясь тем, что решение их довольно известно?

«Напрасно автор предисловия уверяет, что не все пороки имеют вид решительно гнусный. Шуточные стихи Панара, которыми он старается подкрепить мысль свою, ничего не доказывают. Ежели некоторые пороки кажутся нам иногда привлекательными, то это не почему иному, как потому, что представляются нам не в истинном виде. Сократ говаривал, что если бы добродетель могла явиться в человеческом образе, то нельзя бы было не полюбить ее всем сердцем; противное должно сказать о пороке: это положительное безобразие!»

Автор доказывает свое положение не одними стихами Панара, которые он выписывает не в довод, а в объяснение своей мысли. Наши добрые и злые качества так смежны, говорит он, что нельзя провести разделяющей

линии между ними. В этом случае отменно истинны стихи Панара:

> Trop de froideur est indolence,
> Trop d'activité turbulence,
> Trop de rigueur est dureté etc.

Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки: мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями; но должно заметить, что в самом увлечении нашем мы поклоняемся доброму началу, а не злому.

Автор показывает ясно, о каких пороках он говорит: о пороках, смежных с добродетелями, о пороках, могущих нас обмануть сходством своим с ними. Сколько есть людей, готовых принять в себе и в других расточительность за щедрость, упрямство за твердость, гордость за самочувствие и т. д. Кто сомневается в том, что пороки всегда остаются пороками и чем-нибудь да отличаются от добродетелей? Но ежели в действительном их присутствии мы можем обмануться, нас по необходимости может подвергнуть тому же заблуждению и их искусственное изображение. Отчего? — Оттого, что они не имеют вида решительно гнусного; оттого (поневоле повторяем фразу автора), что они сходствуют с добродетелями, к которым примыкают.

Желание Сократа не опровергает, а подтверждает замечания автора. Он говорит: добродетель прекрасна; но, желая, чтобы она приняла видимый образ и тем покорила сердца людские, он ясней показывает, что в действительности она, по его мнению, никогда не предстает нам в полной своей красоте, из чего (следуя примеру критика) мы можем заключить, что, по мнению Сократа, и порок никогда не предстает нам в полном своем безобразии. Одно из двух: либо Сократ сетует, что ни добродетель, ни порок не являются нам без примеси, либо он находит, что любовь к добродетели, отвращение от порока, т. е. законы нравственности, не довольно ясно истекают из воззрения на действительность; сии оба смысла в пользу автора предисловия и доказывают только, что во многих случаях не от сочинителя такого-то и такого-то произведения должно требовать больше осмотрительности, а от судей его больше справедливости или внимания.

«Хладнокровный отчет, передающий официальные извлечения из архивов соблазна и преступлений, сколько бы ни был справедлив и полон, есть произведение безобразное и безнравственное, или лучше: тем безобразнее и безнравственнее, чем справедливее и полнее».

В государствах, где судопроизводство публично, печатают уголовные процессы со всеми их подробностями; кажется, это в точном смысле извлечения из архивов соблазна и преступления. Никто, однакож, не подозревал до сих пор, что собрание уголовных процессов может иметь безнравственное влияние. Одни любострастные повести могут вредить нравственности; но автор сказал в своем предисловии, почему показания их неполны. Мы отвечали на все замечания критика касательно предисловия; доказали, что критик или не понял, или не хотел понять его, ибо он беспрестанно отклоняется от настоящего вопроса и говорит о законах изящного, когда дело идет о законах нравственности. Он не опровергает ни в чем автора предисловия и повторяет другими словами его мысли. Чтобы опровергнуть предисловие, следовало опровергнуть основную мысль его: *что истинно, то нравственно*. Не только он не опровергает оную, но и сам на нее опирается, как на неоспоримую аксиому. Он упрекает автора в смешении понятий, в том, что он не умеет отличить литературы изящной от литературы вообще. Этот упрек принадлежит ему с большой справедливостью, и мы произносим его не самопроизвольно, но основываясь на неоспоримых доказательствах. Читатель чувствует, что критика, заключающая в себе столько противоречий, такое отсутствие всякой последовательности в мыслях и доводах, с одной стороны подвергаясь нещадным уликам анализа, с другой может повеселить охотника до шуток; но орудие шутки сделалось в наше время слишком обыкновенным. Кто не смеется? Взгляните на наших полемиков! У всех на устах ядовитая улыбка Вольтера, у всех под пером его ирония. Мы приводили одни доказательства; нам это показалось убедительнее и новее.

Далее, в нескольких словах, критик отдает отчет в самой поэме и, пользуясь тем, что автор в своем предисловии полагает, что нравственность литературных произведений состоит в истине и полноте показания, он не находит в поэме ни полноты, ни истины, из чего заключает,

что поэма безнравственна, однако безвредна, потому что ничтожна. Зачем было автору видеть нравственность в истине? Критик поражает его собственным его орудием.— Не легче ли было бы ему, если б он находил ее в изяществе, как то требует его критика? Поэма, сказал бы он, весьма неизящна, следственно, по собственному сознанию автора, весьма безнравственна; но утешим его: она безвредна, потому что ничтожна.

Выписываем то, что может почесться положительным обвинением и просим читателя заглянуть в № 10 Телескопа, дабы увериться, что мы нисколько не ослабляем замечаний критика и, когда можно, пользуемся собственными его словами.

Вся поэма кажется ему самопроизвольным сцеплением случаев, следственно неестественной, потому что:

1-е. Елецкой, оледеневший в распутстве до хвастовства развратом, не мог воспламениться к Вере идеальною любовию.

2-е. Елецкой не мог обратить на себя внимания Веры только тем, что подал ей на бульваре уроненную перчатку.

3-е. Дядя Веры не мог сесть ошибкою в карету, подосланную Елецким, ибо знал в лицо своего лакея.

4-е. Вера не могла согласиться так скоро на побег с Елецким, оглашенным развратником, которого смуглая однодомка была ее знакомкой.

5-е. Приворотное питье обратилось в яд неведомо каким образом.

Поэма ничтожна, потому что, кроме Сары, все лица без физиогномии; а Елецкой не что иное, как темный силуэт Онегина.

1-е. Хвастовство развратом нисколько не показывает оледенелыности в распутстве. Хвастливость эта в особенности свойственна самой пылкой, самой неопытной молодости. Желание первенствовать между повесами не есть еще любовь к разврату; это не что иное, как дурно направленное славолюбие. Сей последний недостаток и выставлен в Елецком. Из него не следует сердечного охлаждения; напротив, он свидетельствует особенную способность к увлечению. Следственно, Елецкой весьма мог возгореться к Вере любовью, свойственною пылкому молодому человеку.

2-е. На это не нужно отвечать. Кто пересмотрит поэму, тот увидит, что не одна поданная перчатка обращает внимание Веры на Елецкого и что половины случаев, действующих на ее воображение, достаточно, чтобы вскружить голову даже и неромантической девушке.

3-е. Сесть в чужую карету, в чужие сани, заехать к незнакомым вместо знакомых, обманувшись легким сходством домов, — случаи весьма обыкновенные. В обществе ежедневно рассказывают анекдоты этого рода, и это случается без приготовления, среди белого дня, на всевозможном просторе; удивительно ли, что дядя Веры вдался в обман, когда все было придумано для удобности этого обмана, в тесноте театрального разъезда, в торопливости, с которою обыкновенно садятся в поданную карету, боясь, чтобы ее не отогнали? До того ли тут, чтобы подозрительно разглядывать физиогномию своего лакея? И зачем ее разглядывать? Из боязни романтического происшествия? Но в это время повесть Елецкого еще не была обнародована. Ныне, когда она напечатана, можно в подобном случае винить почтенных родственников в преступной неосмотрительности; но дядя Веры очень простителен.

4-е. Вера совсем не скоро соглашается на побег с Елецким: это согласие приготовлено всею повестью. Всякий беспристрастный читатель видит, что Вере не мудрено было влюбиться в Елецкого, а ежели она могла влюбиться, она могла и действовать, как влюбленная. Елецкой не развратник в глазах Веры; он в одном из разговоров с нею внушает ей понятие довольно выгодное о своем характере: он ей истолковывает, что его отступления происходили более от незрелости ума, нежели от испорченного сердца. Вера, уже к нему привязанная (ибо знакомство с Сарой не могло хладить любви ее к Елецкому, напротив подстрекнуть ее, возбудив в ней ревность), — Вера охотно слушает его извинения, охотно верит в совершенную его перемену, ибо приписывает ее любви, любви к ней, что довольно приятно женскому самолюбию. Елецкой оправдан ее сердцем, но для света, но для дяди он остается оглашенным развратником, и это самое заставляет Веру бежать с Елецким, ибо она чувствует, что никогда не вымолит у своего дяди согласия на их соединение. Как ей не довершить начатое? Как не

дать ему счастие, которое она уже безмолвно обещала, слушая влюбленные его признания? и когда Елецкой при первом ее отказе, вынужденном стыдливостью, а не сердечным убеждением, укоряет ее в кокетстве, она должна показать любовь свою на деле. Не одно красноречие Елецкого в разговоре 7-й главы убеждает ее к побегу, но все прежние, собственные ее неосторожности; это общая история всех увлечений, и нужно объяснить ее!

5-е. Правда, что автор поэмы не истолковывает, каким образом приворотное питье обратилось в яд. Ему показалось это ненужным. Столько рассказов о несчастных следствиях невежества, прибегающего к этим колдовским настоям, часто составленным из самых вредных растений! Самому автору внушена развязка его поэмы подобным рассказом. Он не хотел обременять своей повести лишними подробностями, полагаясь на проницательность читателя. Ежели это недостаток, его легко исправить. При втором издании автор сделает выноску, в которой разрешит это недоумение.

На общие суждения поэмы отвечать нельзя: у всякого свой вкус, свое чувство, свое мнение; только сходство Елецкого с Онегиным кажется довольно странным. Онегин человек разочарованный, пресыщенный; Елецкой страстный, романтический. Онегин отжил, Елецкой только начинает жить. Онегин скучает от пустоты сердца; он думает, что ничто уже не может занять его; Елецкой скучает от недостатка сердечной пищи, а не от невозможности чувствовать: он еще исполнен надежд, он еще верит в счастье и его домогается. Онегин неподвижен, Елецкой действует. Какое же между ними сходство? И вот как у нас критикуют! Вся поэма кажется критику произвольным сцеплением случаев, а во всей поэме только одна случайность: смерть Елецкого; но она, во-первых, оправдана множеством истинных примеров, отнимающих у нее особенную необычайность; во-вторых, она есть некоторым образом следствие главной ошибки Елецкого, уповавшего найти счастие в неровном союзе. Унизившись до товарищества с невежеством, он, так или иначе, все был бы его жертвою. Но просим критика найти роман, указать драму, где не было бы ничего случайного! И дельно ли требовать от сочинителя такого насилия? Случай в природе, как и характер. Поэма, вся основан-

ная на случайностях, и поэма вовсе без случайностей — произведения равно неестественные, равно подлежащие осуждению. Перчатка, уроненная Верой, обстоятельство такое же обыкновенное, как обед, как ужин, и в нем мудрено видеть особенную игру судьбы. Все же остальное в поэме: разговор в маскераде, подосланная карета, свидание на балах — все следствие любви и характера Елецкого: он действует и создает обстоятельства. Просим читателя заметить, что каждое из сих обстоятельств довольно обыкновенно и что только в своей совокупности они составляют повесть, поражающую воображение. Спрашивается: в чем искусство романиста, ежели не в этом? И есть ли другой способ быть вместе естественным и занимательным?

Критик оканчивает свои замечания следующими словами: «Считаем не нужным заниматься наружною отделкою сочинения. Дозорчивая наблюдательность Московского Телеграфа выклевала уже по зернышку все типографические опечатки и другие буквальные недосмотры, следственно поживиться уже нечем... Желаем, чтобы муза поэта, уважаемого нами более многих других, после прошедших неудачных опытов, изменив ложные понятия об изящном, захотела быть не тем, что ныне, а... невестою истинно прекрасного!»

Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следовательно, тонкую шутку над неблагонамеренною привязчивостию Московского Телеграфа. Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; заметим только, что они не на своем месте и что их могут принять за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно желание быть учтивым, и ежели встречаются выражения неприличия, в этом должно винить не критика, а неопытность его в слоге этого рода. Забавно только, что в единственном похвальном отзыве, которым он удостоил разбираемого им автора, виден тот же недостаток обдуманности, как и в его осуждениях: ежели все опыты сочинителя Наложницы были неудачны, за что же он его уважает?

ПЕРСТЕНЬ

В деревушке, состоящей не более как из десяти дворов (не нужно знать, какой губернии и уезда), некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, — словом, был счастлив; но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, другую оттягивал у него беспокойный сосед, известный ябедник. Скупому не был он в состоянии заплатить своего долга; против дельца не мог поддержать своего права, — конечно, бесспорного, но скудного наличными доказательствами. Заимодавец протестовал вексель, проситель с жаром преследовал дело, и бедному Дубровину приходило дозареза.

Всего нужнее было заплатить долг; но где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился однакож испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям, просил, умолял; но везде слышал тот же учтивый, а иногда и неучтивый отказ. Он возвратился домой с раздавленным сердцем.

Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, — правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика. Он у него не был, и тому причиною было не одно незнакомство. Опальский (помещик, о ко-

тором идет дело) был человек отменно странный. Имея около полутора тысяч душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. Пятнадцать лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Управитель, без его приказания и почти насильно, пристроил к ней две комнаты, которые с третьею, прежде существовавшею, составили его жилище. В соседстве были о нем разные толки и слухи. Многие приписывали уединенную жизнь его скупости. В самом деле, Опальский не проживал и тридцатой части своего годового дохода, питался самою грубою пищею и пил одну воду; но в то же время он вовсе не занимался хозяйством, никогда не являлся на деревенские работы, никогда не поверял своего управителя, — к счастию, отменно честного человека. Другие довольно остроумно заключили, что, отличаясь образом жизни, он отличается и образом мыслей и подозревали его дерзким философом, вольнодумным естествоиспытателем, тем более что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и коренья, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Мнению их противоречила его набожность: Опальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однакож, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть, и угрызения совести были причиною странной жизни Опальского.

Как-бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. «Прощай, Саша! — сказал он со вздохом жене своей, — еще раз попробую счастья», — обнял ее и сел в телегу, запряженную тройкою.

Поместье Опальского было верстах в пятнадцати от деревушки Дубровина; часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Опальский. Дорога была узкая и усеяна кочками и пнями. Во многих местах не проходила его тройка, и Дубровин был принужден отпрягать лошадей. Вообще нельзя было ехать иначе, как шагом. Наконец он увидел отшельническую обитель Опальского.

Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами и удостоверился, что слухи о странном помещике частью были справедливы. В углах стояли известные скелеты, стены были обвешаны пуками сушеных трав и кореньев, на окнах стояли бутыли и банки с разными настоями. Некому было о нем доложить: он решился войти в другую комнату, отворил двери и увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.

Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Молча стоял он у дверей, ожидая, чтобы Опальский кончил или оставил свою работу; но время проходило, Опальский не прерывал ее. Дубровин нарочно закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, — Опальский не слышал его шарканья. Бедность застенчива. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал и, ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень; наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Опальского, упал на стол перед самым его носом.

Опальский вздрогнул и вскочил с своих кресел. Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Он взял со стола перстень, с судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Он был высокого роста; редкие волосы покрывали его голову, коей обнаженное темя лоснилось; живой румянец покрывал его щеки; он в одно и то же время казался моложав и старообразен. Прошло еще несколько мгновений. Опальский опустил голову и казался погруженным в размышление; наконец сложил руки, поднял глаза к небу; лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность. «Господи, да будет воля твоя!» — сказал он. «Это ваш перстень, — продолжал Опальский, обращаясь к Дубровину, — и я вам его возвращаю... Я мог бы не возвратить его... что прикажете?»

Дубровин не знал, что думать: но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавя, что в нем его единственная надежда.

«Вам надобно десять тысяч, — сказал Опальский, — завтра же я вам их доставлю; что вы еще требуете?»

«Помилуйте, — вскричал восхищенный Дубровин, — что я могу еще требовать? — Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных! Жена, дети опять с хлебом; я, она до гробовой доски будем помнить...»

«Вы ничем мне не обязаны, — прервал Опальский. — Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень... (тут лицо его снова омрачилось) этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною... Давно не видал я этого перстня... Он был моим... но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу: завтра я к вашим услугам».

Едучи домой, Дубровин был в неописанном волненьи. Неожиданная удача, удача, спасающая его от неизбежной гибели, конечно, его радовала, но некоторые слова Опальского смутили его сердце. «Что это за перстень? — думал он. — Некогда принадлежал он Опальскому; мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает! Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?» Чем он более думал, тем он становился беспокойнее; все казалось странным и загадочным Дубровину.

«Опять отказ?— сказала бедная Александра Павловна, видя мужа своего, входящего с лицом озабоченным и пасмурным. — Боже! что с нами будет!» Но, не желая умножить его горести: «утешься, — прибавила она голосом более мирным, — бог милостив, может быть, мы получим помощь, откуда не чаем».

«Мы счастливее, нежели ты думаешь, — сказал Дубровин. — Опальский дает десять тысяч... Все слава богу».

«Слава богу? отчего же ты так печален?»

«Так, ничего... Ты знаешь этого Опальского?»

«Знаю, как ты, по слухам... но ради бога...»

«По слухам... только по слухам. — Скажи, как достался тебе этот перстень?»

«Что за вопросы! Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузмина, которую ты знаешь: что тут удивительного?»

Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Опальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне, — сказала она. — Какая скрытная! никогда не говорила мне об Опальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».

На другой день, рано поутру, Опальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные десять тысяч и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?»

С этих пор Опальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «что прикажете» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однакож он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Опальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина.

Дубровин прогуливался однажды с женою и Опальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы, по-настоящему, должно было построить дом, — сказал Дубровин, — я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» — На другое утро крестьяне Опальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый, светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством.

Не буду рассказывать, по какому именно поводу Опальский помог ему развести сад, запастись тем и другим: дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено.

Опальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил

хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны!»

Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Опальского, что перстень был подарен ей одною из ее знакомок, которой принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным.

Дубровин расспрашивал об Опальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость; знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал.

Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Опальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Опальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве; признавался, что ему от роду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее; но ничто не объясняло таинственного перстня.

Беспрестанно навещаемый Опальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома (Опальский собирал травы в окрестности), он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть:

«Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши; жизнь могла для него быть одним долгим праздником... Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели.

Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией (это было при Филиппе II), рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в кабалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься.

Тут увидел он в первый раз донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонною, но мало-помалу стала холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно дон-Педро де-ла-Савина владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками; он удалился, но не оставил надежды обладать ею.

Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу; он провел уже последнюю линию: напрасно!.. фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннею усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало... Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза... Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

«Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию... Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Мариею», — отвечал он голосом твердым.

«Можешь, но с условием».

Антонио задумался. «Согласен! — сказал он, наконец, — но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?»

«Будет, — отвечал дух. — Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились: тень пошла, — Антонио за нею.

Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось... Наконец земля под ним вздрогнула... Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бессчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов», — отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона.

Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от бога, добра и спасения; адский хохот раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец прежний свист раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии.

Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовию; шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки.

Лаская Марию, Антонио не оставлял свои кабалистические занятия; он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой: он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказа-

нием, быть может легким в сравнении с его преступлениями.

Антонио подарил его Марии; он ей открыл тайную его силу. «Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве, — сказал он ей: — как все земное, я сам подвластен этому перстню; не употребляй во зло моей доверенности; люби, о люби меня, моя Мария».

Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящею рядом с его соперником. На руке его был магический перстень. «Что, проклятый чернокнижник, — закричал дон-Педро, увидя входящего Антонио: — ты хотел разлучить меня с Марией, но попал в собственные сети. Вон отсюда! жди меня в передней!»

Антонио должен был повиноваться. Каким унижениям подвергнул его дон-Педро! Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы. Мария стала супругою его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио: видеть Марию, которую любил, несмотря на ужасную ее измену. Дон-Педро это заметил. «Ты слишком заглядываешься на жену мою, — сказал он. — Присутствие твое мне надоело: я тебя отпускаю». Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию. «Ты еще здесь? — закричал дон-Педро: — ступай, ступай, не останавливайся!»

Роковые слова! Антонио пошел, но не мог уже остановиться; двадцать раз в продолжение сга пятидесяти лет обошел он землю. Грудь его давила усталость; голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям; Антонио не умирал, и ноги его все шагали. «Постой!» — закричал ему, наконец, какой-то голос. Антонио остановился, к нему подошел молодой путешественник. «Куда ведет эта дорога?» — спросил он его, указывая направо рукой, на которой Антонио увидел свой перстень. «Туда-то...» — отвечал Антонио. «Благодарю», — сказал учтиво путешественник и оставил его. Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего: он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух, — Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило

его темя... Он стоял, мучился адскою жаждою, и смерть не прерывала его мучения. Пятьдесят лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...»

Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Опальском. Дубровин нисколько не верил колдовству. Он терялся в догадках. «Как я глуп, — подумал он напоследок: — это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие».

Он остался при этой мысли; прошло несколько месяцев. Наконец Опальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Опальский был очень болен.

Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка.

«Марья Петровна, вы ли это?— вскричала Александра Павловна, обнимая вошедшую, довольно пожилую женщину. — Какими судьбами?»

— «Еду в Москву, моя милая, и, хотя ты 70 верст в стороне, заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька, — прибавила она, указывая на пригожую девицу, вошедшую вместе с нею. — Не узнаешь? ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович, привел бог еще раз увидеться!»

Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели. Стали вспоминать старину; мало-помалу дошли и до настоящего. «Какой у вас прекрасный дом, — сказала Марья Петровна ,— вы живете господами». — «Слава богу! — отвечала Александра Павловна, — а чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Опальскому». — «И моему перстню», — прибавил Владимир Иванович. «Какому Опальскому? какому перстню? — вскричала Марья Петровна. — Я знала одного Опальского; помню и перстень... Да нельзя ли мне <его> видеть?»

Дубровин подал ей перстень. «Тот самый, — продолжала Марья Петровна: — перстень этот мой, я потеряла его тому назад лет восемь... О, этот перстень напоминает мне много проказ! Да что за чудеса были с вами?» Дубровин глядел на нее с удивлением, но передал ей свою

повесть в том виде, в каком мы представляем ее нашим читателям. Марья Петровна помирала со смеху.

Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. Опальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидел ее в первый раз на святках одетою испанкой, влюбился в нее и даже начинал ей нравиться, когда она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения; но он совершенно лишился ума, когда заметил, что Марья Петровна благосклонно слушает одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина (дон-Педро де-ла-Савина), за которого она потом и вышла замуж. Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. Она согласилась притвориться в него влюбленною. Он подарил ей свой таинственный перстень; посредством его разным образом издевались над бедным чародеем: то посылали его верст за двадцать пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе; всего рассказывать не нужно: читатель догадается, как он пересоздал все эти случаи своим воображением и как тяжелые минуты казались ему годами. Наконец Марья Петровна над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее.

«Возьмите же ваш перстень, — сказал Дубровин: — с чужого коня и среди грязи долой». — «И, батюшка, что мне в нем?» — отвечала Марья Петровна. «Не шутите

им, — прервала Александра Павловна, — он принес нам много счастья: может быть, и с вами будет то же». — «Я колдовству не верю, моя милая, а ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке: ее беде одно чудо поможет».

Дубровины знали, в чем было дело: Дашенька была влюблена в одного молодого человека, тоже страстно в нее влюбленного, но Дашенька была небогатая дворяночка, а родные его не хотели слышать об этой свадьбе; оба равно тосковали, а делать было нечего.

Тут прискакал посланный от Опальского и сказал Дубровину, что его барин желает как можно скорее его видеть. «Каков Антон Исаич?» — спросил Дубровин. — «Слава богу, — отвечал слуга: — вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно, но теперь он здоров и спокоен».

Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина: «Любезный Дубровин, — сказал он ему, — кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся!.. Вы, верно, заметили расстройство моего воображения... Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, — вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..»

Он остановился, и заметно было, что долгая речь его утомила: «Преступления мои велики, — продолжал он после долгого молчания. — Так! хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное... Но и мечтательные страдания мои были велики! Их возложит на весы свои бог милосердый и праведный».

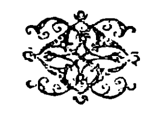
Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Дубровин оставил его наедине с Опальским.

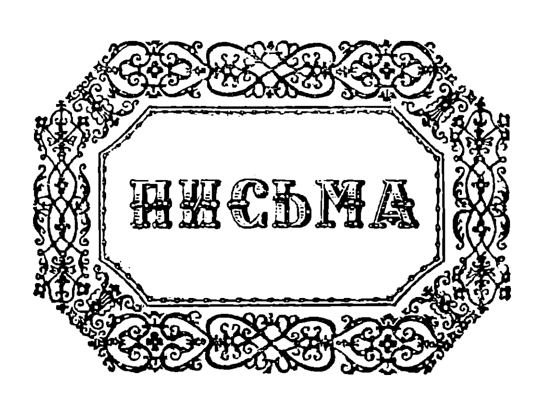
«Он скончался, — сказал священник, выходя из комнаты, — но успел совершить обязанность христианина. Господи, приими дух его с миром!»

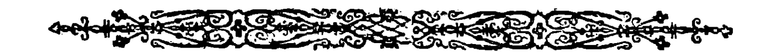
Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея

наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня; словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу.

Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят бога помиловать душу их благодетеля.




ПИСЬМА



1

А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ

<1814 — начало 1816 г., Петербург.>

Дражайшая маменька,

Я только что получил ваше письмо и не могу выразить вам радость, которую я ощутил, видя, что вы меня попрежнему любите и прощаете мне мои проступки. Мне в самом деле необходимо было это утешение. Оно примирило меня с самим собою, и мне теперь ясно, во сколько раз это предпочтительнее всех удовольствий рассеяния. Я провожу каждый праздник у дяди, который был так добр, что взял для меня учителя математики, и я уже сделал в ней довольно значительные успехи. Осмелюсь ли я повторить вам мою просьбу касательно морской службы. Я умоляю вас, милая маменька, об этой мне милости. Мои интересы, которые вам так дороги (говорите вы), этого настоятельно требуют. Я знаю, насколько вашему сердцу должно быть тяжело, что я вступлю в службу столь опасную. Но скажите, знаете ли вы какое-либо место в мире, хотя бы вне области океана, где бы жизнь человека не была подвержена тысяче опасностей, где бы смерть не похитила сына у матери, отца, сестру? Везде малейшее дуновение может разрушить эту слабую пружину, которую мы называем жизнью. Что бы вы ни говорили, милая маменька, есть вещи, от нас зависящие; другими же управляет провидение. Наши поступки, наши мысли зависят от нас; но я не могу допустить, чтобы наша смерть зависела от выбора службы на суше или на

море. Как! возможно ли, чтобы судьба, которая предназначила конец моему поприщу, исполнила бы свой приговор на Каспийском море и не могла бы поразить меня в Петербурге? Я умоляю вас, милая маменька, не противиться моей наклонности. Я не могу служить в гвардии: ее слишком берегут. Во время войны она ничего не делает и остается в постыдном бездействии. И вы назовете это жизнью? Нет, беспрерывный покой не может называться жизнью. Верьте мне, милая маменька, можно привыкнуть ко всему, кроме бездействия и скуки. Я бы даже предпочел в полном смысле несчастие — невозмутимому покою. По крайней мере живое и глубокое чувство захватило бы мою душу, по крайней мере сознание моих бедствий удостоверяло бы меня в том, что я существую. В самом деле, я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, чтобы меня занимало, — иначе я скучаю. Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию, — произведению человеческого гения, повелевающего стихиями. А затем я буду писать к вам, как можно чаще, о всем том, что увижу прекрасного. Подумайте еще, милая маменька, что вместо того чтобы увидеться через пять лет, мы увидимся через два года. Через два года, милая маменька, я вас обниму, буду смотреть на вас, буду говорить с вами! Милая маменька, понимаете ли вы мою радость? Останетесь ли вы к ней равнодушною? Мне это не верится. И если даже судьба предназначила мне погибнуть через несколько лет на море, я бы имел случай увидеть вас, я бы насладился этим счастьем. Несколько мгновений радости, счастья не заменят ли они собою длинный ряд скучных годов? Итак, милая маменька, я надеюсь, что вы не откажете мне в этой милости. Вы говорите, что вы очень довольны моею склонностью к умственным занятиям; но признайтесь, что нет ничего смешнее молодого человека, который выставляется педантом, считает себя автором, потому что перевел две-три странички Эстеллы Флориана, в которых до тридцати орфографических ошибок и напыщенный слог, который он почитает живописным, и убежден в том, что он вправе критиковать все, не будучи еще в состоянии оценивать те красоты, которыми

он восхищается, и проникаться ими; потому только, что другие восторгаются ими, он превозносит их с упоением, между тем как он даже никогда не читал их. В самом деле, милая маменька, во мне есть этот недостаток, и я стараюсь от него отделаться. Я часто восхвалял Илиаду, хотя читал ее в Москве и в таком раннем возрасте, когда не мог не только быть проникнутым ее красотами, но даже понимать ее содержания. Я слышу, что ею везде восхищаются, и расхваливаю ее, как обезьяна. Я знаю людей, которые не дают себе труда мыслить и предоставляют общественному мнению установить их убеждение, и эти люди, не исключая и моего благородия, очень похожи на автоматов, приводимых в движение посредством пружин, сокрытых в их теле. Вот чрезвычайно длинное письмо, я боюсь вам уже слишком наскучить.

Прощайте, милая маменька. Дай бог нам скоро увидеться. Остаюсь вашим покорным слугою, по обычаю, и вашим послушным, нежным, благодарным сыном, по сердцу.

Евгений Боратынский.

P. S. Прошу вас прислать мне полотенца, ибо у меня осталось только два.

2

В. А. ЖУКОВСКОМУ

<Конец 1823 г. Роченсальм.>

Вы налагаете на меня странную обязанность, почтенный Василий Андреевич; сказал бы трудную, ежели бы знал вас менее. Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной.

В судьбе моей всегда было что-то особенно несчастное, и это служит главным и общим моим оправданием: все содействовало к уничтожению хороших моих свойств и к развитию злоупотребительных. Любопытно сцепление происшествий и впечатлений, сделавших меня, право, из очень доброго мальчика почти совершенным негодяем.

12 лет вступил я в Пажеский корпус, живо помня последние слезы моей матери и последние ее наставления, твердо намеренный свято исполнять их, и, как говорится в детском училище, служить примером прилежания и доброго поведения.

Начальником моего отделения был тогда некто Кр<истафо>вич (он теперь уже покойник, чем на беду мою еще не был в то время), человек во всем ограниченный, кроме в страсти своей к вину. Он не полюбил меня с первого взгляда и с первого дня вступления моего в корпус уже обращался со мною как с записным шалуном. Ласковый с другими детьми, он был особенно груб со мною. Несправедливость его меня ожесточила: дети самолюбивы не менее взрослых, обиженное самолюбие требует мщения, и я решился отмстить ему. Большими каллиграфическими буквами (у нас был порядочный учитель каллиграфии) написал я на лоскутке бумаги слово *пьяница* и прилепил его к широкой спине моего неприятеля. К несчастию, некоторые из моих товарищей видели мою шалость и, как по-нашему говорится, на меня доказали. Я просидел три дня под арестом, сердясь на самого себя и проклиная Кр<истафо>вича.

Первая моя шалость не сделала меня шалуном в самом деле, но я был уже негодяем в мнении моих начальников. Я получал от них беспрестанные и часто несправедливые оскорбления; вместо того чтобы дать мне все способы снова приобрести их доброе расположение, они непреклонною своею суровостию отняли у меня надежду и желание когда-нибудь их умилостивить.

Между тем сердце мое влекло к некоторым из моих товарищей, бывших не на лучшем счету у начальства; но оно влекло меня к ним не потому, что они были шалунами, но потому, что я в них чувствовал (здесь нельзя сказать замечал) лучшие душевные качества, нежели в других. Вы знаете, что резвые мальчики не потому дерутся между собою, не потому дразнят своих учителей и гувернеров, что им хочется быть без обеда, но потому, что обладают большею живостию нрава, большим беспокойством воображения, вообще большею пылкостию чувств, нежели другие дети. Следовательно, я не был еще извергом, когда подружился с теми из моих сверстников, которые сходны были со мною свойствами; но

начальники мои глядели на это иначе. Я не сделал еще ни одной особенной шалости, а через год по вступлении моем в корпус они почитали меня почти чудовищем.

Что скажу вам? Я теперь еще живо помню ту минуту, когда, расхаживая взад и вперед по нашей рекреационной зале, я сказал сам себе: буду же я шалуном в самом деле! Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила; радостное чувство свободы волновало мою душу, мне казалось, что я приобрел новое существование.

Я пропущу второй год корпусной моей жизни: он не содержит в себе ничего замечательного; но должен говорить о третьем, заключающем в себе известную вам развязку. Мы имели обыкновение после каждого годового экзамена несколько недель ничего не делать — право, которое мы приобрели не знаю каким образом. В это время те из нас, которые имели у себя деньги, брали из грязной лавки Ступина, находящейся подле самого корпуса, книги для чтения, и какие книги! Глориозо, Ринальдо Ринальдини, разбойники во всех возможных лесах и подземельях! И я, по несчастию, был из усерднейших читателей! О, если б покойная нянька Дон-Кишота была моею нянькою! С какою бы решительностью она бросила в печь весь этот разбойничий вздор, стоющий рыцарского вздора, от которого охладел несчастный ее хозяин! Книги, про которые я говорил, и в особенности Шиллеров Карл Моор, разгорячили мое воображение; разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно-беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имеющее целию сколько возможно мучить наших начальников.

Описание нашего общества может быть забавно и занимательно после главной мысли, взятой из Шиллера, и остальным, совершенно детским его подробностям. Нас было пятеро. Мы сбирались каждый вечер на чердак после ужина. По общему условию, ничего не ели за общим столом, а уносили оттуда все съестные припасы, которые возможно было унести в карманах, и потом свободно пировали в нашем убежище. Тут-то оплакивали мы вместе судьбу свою, тут выдумывали разного рода проказы, которые после решительно приводили в действие. Иногда наши учители находили свои шляпы при-

битыми к окнам, на которые их клали, иногда офицеры наши приходили домой с обрезанными шарфами. Нашему инспектору мы однажды всыпали толченых шпанских мух в табакерку, от чего у него раздулся нос; всего пересказать невозможно. Выдумав шалость, мы по жеребью выбирали исполнителя, он должен был отвечать один, ежели попадется; но самые смелые я обыкновенно брал на себя, как начальник.

Спустя несколько времени, мы (на беду мою) приняли в наше общество еще одного товарища, а именно сына того камергера, который, я думаю, вам известен как по моему, так и по своему несчастию. Мы давно замечали, что у него водится что-то слишком много денег; нам казалось невероятным, чтоб родители его давали 14-летнему мальчику по 100 и по 200 р. каждую неделю. Мы вошли к нему в доверенность и узнали, что он подобрал ключ к бюро своего отца, где большими кучами лежат казенные ассигнации, и что он всякую неделю берет оттуда по нескольку бумажек.

Овладев его тайною, разумеется, что мы стали пользоваться и его деньгами. Чердашные наши ужины стали гораздо повкуснее прежних: мы ели конфекты фунтами; но блаженная эта жизнь недолго продолжалась. Мать нашего товарища, жившая тогда в Москве, сделалась опасно больна и желала видеть своего сына. Он получил отпуск и в знак своего усердия оставил несчастный ключ мне и родственнику своему Х <анык>ову: «Возьмите его, он вам пригодится», — сказал он нам с самым трогательным чувством, и в самом деле он нам слишком пригодился!

Отъезд нашего товарища привел нас в большое уныние. Прощайте, пироги и пирожные, должно ото всего отказаться. Но это было для нас слишком трудно: мы уже приучили себя к роскоши, надобно было приняться за выдумки; думали и выдумали!

Должно вам сказать, что за год перед тем я нечаянно познакомился с известным камергером, и этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, на которых я мог бы основать систему предопределения. Я был в больнице вместе с его сыном и, в скуке долгого выздоровления, устроил маленький кукольный театр. Навестив однажды моего товарища, он очень любовался моею игрушкою и прибавил, что давно обещал такую же маленькой

своей дочери, но не мог еще найти хорошо сделанной. Я предложил ему свою от доброго сердца; он принял подарок, очень обласкал меня и просил когда-нибудь приехать к нему с его сыном; но я не воспользовался его приглашением.

Между тем Х<анык>ов, как родственник, часто бывал в его доме. Нам пришло на ум: что возможно одному негодяю, возможно и другому. Но Х<анык>ов объявил нам, что за разные прежние проказы его уже подозревают в доме и будут за ним присматривать, что ему непременно нужен товарищ, который по крайней мере занимал бы собою домашних и отвлекал от него внимание. Я не был, но имел право быть в несчастном доме. Я решился помогать Х<анык>ову. Подошли святки, нас распускали к родным. Обманув, каждый по-своему, дежурных офицеров, все пятеро вышли из корпуса и собрались у Молинари. Мне и Х<анык>ову положено было итти в гости к известной особе, исполнить, если можно, наше намерение и притти с ответом к нашим товарищам, обязанным нас дожидаться в лавке.

Мы выпили по рюмке ликеру для смелости и пошли очень весело негоднейшею в свете дорогою.

Нужно ли рассказывать остальное? Мы слишком удачно исполнили наше намерение; но по стечению обстоятельств, в которых я и сам не могу дать ясного отчета, похищение наше не осталось тайным, и нас обоих выключили из корпуса с тем, чтоб не определять ни в какую службу, разве пожелаем вступить в военную рядовыми.

Не смею себя оправдывать; но человек добродушный и, конечно, слишком снисходительный, желая уменьшить мой проступок в ваших глазах, сказал бы: вспомните, что в то время не было ему 15 лет; вспомните, что в корпусах то только называют кражею, что похищается у своих, а остальное почитают законным приобретением (des bonnes prises) и что между всеми своими товарищами едва ли нашел бы он двух или трех порицателей, ежели бы счастливо исполнил свою шалость; вспомните, сколько обстоятельств исподволь познакомили с нею его воображение. Сверх того, не более ли своевольства в его поступке? Истинно порочный, следовательно уже несколько опытный и осторожный, он бы легко расчел, что подвергает себя большой опасности для выгоды довольно маловаж-

ной; он же не оставил у себя ни копейки из похищенных денег, а все их отдал своим товарищам. Что его побудило к такому негодному делу? Корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением. Из сего следует то единственно, что он способнее других принимать всякого роду впечатления и что при другом воспитании, при других, более просвещенных и внимательных наставниках, самая сия способность, послужившая к его погибели, помогла бы ему превзойти многих из своих товарищей во всем полезном и благородном.

По выключке из корпуса я около года мотался по разным петербургским пансионам. Содержатели их, узнавая, что я тот самый, о котором тогда все говорили, не соглашались держать меня. Я сто раз готов был лишить себя жизни. Наконец поехал в деревню к моей матери. Никогда не забуду первого с нею свидания! Она отпустила меня свежего и румяного; я возвращаюсь сухой, бледный, с впалыми глазами, как сын Евангелия к отцу своему. *Но еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть и тек нападе на выю его и облобыза его.* Я ожидал укоров, но нашел одни слезы, бездну нежности, которая меня тем более трогала, чем я менее был ее достоин. В продолжение четырех лет никто не говорил с моим сердцем: оно сильно встрепетало при живом к нему воззвании; свет его разогнал призраки, омрачившие мое воображение; посреди подробностей существенной гражданской жизни я короче узнал ее условия и ужаснулся как моего поступка, так и его последствий. Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни.

18 лет вступил я рядовым в гвардейский Егерский полк, по собственному желанию; случайно познакомился с некоторыми из наших молодых стихотворцев, и они сообщили мне любовь свою к поэзии. Не знаю, удачны ли были опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны. Через год, по представлению великого князя Николая Павловича, был я произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, где нахожусь уже четыре года.

Вы знаете, как неуспешны были все представления, делаемые обо мне моим начальством. Из году в год меня

представляли, из году в год напрасная надежда на скорое прощение меня поддерживала; но теперь, признаюсь вам, я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны. Я должен ожидать в бездействии, по крайней мере душевном, перемены судьбы моей, ожидать, может быть, еще новые годы! Не смею подать в отставку, хотя, вступив в службу по собственной воле, должен бы иметь право оставить ее, когда мне заблагорассудится; но такую решимость могут принять за своевольство. Мне остается одно раскаяние, что добровольно наложил на себя слишком тяжелые цепи. Должно сносить терпеливо заслуженное несчастие — не спорю; но оно превосходит мои силы, и я начинаю чувствовать, что продолжительность его не только убила мою душу, но даже ослабила разум.

Вот, почтенный Василий Андреевич, моя повесть. Благодарю вас за участие, которое вы во мне принимаете; оно для меня более нежели драгоценно. Ваше доброе сердце мне порукою, что мои признания не ослабят вашего расположения к тому, который много сделал негодного по случаю, но всегда любил хорошее по склонности.

Всей душой вам преданный

Боратынский.

3

А. А. БЕСТУЖЕВУ И К. Ф. РЫЛЕЕВУ

<Весна 1824 г. Роченсальм.>

Милые собратья Бестужев и Рылеев! Извините, что не писал к вам вместе с присылкою остальной моей дряни, как бы следовало честному человеку. Я уверен, что у вас столько же добродушия, сколько во мне лени и бестолочи. Позвольте приступить к делу. Возьмите на себя, любезные братья, классифицировать мои пьесы. В первой тетради они у меня переписаны без всякого порядка, особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре; я желал бы, чтобы мои пьесы по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они

до известной степени способны. Второе: уведомьте, какие именно стихи не будет пропускать честная цензура; я, может быть, успею их переделать. Третье: Дельвиг мне пишет, что «Маккавеи» мне будут доставлены через тебя, любезный Рылеев, пришли их поскорее: переводить, так переводить. Впрочем, я душевно буду рад, ежели без меня обойдутся. Четвертое: о други и братья! постарайтесь в чистеньком наряде представить деток моих свету, — книги, как и людей, часто принимают по платью.

Прощайте, мои милые, желаю всего того, чем сам не пользуюсь: наслаждений, отдохновений, счастия, — жирных обедов, доброго вина, ласковых любовниц. Остаюсь со всею скукою финляндского житья душевно вам преданный

Боратынский.

4

В. А. ЖУКОВСКОМУ

<5 марта 1824 года.>

Болезнь, почтенный Василий Андреевич, препятствовала мне изъявить вам мою признательность за трогательные строки, доставленные мне Дельвигом. Вы меня благодарите в них за письмо мое, как будто я обязал вас, потрудившись написать его, и забывая, что вы одни мне благодетельствуете, помните только, что я несчастлив и имею нужду в утешении. Поверьте, что мне не тягостна благодарность, особенно благодарность к вам. Я любил вас, плакал над вашими стихами, прежде нежели мог предвидеть, что мне могут быть полезны прекрасные качества вашего сердца.

До меня дошли такие хорошие вести о моем деле, что, право, я боюсь им верить. Препоручаю судьбу мою вам, моему Гению-покровителю. Вы начали, вы и довершите. Вы возвратите мне общее человеческое существование, которого я лишен так давно, что даже отвык почитать себя таким же человеком, как другие; и тогда я скажу вместе с вами: хвала поэзии, поэзия есть добродетель, поэзия есть сила; но в одном только поэте, в вас, соединены все ее великие свойства.

Да будут дни ваши так прекрасны, как ваше сердце, как ваша поэзия. Лучшего желания не может придумать до глубины души вам преданный

Боратынский.

5

Н. В. ПУТЯТЕ

<25 мая 1824 г. Вильманстранд.>

Боратынский был у вас, желая засвидетельствовать вам свое почтение и благодарить за участие, которое вы так благородно принимаете в нем и в судьбе его. Когда лучшая участь даст ему право на более короткое знакомство с вами, чувство признательности послужит ему предлогом решительно напрашиваться на ваше доброе расположение, а покуда он остается вашим покорнейшим слугою.

6

Н. В. ПУТЯТЕ

<11 октября 1824 г. Кюмень.>

Получил я письмо ваше, любезный мой покровитель, и не умею иначе благодарить вас за благосклонное ваше предложение, как принимая его с живейшею благодарностью. Меня точно бы пугала ваша столица, ежели б вы не подавали мне надежды найти в вас и наставника и защитника. Впрочем, что бы меня ни ожидало в Гельзингфорсе, случай, доставляющий мне удовольствие провести несколько дней с вами и утвердить столько же для меня лестное, сколько приятное знакомство, я почитаю очень счастливым случаем в моей жизни.

Не зная имени вашего, я не мог употребить в заглавии письма моего обыкновенной формы писем; извините меня в этом и будьте уверены, что это нисколько не ослабляет истинного уважения и совершенной преданности, с которыми остаюсь, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою

Е. Боратынский.

1824-го года
11 октября.

7

А. И. ТУРГЕНЕВУ

<31 октября 1824 г. Гельсингфорс.>

Ваше превосходительство
Милостивый государь
Александр Иванович!

Если б я не был глубоко тронут великодушным вашим участием, я не имел бы сердца. Не скажу ни слова более о моей признательности: вы ни на кого не похожи; нет такого человеконенавистника, который не помирился бы с людьми, встретя вас между ними. Многое мог бы я прибавить, но мое дело не судить, а чувствовать.

Арсений Андреевич прав, желая повременить представлением; настоящая тому причина решительна. На последней докладной записке обо мне рукою милостивого монарха было отмечено так: *не представлять впредь до повеления.* Вот почему я и не был представлен в Петербурге. Вы видите, что после такого решения Арсений Андреевич иначе как на словах не может обо мне ходатайствовать и что он подвергается почти верному отказу, если войдет с письменным представлением. Едва ли не лучше подождать; два месяца пройдут неприметно, а я привык уже к терпению.

Хотя ваше превосходительство сами удостоиваете осведомляться о поэтических моих занятиях, может быть я поступлю нескромно, ежели скажу вам, что я написал небольшую поэму и ежели попрошу у вас позволения доставить вам с нее список. Стихи все мое добро, и это приношение было бы лептою вдовицы.

С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства покорный слуга

Боратынский.

Гельзингфорс.
Октября 31 дня.

8

П. И. КОЗЛОВУ

7 января <1825 г. Гельсингфорс.>

Вот и до нового года дожили, мой любезный Козлов; желаю, чтобы он был для вас счастливым и обильным прекрасными вдохновениями. Получил вашего «Чернеца», прочитал его с особым удовольствием; некоторые места меня глубоко тронули. Вы называете его любимым детищем вашим, и вы имеете полные основания любить его: это прекрасное, по моему мнению, произведение. Положения в нем отличаются силой, слог полон жизни и блещет красками; в нем вы излили вашу душу. Места, где вы подражаете Байрону, значительно его превосходят, насколько я мог это угадать. Четыре стиха «Гяура»:

А руки жадные дрожали
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты, они
К груди прижалися одни, —

вышли прекрасно по-русски.

Но в чем бы сам Байрон захотел вам подражать, — это в окончании вашей поэмы. Оно в особенности говорит воображению, оно полно особенного, национального романтизма, и мне сдается, что вы первый так хорошо его уловили. Продолжайте итти тем же путем, мой милый поэт, и вы совершите чудеса. Возвращу вам вашу тетрадь на будущей неделе; я ее списываю для себя, ибо я хочу не только вас читать, — я хочу вас изучать.

Мне совестно говорить об «Эде» после «Чернеца»; но худо ли, хорошо ли, а все же я окончил мое писанье. Мне кажется, что я увлекся немного тщеславием; мне не хотелось итти избитой дорогой, я не хотел подражать ни Байрону, ни Пушкину; вот почему я и вдался в разные прозаические подробности, усиливаясь их излагать стихами, и вышла у меня лишь рифмованная проза. Я желал быть оригинальным, а оказался только странным!

Скажите нашей небесной Пери, что я настолько тронут ее воспоминанием обо мне, насколько может быть тронут земной посланец, что я целую полу ее платья, переливающегося тысячами оттенков, и умею ценить ее сердце, одаренное тысячью добродетелей.

Дела мои идут все хуже и хуже. Находясь в Петербурге, вы знаете, что мой теперешний покровитель выходит в отставку, тем самым мое повышение отсрочено по крайней мере на год. Все это располагает меня более чем когда-нибудь к рифмоплетству, служа мне доказательством, что настоящее место мое в мире поэтическом, ибо нет для меня места в мире действительном.

Мы получаем здесь почти все журналы. В «Мнемозине» есть полемическая статья Кюхельбекера, на мой взгляд прекрасно продуманная и прекрасно написанная. Наши Фрероны отвечали на нее неумно и с недоверием. Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного. и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом. Согласитесь, что это довольно грустно. Следовало бы поддержать «Мнемозину», следовало бы дать ход журналу Полевого; без этого репутация наших произведений будет в зависимости от степени расположения к нам вышеназванных господ. Поговорите об этом с нашими; это дело меня сильно волнует.

Прощайте, мой дорогой друг. Передайте мое почтение госпоже Козловой и пожелайте ей от меня счастливого нового года.

Весь ваш *Е. Боратынский.*

P. S. Дела изменились: генерал остается, и я оживаю.

9

А. И. ТУРГЕНЕВУ

<25 января 1825 г. Гельсингфорс.>

Ваше превосходительство
Милостивый государь
Александр Иванович!

Арсений Андреевич поехал в Петербург 24-го сего месяца, подав мне возможные надежды на свое покровительство; но я очень хорошо знаю, что вашему только

ходатайству обязан я добрым его расположением. Теперь, когда моя участь так решительно зависит от его представительства, не откажитесь напомнить ему об участии, которым вы меня удостоиваете, и тем поощрить Арсения Андреевича к исполнению его обещаний.

Препровождаю при сем стихотворную повесть, о которой упоминал я в одном из моих писем. Ежели вы оцените не произведение, а чувство, с которым я приношу его вашему превосходительству, вы будете довольны мною и примете благосклонно этот незначительный памятник живой моей благодарности.

С истинным почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейшим слугою

Е. Боратынский.

Гельзингфорс.
Генваря 25. 1825.

Письмо это доставит вашему превосходительству адъютант Арсения Андреевича Муханов. Ежели по благорасположению вашему ко мне вы пожелаете подробно осведомиться о моих обстоятельствах — он коротко их знает и будет удовлетворительно отвечать на все вопросы вашего превосходительства.

10

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

<Конец января — начало февраля 1825 г. Кюмень.>

Милый Вильгельм, письмо это тебе доставит Николай Васильевич Путята, человек, уважающий твои дарования, твой нрав и твое сердце и потому желающий с тобою сблизиться. Мы вместе жили в Гельзингфорсе более двух месяцев; ежели подробности, до меня касающиеся, покажутся тебе занимательными, можешь его расспросить; он тебе расскажет все, что невозможно уместить в письме.

Давно, и слишком давно, я к тебе не писал; но ты сам виноват, не доставя мне своего адреса. Послав мне

1-ю часть «Мнемозины», ты не удостоил меня ни двумя строчками твоего рукописания; несмотря на то, я желал поблагодарить тебя за приятный для меня подарок, но не мог, ибо не знал места твоего жительства, и решился для возобновления нашей переписки дожидаться того времени, когда ты до такой бы степени прославился своим журналом, чтобы можно было надписывать письма к тебе, как некогда надписывали их к математику Эйлеру: *Г-ну Кюхельбекеру в Европе.* Не сердись за эту шутку, старый товарищ, а прими мой сердечный привет от доброго сердца.

Я читал с истинным удовольствием в 3-й части «Мнемозины» разговор твой с Булгариным. Вот как должно писать комические статьи! Статья твоя исполнена умеренности, учтивости и, во многих местах, истинного красноречия. Мнения твои мне кажутся неоспоримо справедливыми. Тебе отвечали глупо и лицемерно.

Не оставляй твоего издания и продолжай говорить правду. Я уверен, что оно более и более будет расходиться; но я советовал бы тебе сделать его по крайней мере ежемесячным. Ты знаешь, что журнальная литература получает всю свою занимательность от занимательности вседневных обстоятельств, об которых она судит и рядит; пропущено время — потеряно действие.

Посылаю тебе кое-что для твоего журнала: послал бы более, ежели б имел, но чем богат, тем и рад. Прощай, милый Вильгельм; отвечай мне, сделай милость; напиши, как живешь и что с тобою. Наше старое знакомство дает мне право требовать от тебя некоторой доверенности; я тот же сердцем, надеюсь, что и ты не переменился.

Преданный тебе *Боратынский.*

11

Н. В. ПУТЯТЕ

<2-я половина февраля — начало марта 1825 г. Кюмень.>

В шумной Москве ты не забыл финляндского отшельника, милый Путята, спасибо тебе: да благо ти будет и долголетен будеши на земли. Жаль мне, что ты не застал Кюхельбекера: он человек занимательный по многим

отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву. Человек вместе достойный уважения и сожаления, рожденный для любви к славе (может быть, и для славы) и для несчастия. Спасибо тебе за попечение твое о моих стихотворных детках: ты всех их пристроил пристойным образом. Очень меня обяжешь, ежели исполнишь свое обещание и пришлешь «Горе от ума». Не понимаю, за что москвичи сердятся на Грибоедова и на его комедию: титул ее очень для них утешителен и содержание отрадно. Что сказать тебе о моей Кюменской жизни? Гельзингфорские воспоминания наполняют пустоту ее. С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведенные с тобою и с Мухановым. Вспоминаю общую нашу Альсину с грустным размышлением о судьбе человеческой. Друг мой, она сама несчастна: это роза, это Царица цветов; но поврежденная бурею — листья ее чуть держатся и беспрестанно опадают. Боссюет сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: *La voilà telle que la mort nous l'a faite* *. Про нашу Царицу можно сказать: *La voilà telle que les passions l'ont faite* **. Ужасно! Я видел ее вблизи, и никогда она не выйдет из моей памяти. Я с нею шутил и смеялся; но глубоко унылое чувство было тогда в моем сердце. Вообрази себе пышную мраморную гробницу, под счастливым небом полудня, окруженную миртами и сиренями, — вид очаровательный, воздух благоуханный; но гробница — все гробница, и вместе с неё̈ю печаль вливается в душу: вот чувство, с которым я приближался к женщине, тебе еще больше, нежели мне, знакомой.

Я заболтался, да не мудрено заболтаться. Прощай, мой милый, кружись в вихре большого света московского, но не забывай уединенного друга, которому твое воспо-

---

* Вот во что превратила ее смерть *(франц.)*.
** Вот во что превратили ее страсти *(франц.)*.

минание очень дорого. Ты позабыл доставить мне твой адрес. Я прошу Муханова переслать тебе это письмо. Прощай, обнимаю тебя от всей души.

Е. Боратынский.

12

Н. В. ПУТЯТЕ

<Март 1825 г. Кюмень.>

Получил я второе письмо твое из Москвы, милый Путята, спасибо тебе. С живым участием прочел я его первые строки. Ежели мое сравнение удачно, то твое распространение трогательно; но холод гробницы не совсем еще умертвил твою душу: она жива для дружбы и для всего доброго и прекрасного. Заблуждения нераздельны с человечеством, и иные из них делают больше чести нашему сердцу, нежели преждевременное понятие о некоторых истинах.

Нам надобны и страсти и мечты,
В них бытия условие и пища.
Не подчинишь одним законам ты
И света шум и тишину кладбища.

Зачем же раскаиваться в сильном чувстве, которое ежели сильно потрясло душу, то, может быть, развило в ней много способностей, дотоле дремавших? Не хочешь ли видеть предметы с новой точки зрения и, вместо нашей гробницы, не вспомнишь ли ты Шекспиров плуг, раздирающий и плодотворящий землю.

Но не кончишь, когда дело пойдет на сравнения. Фея твоя возвратилась уже в Гельзингфорс. Кн. Львов провожал ее. В Фридрихсгаме расписалась она в почтовой книге таким образом: *Le prince Chou-Cheri, hértiier présomptif du royaume de la Lune, avec une partie de sa cour et la moitié de son sérail* *. Веселость природная или судорожная нигде ее не оставляет. Виделся я с генералом при проезде его через Ф<ридрихс>гам. Кажется, мне мало надежды на производство; но так и быть! Муханов оставил адъютантство, и корпусная квартира потеряла для

* Принц Шу-Шери, предполагаемый наследник Лунного королевства, с частью своего двора и половиной своего сераля *(франц.)*.

меня половину своей приманчивости. Ты один теперь у меня остаешься при Гельзингфорском дворе. Остальные лица для меня более нежели чужды.

Не заедешь ли ты ко мне в Кюмень. Я живу в доме полкового командира и имею особую комнату. То-то бы ты меня обрадовал!

Пишу новую поэму. Вот тебе отрывок описания бала в Москве:

Блистает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Гудят смычки; толпа гостей;
С приличной важностию взоров,
В чепцах узорных, распашных,
Ряд пестрый барынь пожилых
Сидит. Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,
С тупым вниманием глядят.
Кружатся дамы молодые,
Пылают негой взоры их;
Огнем каменьев дорогих
Блестят уборы головные.
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают.
Вокруг пленительных Харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
С волненьем ловят каждый взгляд:
Шутя несчастных и счастливых
Из них волшебницы творят.
В движеньи все. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Кавалерист крутит усы,
Франт штатский чопорно острится.

13

Н. В. ПУТЯТЕ

29 марта <1825 г. Кюмень.>

Я поклепал на тебя в моем сердце, милый Путята; думал, что ты приехал уже в Гельзингфорс, не повидавшись со мною. Письмо твое много меня порадовало: приезжай, приезжай, обниму тебя с нежнейшею дружбою.

По какому случаю ты ждешь письма от генерала, чтоб возвратиться в корпусную квартиру? Неужели и ты хочешь оставить Финляндию? На кого же ты меня оставишь? Сколько перемен произошло в два месяца!

Благодарю тебя за похвалы моему отрывку. В самой поэме ты узнаешь Гельзингфорские впечатления. *Она* моя героиня. Стихов 200 уже у меня написано. Приезжай, посмотришь и посудишь, и мне не найти лучшего и законнейшего критика.

Московская цензура либо невинна, как пятилетняя девочка, либо весела, как пьяная сводня; можно ли позволить напечатать такую непристойную поэму, как Леда. Неужели Одоевской вытиснул под ней мое имя? Сохрани боже! мне нельзя будет показать глаз читающим дамам. Пиши после этого! Леда моя публично целуется со своим Лебедем, а буре шуметь не позволено. Неисповедимы судьбы твои, о цензура русская!

На Руси много смешного; но я не расположен смеяться, во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца. С самого детства я тяготился зависимостью и был угрюм, был несчастлив. В молодости судьба взяла меня в свои руки. Все это служит пищею гению; но вот беда: я не гений. Для чего ж все было так, а не иначе? На этот вопрос захохотали бы все черти.

И этот смех служил бы ответом вольнодумцу; но не мне и не тебе: мы верим чему-то. Мы верим в прекрасное и добродетель. Что-то развитое в моем понятии для лучшей оценки хорошего, что-то улучшенное во мне самом — такие сокровища, которые не купят ни богач за деньги, ни счастливец счастием, ни самый гений, худо направленный.

Прощай, милый Путята, обнимаю тебя от всей души.

Боратынский.

14

И. И. КОЗЛОВУ

<Апрель 1825 г. Кюмень.>

Воистину воскрес, почтенный и любезный Иван Иванович, и у нас о том слухи носятся, да полно, верить ли? У вас в просвещенной столице, конечно, это лучше знают,

нежели в нашей темной глуши. Благодарю за милое письмо, очень рад, что, начиная писать ко мне по-русски, вы и меня разрешаете на то же. По большей части мы говорили с вами по-французски, оттого-то я и начал с вами переписку на языке, которого от долгого неупотребления я позабыл правописание и самые обороты. Возвращаюсь вместе с вами на отечественную почву.

Полк наш нынешним летом будет в Петербурге. У меня сердце трепещет от радости, когда подумаю, что скоро буду в кругу истинных друзей моих и обниму вас, милого брата-поэта. Ваша «Венециянская ночь» без лести прелестна! В ней роскошная мечтательность искусно сливается с мечтательностью мрачною. Описание Венеции исполнено какой-то полуденной неги; а место, где красавица направляет гондолу свою к морю, едва ли не лучшее во всей пьесе. Так мне кажется, и я без обиняков говорю свое мнение, потому что вы сами к тому меня пригласили. Жду с нетерпением «Чернеца» и благодарю за похвалы отрывку из «Эды». В третьей части я воспользовался вашими советами и старался в ней поместить более лирических движений, нежели в двух первых.

«Элисейские поля» писаны назад тому года четыре: это французская шалость, годная только для альманаха. Я до половины написал новую небольшую поэму. Что-то из нее выйдет! Главный характер щекотлив, но смелым бог владеет. Вот что говорят в Москве об моей героине:

Кого в свой дом она манит?
Не записных ли волокит,
Не новичков ли миловидных?
Не утомлен <ли> слух людей
Молвой побед ее бесстыдных
И соблазнительных связей?

И вот что я прибавляю:

Беги ее: нет сердца в ней!
Страшися вкрадчивых речей
Обворожительной приманки,
Влюбленных взглядов не лови:
В ней жар упившейся вакханки,
Горячки жар, не жар любви!

Вы говорите о наших журналистах; но, слава богу, мы здесь не получаем ни одного журнала, и мне никто не мешает любить поэзию. Полевого я видел только раз,

перед отъездом его в Москву: он мне показался энтузиастом вроде Кюхельбекера. Ежели он бредит, то бредит от доброй души и по крайней мере добросовестен. Всего досаднее Вяземский. Он образовался в беспокойные времена междуусобий Карамзина с Шишковым, и военный дух не покидает его и ныне:

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои:
Не так ли славный вождь и друг Екатерины
Орлов еще любил кулачные бои?

Это экспромт; и я думаю, по стихам оно заметно. Прощайте.

Преданный вам *Боратынский.*

15

А. И. ТУРГЕНЕВУ

<9 мая 1825 г. Кюмень.>

Ваше превосходительство
милостивый государь
Александр Иванович!

Наконец я свободен и вам обязан моею свободою. Ваше великодушное, настойчивое ходатайство возвратило меня обществу, семейству, жизни! Примите, ваше превосходительство, слабое воздаяние за великое добро, сделанное мне вами, примите несколько слов благодарности, вам, может быть, не нужных, но необходимых моему сердцу. Вот уже несколько дней, как все около меня дышит веселием: от души меня поздравляют добрые мои товарищи, и вам принадлежат их поздравления! Скоро возвращуся я в мое семейство, там польются слезы радости, и вы их исторгнете! Да наградит вас бог и ваше сердце.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть

вашего превосходительства,
милостивый государь,
покорнейший слуга
Евгений Боратынский.

Кюменьгород.
Маия 9 дня 1825.

16

Н. В. ПУТЯТЕ

<Нач. августа 1825 г. Петербург.>

Виноват, милый Путята, виноват, но не сердцем, истинно к тебе привязанным, а нравом беспечным и ленивым. Давно не писал к тебе, но не переставал о тебе думать, не переставал вспоминать о нашей гельзингфорской жизни и о дружеском твоем появлении в Кюмени.

Ты можешь себе вообразить, как меня изумило и обрадовало неожиданное свидание с Агр<афеной> Фед<оровной>, с Мисинькой и, наконец, с Каролиною Левандер, которая вовсе было вышла из моей памяти. Я уже два раза их видел. Аграфена Федоровна обходится со мною очень мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и ее слушать, я ищу и жажду этого мучительного удовольствия. В сентябре думаю побывать в Гельзингфорсе, чтобы поблагодарить генерала за мое воскрешение и пожить с тобою.

Многие подробности оставляю до первой почты. Письмо это доставит тебе Аграфена Федоровна. Она очень любезно вызвалась на это. Она же может сообщить тебе, почему я не успевал к тебе писать, почему не приехал в Парголово и проч. и проч.

Проводил я Муханова в Москву: он поехал беспокойный и грустный и будет таковым повсюду. Какой несчастный дар — воображение, слишком превышающее рассудок! Какой несчастный плод преждевременной опытности сердце, жадное счастия, но уже неспособное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний! Таково положение Муханова, и мое, и большей части молодых людей нашего времени.

Через несколько дней мы возвращаемся в Финляндию, я этому почти рад: мне надоело беспричинное рассеяние, мне нужно взойти в себя, а взошед в себя, я, наверно, встречусь с тобою и чаще стану к тебе писать. Ты, я думаю, видишь по слогу этого письма, в каком беспорядке мои мысли. Прощай, милый Путята, до досуга, до здравого смысла и, наконец, до свидания. Спешу к ней: ты будешь подозревать, что и я несколько увлечен. Несколько, правда; но я надеюсь, что первые часы уединения воз-

вратят мне рассудок. Напишу несколько элегий и засну спокойно. Поэзия чудесный талисман: очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары. Прощай, обнимаю тебя.

Боратынский.

Письмо, приложенное здесь, я сначала думал вручить Магдалине; но мне показалось, что в нем поместил опасные подробности. Посылаю его по почте, а ей отдаю в запечатанном конверте лист белой бумаги. Как будет наказано ее любопытство, если она распечатает мое письмо! Прощай.

17

А. С. ПУШКИНУ

<Первая половина декабря 1825 г. Москва.>

Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твое к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях.

Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина, но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться, — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани.

Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу

привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление.

Вяземского нет в Москве; но я на-днях еду к нему в Остафьево и исполню твое препоручение. Духов Кюхельбекера читал. Не дурно, да и не хорошо. Веселость его не весела, а поэзия бедна и косноязычна. Эду для тебя не переписываю, потому что она на-днях выйдет из печати. Дельвиг, который в П<етербур>ге смотрит за изданием, тотчас доставит тебе экземпляр и, пожалуй, два, ежели ты не поленишься сделать для меня, что сделал для Рылеева. Посетить тебя живейшее мое желание; но бог весть, когда мне это удастся. Случая же, верно, не пропущу. Покаместь будем меняться письмами. Пиши, милый Пушкин, а я в долгу не останусь, хотя пишу к тебе с тем затруднением, с которым обыкновенно пишут к старшим.

Прощай, обнимаю тебя. За что ты Левушку называешь Львом Сергеевичем? Он тебя искренно любит, и, ежели по ветрености как-нибудь провинился перед тобою — твое дело быть снисходительным. Я знаю, что ты давно на него сердишься; но долго сердиться не хорошо. Я вмешиваюсь в чужое дело, но ты простишь это моей привязанности к тебе и твоему брату.

Преданный тебе *Боратынский*.

Адрес мой: в Москве, у Харитона в Огородниках, дом Мясоедовой.

18

А. С. ПУШКИНУ

<5—20 января 1826 г. Москва.>

Посылаю тебе «Уранию», милый Пушкин; не велико сокровище; но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия. Однакож позволь тебе указать на

пьесу под заглавием: «Я есмь». Сочинитель мальчик лет осмнадцати и, кажется, подает надежду. Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком темная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это, или худо; я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиэтику на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову. Как ты отделал элегиков в своей эпиграмме! Тут и мне достается, да и поделом; я прежде тебя спохватился и в одной ненапечатанной пьесе говорю, что стало очень приторно

Вытье жеманное поэтов наших лет. —

Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет истинно поэтический, достойный тебя. Говорят, что, когда это известие дошло до Парнасса, и Камоэнс вытаращил глаза. Благослови тебя бог и укрепи мышцы твои на великий подвиг.

Я часто вижу Вяземского. На-днях мы вместе читали твои мелкие стихотворения, думали пробежать несколько пьес и прочли всю книгу. Что ты думаешь делать с Годуновым? Напечатаешь ли его, или попробуешь его прежде на театре? Смерть хочется его узнать. Прощай, милый Пушкин, не забывай меня.

Е. Боратынский.

19

П. В. ПУТЯТЕ

<Около 19 января 1826 г. Москва.>

Спасибо тебе, милый Путята, за твои письма. Одно из них принесло двойную пользу: доставило мне большое удовольствие и успокоило твою матушку, которая

некоторое время не получала о тебе известия и несколько горевала.

Не мудрено, что от тебя ускользнуло описание Финляндии, которое ты нашел в «Телеграфе». Оно писано не в Гельзингфорсе, а в Москве. На-днях выйдет моя «Эда», и я тотчас пришлю к тебе экземпляр. Любезного Буткова, нежного обожателя Ф. В. Булгарина, благодарю за замечание; но прибавлю свое. В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно всходят до небес. В прозе я виноват, а в стихах едва ли не прав. Между тем вот ему на потеху маленькое посланьице к его приятелю:

В своих листах душонкой ты кривишь,
Уродуешь и мненья и сказанья;
Приятельски дурачеству кадишь,
Завистливо поносишь дарованья;
Дурной твой нрав дурной приносит плод:
Срамец, срамец! все шепчут. — Вот известье!
Эх, не тужи, уж это мой расчет:
Подписчики мне платят за бесчестье.

Я думаю послать хорошо переплетенный экземпляр «Эды» генералу. Я позабыл поздравить его с новым годом; а теперь уж поздно. Мне этого очень совестно. Я бы не хотел, чтоб он мог подумать, что я позабыл моего благодетеля. Негодная поэтическая беспечность!

Я скучаю в Москве. Мне несносны новые знакомства. Сердце мое требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжелое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодною иронией. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю.

Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! и когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне мое малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Благодарю Александра за незабвение; а я тебя и его очень помню.

Боратынский.

20

Н. А. ПОЛЕВОМУ

<25 ноября 1827 г. Мара.>

Получил я, любезный Николай Алексеевич, «Дива», «Онегина» и мои стихотворения. «Див», как мне кажется, вами оценен беспристрастно в «Телеграфе». Подолинский, конечно, с талантом. Про «Онегина» что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев. Что касается до меня, то не могу сказать, как я вам обязан. Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе. Много, много благодарен. Довершите ваше одолжение, исполнив еще одну покорнейшую просьбу. Пошлите барону Антону Антоновичу Дельвигу 600 экземпляров. На большой Миллионной, в доме г-жи Эбелинг. Между нами особые счеты и отношения. Остальными не откажитесь располагать по вашему усмотрению. Для отсылки такого количества экземпляров, разумеется, нужны деньги; может быть, вы теперь не имеете готовых, а потому я пишу к моему тестю, чтоб он доставил вам 100. Я вам без того много должен. Позвольте вас уверить, что ежели не окупится издание, я все равно буду исправным должником. При выпуске издания сделайте одолжение доставить моему тестю 12 экз<емпляров>, в том числе 1 на александрийской бумаге. Это для раздачи моим московским родным. Вас же, любезный Николай Алексеевич, прошу доставить по экземпляру к<нязю> Вяземскому, Дмитриеву, Погодину, попросите вашего братца принять от меня на память мои мелочи, а ваш крепостной экземпляр удостойте поставить в вашей библиотеке между Батюшковым и В. Л. Пушкиным. Пришлите мне еще 8 экземпляров. Сколько комиссий! Беда иметь дело с стихотворцем. Простите мне все это во имя господа Феба.

Прощайте, обнимаю вас от всей души.

Е. Боратынский.

P. S. 600 экземпляров, как я думаю, по почте отправить будет чересчур дорого, нельзя ли по какой-нибудь оказии?

Адрес: Милостивому государю Николаю Алексеевичу Полевому в Большой Мещанской, за Сухаревой башней, в доме Поля, в Москве.

21

А. С. ПУШКИНУ

<Конец февраля — начало марта 1828 г. *Москва.*>

Давно бы я писал к тебе, милый Пушкин, ежели бы знал твой адрес и ежели бы не поздно пришла мне самая простая мысль написать: Пушкину в Петербург. Я бы это, наверно, сделал, ежели б отъезжающий Вяземский не доставил мне случай писать к тебе — при сей верной оказии. В моем Тамбовском уединении я очень о тебе беспокоился. У нас разнесся слух, что тебя увезли, а как ты человек довольно увозимый, то я этому поверил. Спустя некоторое время я с радостью услышал, что ты увозил, а не тебя увозили. Я теперь в Москве сиротствующий. Мне, по крайней мере, очень чувствительно твое отсутствие. Дельвиг погостил у меня короткое время. Он много говорил мне о тебе: между прочим, передал мне одну твою фразу, и ею меня несколько опечалил. — Ты сказал ему: «Мы нынче не переписываемся с Боратынским, а то бы я уведомил его», — и проч. — Неужели, Пушкин, короче прежнего познакомясь в Москве, мы стали с тех пор более чуждыми друг другу? — Я, по крайней мере, люблю в тебе по-старому и человека, и поэта.

Вышли у нас еще две песни «Онегина». Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего «Онегина»; но большее число его не понимает. Ищут романической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностию вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les bénisse! * Я думаю, что у нас в России поэт только

---

* Но пусть их чорт возьмет и благословит бог! *(франц.)*

в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие. Портрет твой в «Северных Цветах» чрезвычайно похож и прекрасно гравирован. Дельвиг дал мне особый оттиск. Он висит теперь у меня в кабинете, в благопристойном окладе. Василий Львович пишет романтическую поэму. Спроси о ней у Вяземского. Это совершенно балладическое произведение. Василий Львович представляется мне Парнасским Громобоем, отдавшим душу свою романтическому бесу. Нельзя ли пародировать балладу Жуковского? Между тем прощай, милый Пушкин! Пожалуйста, не поминай меня лихом.

22

Н. В. ПУТЯТЕ

<Апрель(?) 1828 г. Москва.>

Я перед тобой смертельно виноват, мой милый Путята: отвечаю на письмо твое через три века; но лучше поздно, нежели никогда. Не думай, однакож, чтобы я имел неблагодарное сердце: мне мила и дорога твоя дружба, но что ты станешь делать с природною неаккуратностью?

Прости, мой милый, так создать
Меня умела власть господня:
Люблю до завтра отлагать,
Что сделать надобно сегодня!

Не гожусь я ни в какую канцелярию, хотя недавно вступил в Межевую; но, слава богу, мне дела мало; а то было бы худо моему начальнику.

Благодарю тебя за твою дружескую критику. Замечания твои справедливы в частности; но ежели б мы были вместе, я, может быть, доказал бы тебе, что некоторые из моих перемен хороши для целого. Впрочем, я никак

не ручаюсь за справедливость своего мнения. Поэты по большей части дурные судьи своих произведений. Тому причиной чрезвычайно сложные отношения между ими и их сочинениями. Гордость ума и права сердца в борьбе беспрестанной. Иную пьесу любишь по воспоминанию чувства, с которым она писана. Переправкой гордишься, потому что победил умом сердечное чувство. Чему же верить? Одним я недоволен в письме твоем: оно не совсем дружеское. Ты пишешь ко мне как к постороннему, которому боишься наскучить, говоришь много обо мне и о себе ни слова. Что твоя Альсина? Все ли попрежнему держит тебя в плену? Кстати, я слышал, что А<рсений> А<ндреевич> сделан министром внутренних дел; остаешься ли ты при нем? Думаешь ли побывать в красной Москве? Я теперь постоянный московский житель. Живу тихо, мирно, счастлив моею семейственною жизнью, но, признаюсь, Москва мне не по сердцу. Вообрази, что я не имею ни одного товарища, ни одного человека, которому мог бы сказать: помнишь? с кем бы мог потолковать нараспашку. Это тягостно. Жду тебя, как дождя майского. Здешняя атмосфера суха, пыльна неимоверно. Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые. Волокитство доставляет молодому свободному человеку почти везде(?) небольшое рассеяние: он переливает из пустого в порожнее с какой-нибудь пригожей дурой, и горя ему мало. Человек же семейный уже не способен к этой ребяческой забаве; ему нужна лучшая пища, ему необходим бодрый товарищ, равносильный ему умом и сердцем, любезный сам по себе, а не по мелочным отношениям мелочного самолюбия. Приезжай к нам, мой милый Путята, ты подаришь меня истинно счастливыми минутами. Прощай, прости великодушно мою лень и прочие мои недостатки. Люби меня за то, что я люблю тебя душевно. Твой

Е. Боратынский.

Адрес мой: На Никитской, у прихода Малого Вознесения, дом Энгельгардта.

Я пришлю Магдалине экземпляр, но не поздно ли? Доставил ли тебе Дельвиг экземпляр от меня?

23

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Май 1829 г. Москва.>

Василий Львович доставил мне ваш подарок — экз<емпляр> «Станции». Приношу усерднейшую мою благодарность за этот знак вашего воспоминания. Вы обещали заняться полным собранием ваших сочинений; не отлагайте: оно принесет вам выгоду во всех возможных смыслах, а нам будет что почитать и о чем поговорить. Пушкин уехал в Грузию. Когда я получил письмо ваше, в котором вы у него просите «Полтаву», его уже не было в Москве. «Полтава» вообще менее нравится, чем другие поэмы Пушкина: ее критикуют вкривь и вкось. Странно! Я говорю это не потому, чтобы чрезмерно уважал суждения публики и удивлялся, что на этот раз оно оказалось погрешительным; но «Полтава», независимо от настоящего ее достоинства, кажется, имеет то, что доставляет успех: почтенный титул, занимательность содержания, новость и народность предмета. Я, право, уже не знаю, чего надобно нашей публике? Кажется, Выжигиных! Знаете ли вы, что разошлось 2000 экз<емпляров> этой глупости? Публика либо вовсе одуреет, либо решительно очнется и спросит с благородным негодованием: за кого меня принимают? У меня до вас просьба. Ежели вы имеете еще несколько лишних экз<емпляров> вашего портрета, подарите мне один. Д. Давыдов хитростию у меня выманил тот, который вы мне прежде дали, хотел его срисовать, но вместо того удержал подлинник и прямо говорит: не отдам. Вы имеете право сказать: on se m'arrache*. Прощайте, любезный князь, надеюсь, что ваши домашние здоровы и что вы теперь спокойнее сердцем. Княгине свидетельствую усердное мое почтение.

Е. Боратынский.

---

* Меня разрывают на части *(франц.)*.

24

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<29 ноября 1829 г. Мара.>

Доставь, душа моя, эти стихи Максимовичу и поблагодари от меня за милое его письмо. Не отвечаю ему за недосугом и спеша отправить на почту мой посильный оброк его альманаху. В последнем моем письме я непростительно забыл благодарить твою маменьку за намерение прислать мне Вальтер-Скоттовскую новинку. Я, кажется, ее уже имею: это — Charles le Téméraire *, не правда ли? По приложенным стихам ты увидишь, что у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову. Прощай, мой милый, обнимаю тебя преусердно, разумеется, что также свидетельствую мое почтение всему твоему дому, мне очень, очень любезному.

Е. Боратынский.

25

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Вторая половина ноября 1830 г. Москва.>

Спорить с вами не могу, любезный князь, как ни желал бы поспорить. Оставаться в Остафьеве покуда благоразумнее, чем ехать в Москву. Приглашение мое было немного ветрено, но его внушило сильное желание вас видеть. Благодарю вас за дружественное и лестное письмо ваше, но поверьте, что вы меня еще более тронули своим участием, нежели одобрительным вашим отзывом о моем новом труде, хотя я высоко ценю ваше одобрение. Степную прогулку вашу я уже отправил Дельвигу и, судя по известной его нерасторопности, думаю, что стихотворение ваше придет во-время. Оно исполнено красок и чувства. Такая поэзия лучше хлору очищает воздух. Вы мне освежили им душу, и я вам очень признателен за то, что вы через меня его переслали в «Северные Цветы». Не знаю,

* Карл Смелый *(франц.)*.

что отвечать вам на предложение ваше издавать Русских классиков или стариков. Я мало писал в прозе, и сколько раз за нее ни принимался, всегда неудачно. Терпение мое истощалось на втором листе. По совести, я никак за себя отвечать не могу. Примусь за дело и попробую свои силы. Позвольте мне взяться за Ломоносова. Имея мало затейливости в уме, я думаю, что мне лучше удастся статья важная, нежели игривая. Что касается до Тредьяковского, то я ни себя, ни публику не хочу лишить того, что вы о нем скажете. Читая ваше письмо, мне кажется я вижу, с какою улыбкою вы написали его имя. Сколько новостей в Москве! Между ними одна величайшей важности. Варшава возмутилась, и великий князь принужден был ее оставить. Этого мало. С небольшим числом войска он поставил себя в западню. Висла, находящаяся за ним, не позволяет ему ретироваться в Литву. Прибавьте к этому, что и Литва ненадежна. Литовский корпус весь составлен из поляков. Много, много, что половина его останется на стороне русских. Вот минута борьбы решительной, развязка которой влечет за собой неисчислимые последствия. Нам теперь нужна величайшая быстрота и энергия. После этой новости все другие маловажны. Скажут вам, однакож (что, может быть, вы уже знаете): «Литературная газета» запрещена за четверостишие Казимира де-ла Виня, вероятно по старанию Булгарина. Прощайте, любезный князь. Как жаль, что вы не <в> соседстве, а делать нечего. Жена моя благодарит княгиню и вас за вашу память, ей очень лестную.

Преданный вам *Е. Боратынский.*

26

Н. В. ПУТЯТЕ

<*Июнь (?) 1831 г. Казань.*>

Поздно отвечаю на письмо твое, милый Путята, но ты со мною помиришься, когда узнаешь, что я получил его весьма недавно, что оно мне было переслано из Москвы в Казань, где я теперь нахожусь со всем моим семейством. Благодарю тебя за доставление «Наложницы» по адресу и

за твои замечания. Не спорю, что в «Наложнице» есть несколько стихов небрежных, даже дурных, но поверь мне, что вообще автор «Эды» сделал большие успехи в своей последней поэме. Не говорю уже о побежденных трудностях, о самом роде поэмы, исполненной движения, как роман в прозе, сравни беспристрастно драматическую часть и описательную; ты увидишь, что разговор в «Наложнице» непринужденнее, естественнее, описания точнее, проще. Собственно же дурных мест в «Эде» гораздо больше, нежели в Саре. В последней можно критиковать стих, выражение; а в «Эде» целые тирады, например: весь разговор гусара с Эдой в первой песне. Обыкновенно мне мое последнее сочинение кажется хуже прежних, но, перечитывая «Наложницу», меня всегда поражает легкость и верность ее слога в сравнении с прежними моими поэмами. Ежели в «Наложнице» видна некоторая небрежность, зато уж совсем незаметен труд; а это-то и нужно было в поэме, исполненной затруднительных подробностей, из которых должно было выдти совершенным победителем или не браться за дело. Я заболтался, мой милый. Извини, что с тобою спорю. Ты знаешь, что я охотно соглашаюсь с критиками, когда нахожу их справедливыми; но на твою не согласен. Желал бы сказать тебе что-нибудь занимательное, но я живу в совершенном уединении и ничем не могу с тобою делиться, кроме своими мыслями. Вижу по газетам, что у вас не прекращается холера; но знаю по опыту, что умеренностью в пище и старанием не простудиться наверно можно ее избегнуть. Надеюсь, что ты не будешь ее жертвою и что бог дозволит нам еще раз обнять друг друга. Прощай. Адрес мой: на мое имя в Казань.

Е. Боратынский.

27

П. А. ПЛЕТНЕВУ

<Июль 1831 г. Каймары.>

Когда я получил письмо твое, милый Плетнев, я укладывался в долгую дорогу, оттого и не отвечал тебе в то же время. Теперь пишу к тебе не из Москвы, а из деревни

в 20 верстах от Казани. Я стал от тебя дальше расстоянием, но не дальше сердцем. Письмо твое взволновало мне душу. Оно дышит разуверенностью и унынием. С горьким угрызением думаю, что сам я несколько способствовал привести тебя к этому печальному расположению духа. Довольный в душе моей живым дружеским воспоминанием о тебе, я не заботился в нем уверять тебя и, казалось, забыл о старом друге. Мне страшно подумать, что, вспомнив обо мне, ты сам себе говорил: вот как нечувствительны, как неблагодарны люди! Между тем я был виноват в одной лености, отлагающей до другого дня сегодняшнее дело. Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, — боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мой, потеря Дельвига нам показала, что такое невозвратно прошедшее, которое мы угадывали печальным вдохновением, что такое опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. Я еще не принимался за жизнь Дельвига. Смерть его еще слишком свежа в моем сердце. Нужны не одни сетования, нужны мысли; а я еще не в силах привести их в порядок. Поговорим о тебе. Неужели ты вовсе оставил литературу? Знаю, что поэзия не заключается в мертвой букве, что молча можно быть поэтом; но мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа. Примись опять за перо, мой милый Плетнев; не изменяй своему назначению. Совершим с твердостию наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость. Прощай, мой милый. Я стал проповедником. Слушай мои увещания, а я буду слушать — твои. Благодарю тебя за похвалы «Наложнице»: они меня утешили в неблагорасположении других моих критиков. Обнимаю тебя от всей души. Пиши ко мне, когда найдешь досужное время. Поклонись Пушкину. Адрес мой — такому-то, в Казань.

Е. Боратынский.

28

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Июль 1831 г. Каймары.>

Как ты поживаешь, милый мой Киреевский, и что ты поделываешь? Благодатно ли для тебя уединение? Идет ли вперед твой роман? Кстати об романе: я много думал о нем это время, и вот что я о нем думаю. Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-нибудь системы. Одни — спиритуалисты, другие — материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только ее духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя все сказано, но все сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франмасонском языке мои размышления. Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень покуда столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих. — Прощай, мой милый, обнимаю тебя, а ты обними за меня Языкова. Не забывайте об альманахе.

Твой *Е. Боратынский.*

Я прочел в «Литературной газете» разбор «Наложницы» весьма лестный и весьма неподробный. Это — дружеский отзыв. Что-то говорят недруги? Ежели у тебя что-нибудь есть, пришли, сделай милость. Я намерен отвечать на критики. Жена тебе кланяется.

29

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Июль 1831 г. Каймары.>

Отвечаю тебе весьма наскоро и потому прошу принять эту грамоту за записку, а не за письмо. Благодарю тебя за добрые вести о здоровье твоей маменьки. Надеюсь, что

оно скоро утвердится. О торговых делах мой ответ мог бы быть очень короток: я бы сказал: делай, что хочешь, и был бы покоен; но я знаю, что ты — человек чересчур совестливый, и если б что-нибудь не удалось, тебе было бы более досадно, нежели мне. Вот почему скажу тебе, что насчет Ширяева я с тобой согласен. Что же до Кольчугина, то думаю уступить менее 8 р. экземпляр, ежели возьмут 100 разом, по 7 р. 50 к. или даже по 7.

Об романе мне кажется, что мы оба правы: всякий взгляд хорош, лишь бы он был ясен и силен. Я писал тебе более о романе вообще, нежели о твоем романе; думаю, между тем, что мои мысли внушат тебе что-нибудь, может быть подробности какой-нибудь сцены. Я очень хорошо знаю, что нельзя пересоздать однажды созданное. Напиши мне, как ты найдешь Гнедича. Признаюсь, мне очень жаль, что я его не увижу. Я любил его, и это чувство еще не остыло. Может быть, теперь я нашел бы в нем кое-что смешное: что за дело! Приятно взглянуть на колокольню села, в котором родился, хотя она уже не покажется такою высокою, как казалась в детстве. Я покуда ничего не делаю: езжу верхом и, как ты, читаю Руссо. Я об нем напишу тебе на-днях: он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Все, что он о себе говорит, без сомнения, *было,* может быть только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его «Confessions» * — огромный подарок человечеству. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

P. S. Деньги я получил.

30

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<6 августа 1831 г. Каймары.>

Что ты молчишь, милый Киреевский? Твое молчание меня беспокоит. Я слишком тебя знаю, чтобы приписать его охлаждению; не имею права приписать его и лени.

* «Исповедь».

Здоров ли ты и здоровы ли все твои? Право, не знаю, что думать. Я в самом гипохондрическом расположении духа, и у меня в уме упрямо вертится один вопрос: отчего ты не пишешь? Письмо от тебя мне необходимо. Не знаю, о чем тебе говорить. Вот уже месяц, как я в своей казанской деревне. Сначала похлопотал по хозяйству, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею еще пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь. — Дорогой и частию дома я перечитал «Элоизу» Руссо. Каким образом этот роман казался страстным? Он удивительно холоден. Я нашел насилу места два истинно трогательных и два или три выражения прямо от сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юлии, в них более естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двух любовников. В романе Руссо нет никакой драматической истины, ни малейшего драматического таланта. Ты скажешь, что это и не нужно в романе, который не объявляет на них никакого притязания, в романе чисто аналитическом; но этот роман — в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своем роде то же, что разговор, — и посмотри, какое преимущество имеет над Руссо сочинитель «Клариссы». Видно, что Руссо не имел в предмете ни выражения характеров, ни даже выражение страсти, а выбрал форму романа, чтобы отдать отчет в мнениях своих о религии, чтобы разобрать некоторые тонкие вопросы нравственности. Видно, что он писал Элоизу в старости: он знает чувства, определяет их верно, но самое это самопознание холодно в его героях, ибо оно принадлежит не их летам. Роман дурен, но Руссо хорош как моралист, как диалектик, как метафизик, но... отнюдь не как создатель. Лица его без физиономии, и хотя он говорит в своих «Confessions», что они живо представлялись его воображению, я этому не верю. Руссо знал, понимал одного себя, наблюдал за одним собою, и все его лица Жан-Жаки, кто в штанах, кто в юбке. Прощай,

мой милый. Делюсь с тобою, чем могу: мыслями. Пиши, ради бога. Поклонись от меня всем твоим и Языкову. Надеюсь, что я скоро перестану о тебе беспокоиться и только посержусь немного.

31

П. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Август 1831 г. Каймары.>

Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастию; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из нее не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру. Сделал бы тебе описание нашей деревенской жизни, но теперь не в духе. Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры; вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейного счастия, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье. «Наложницу» оставляю совершенно на твое попечение. Жду с нетерпением твоего разбора. Пришли, когда кончишь. О недостатках «Бориса» можешь ты намекнуть вкратце и распространиться о его достоинствах. Таким образом ты будешь прав перед собою и перед отношениями. Я не совсем согласен с тобою в том, что слог «Иоанны» служил образцом слога «Бориса». Жуковский мог только выучить Пушкина владеть стихом без рифмы, и то нет, ибо Пушкин не следовал

приемам Жуковского, соблюдая везде цезуру. Слог «Иоанны» хорош сам по себе, слог «Бориса» тоже. В слоге «Бориса» видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в «Иоанне» слог прекрасен без всякого отношения. — Прощай, мой милый, крепко обнимаю тебя. Пиши к нам. Жена моя очень благодарна тебе за дружеские твои приветствия. Впрочем, я всегда пишу к тебе в двух лицах. Обними за меня Языкова, рад очень, что он выздоравливает. Очень мне хочется с вами обоими повидаться, и, может быть, я соберусь на день-другой в Москву, ежели здоровье мое позволит. Не забудь поклониться от меня Гнедичу.

Е. Боратынский.

32

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<21 сентября 1831 г. Каймары.>

Отвечаю разом на два твои письма, милый Киреевский, потому что они пришли в одно время. Не дивись этому: московская почта приходит в Казань два раза в неделю, а мы из своей деревни посылаем в город только раз. Благодарю тебя за хлопоты о «Наложнице». Авось разойдется зимою. Впрочем, успех и неуспех ее для меня теперь равнодушен. Я как-то остыл к ее участи. Ты меня истинно обрадовал намерением издавать журнал. Боюсь только, чтобы оно не было одним из тысячи наших планов, которые остались — планами. Ежели дело дойдет до дела, то я — непременный и усердный твой сотрудник, тем более что все меня клонит к прозе. Надеюсь в год доставить тебе две-три повести и помогать тебе живо вести полемику. Критик на «Наложницу» я не читал: я не получаю журналов. Ежели б ты мог мне прислать № *Телескопа,* в котором напечатано возражение на мое предисловие, я бы непременно отвечал, и отвечал дельно и обширно. Я еще более обдумал мой предмет со времени выхода в свет «Наложницы», обдумал со всеми вопросами, к нему прикосновенными, и надеюсь разрешить их, ни в чем не противореча первым моим положениям.

Статья моя пригодилась бы для твоего журнала. Я сберегу тебе твой № *Телескопа* и перешлю обратно, как скоро статья моя будет готова. Ты напрасно почитаешь меня неумолимым критиком Руссо; напротив, он совершенно увлек меня. В «Элоизе» я критикую только роман, так же, как можно критиковать создание поэм Байрона. Когда-то сравнивали Байрона с Руссо, и это сравнение я нахожу весьма справедливым. В творениях того и другого не должно искать независимой фантазии, а только выражения их индивидуальности. Оба — поэты самости; но Байрон безусловно предается думе о себе самом; Руссо, рожденный с душою более разборчивою, имеет нужду себя обманывать; он морализует и в своей морали выражает требования души своей, мнительной и нежной. В «Элоизе» желание показать возвышенное понятие свое о нравственном совершенстве человека, блистательно разрешить некоторые трудные задачи совести беспрестанно заставляет его забывать драматическую правдоподобность. Любовь по природе своей — чувство исключительное, не терпящее никакой совместности, оттого-то «Элоиза», в которой Руссо чаще предается вдохновению нравоучительному, нежели страстному, производит такое странное, неудовлетворительное впечатление. Мы видим в «Confessions», что любовь к m-me Houdetot внушила ему «Элоизу»; но по тому несоразмерному участку, который занимает в ней мораль и философия (кровная собственность Руссо), мы чувствуем, что идеал любовницы Saint-Lambert всегда уступал в его воображении идеалу Жак-Жака. В составе души Руссо еще более, нежели в составе его романа, находятся недостатки последнего. «Элоиза» мне нравится менее других произведений Руссо. Роман, я стою в том, творение, совершенно противоречащее его гению. В то время как в «Элоизе» меня сердит каждая страница, когда мне досаждают даже красоты ее, все другие его произведения увлекают меня неодолимо. Теплота его слова проникает мою душу, искренняя любовь к добру меня трогает, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу. Видишь, как я с тобою заболтался. Жена моя, которая тебя очень любит, тебе кланяется. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

33

Н. М. ЯЗЫКОВУ

<Конец сентября 1831 г. Каймары.>

Благодарю тебя, милый Языков, за приписку ко мне. Это великий подвиг, увы, твоей лени и настоящее доказательство дружбы. Заняв мое место у Гермеса, ты обязан вполне заменить меня. Я служил два года с отличной ревностью, за что и удостоился повышения в чине. Расспроси Киреевского о моих служебных подвигах: я уверен, что это воспламенит тебя благодарным соревнованием. Кажется, бог поэтов ныне не Аполлон, но Гермес: кроме тебя и меня, служил у него когда-то Вяземский. Как бы написать ему стихи, в которых хорошенько похвалить его за то, что под его управлением и Межевая канцелярия превратилась в Геликон. Кстати — о стихах: я как-то от них отстал, и в уме у меня все прозаические планы. Это очень грустно.

Бывало, отрок, звонким кликом
Лесное эхо я будил,
И верный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил.
Пора другая наступила,
И рифма юношу пленила,
Лесное эхо заменя.
Игра стихов, игра златая!
Как звуки, звукам отвечая,
Бывало, нежили меня!
Но все проходит: остываю
Я и к гармонии стихов
И как дубров не окликаю,
Так не ищу созвучных слов.

Вот единственная пьеса, которую написал я с тех пор, как с тобой расстался, стараясь в ней выразить мое горе. Что ты поделываешь и скоро ли будешь писать стихотворения? Пришли, что напишешь. Это разбудит во мне вдохновение.

Киреевский принимается за журнал. Весть эта меня очень обрадовала. Будем помогать ему всеми силами: дело непременно пойдет на лад. Прощай, обнимаю тебя очень дружески.

Е. Боратынский.

31

П. В. КИРЕЕВСКОМУ

<8 октября 1831 г. Каймары.>

Спасибо тебе за стихи Пушкина и Жуковского. Я хотел было их выписать, но ты меня предупредил. Стихи Жуковского читал я без подписи в *Северной Пчеле* и никак не мог угадать автора. Необыкновенные рифмы и приметная твердость слога меня поразили, но фамильярный тон удалил всякую мысль о Жуковском. Первое стихотворение Пушкина мне более нравится, нежели второе. В нем сказано дело и указана настоящая точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей. Ты подчеркнул стих: *Стальной щетиною сверкая.* Ты, вероятно, находишь его слишком изысканным. Может быть, ты прав, однако он силен и живописен. Я уже отвечал тебе о журнале. Принимайся с богом за дело. Что касается до названия, мне кажется всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. *Европеец,* вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени? Нельзя ли назвать журнал *Северным Вестником, Орионом* или своенравно, но вместе незначительно, вроде *Nain jaune* *, издаваемого при Людовике XVIII наполеонистами? Ты слишком много на меня надеешься, и я сомневаюсь, исполню ли я половину твоих надежд. Могу тебя уверить в одном: в усердии. Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности. Я написал еще несколько мелких стихотворных пьес, кроме тех, которые тебе послал. Теперь пишу небольшую драму, первый мой опыт в этом роде, которая как ни будет плоха, но все годится для журнала. Вероятно, я ее кончу на этой неделе и пришлю тебе. Не говори о ней никому, но прочти и скажи мне свое мнение. В журнале я помещу ее без имени. Не говорю тебе о дальнейших моих замыслах из суеверия. Никогда того не пишешь, чем заранее похвастаешь. Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина. Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин — отменно

---

* Желтый карлик.

любопытное психологическое явление. Пришли мне статью твою, как напишешь. Настоящим образом я помогать тебе буду, когда ворочусь в Москву. Я должен писать к спеху, чтобы писать много. Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям. Между тем все, что удастся мне написать в моем уединении, будет принадлежать твоему журналу. Прощай, кланяйся твоим.

Е. Боратынский.

Скажи Языкову, что на него сердится Розен за то, что он не только не прислал ему стихов прошлого года, но даже не отвечал на письмо. Он жалуется на это очень и даже трогательно.

35

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<26 октября 1831 г. Каймары.>

Со мною сто раз случалось в обществе это тупоумие, о котором ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь в хорошем мнении о самом себе: не упрекал себя в глупости, особенно сравнивая себя с теми, которые отличались этою наметанностию, которой мне недоставало. Чтобы тебя еще более утешить в твоем горе (горе я ставлю для шутки), скажу тебе, что ни один смертный так не блистал в petits jeux * и особенно в secrétaire **, как Василий Львович Пушкин и даже брат его Сергей Львович. Сей последний, на вопрос: Quelle différence y a-t-il entre m-r Pouchkine et le soleil? *** отвечал: Tous les deux font faire la grimace ****. Впрочем, говорить нечего: хотя мы заглядываем в свет, мы — не светские люди. Наш ум иначе образован, привычки его иные. Светский разговор для нас ученый труд, драматическое создание, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящих страстей свет-

---

* Салонные игры.

** Игра в вопросы и ответы.

*** В чем различие между г-ном Пушкиным и солнцем? *(франц.)*

**** Оба заставляют делать гримасу *(франц.)*.

ского общества. Замечу еще одно: этот laisser aller *, который делает нас ловкими в обществе, есть природное качество людей ограниченных. Им дает его самонадеянность, всегда нераздельная с глупостию. Люди другого рода приобретают его опытом. Долго сравнивая силы свои с силами других, они, наконец, замечают преимущество свое и дают себе свободу не столько по чувству собственного достоинства, сколько по уверенности в ничтожности большей части своих совместников. Не посылаю еще моего драматического опыта потому, что надо его переписать, а моя переписчица еще в постели. Благодарю тебя за деньги и за Villemain. У меня на душе стало легче, когда увидел я этот замаранный том, который меня порядочно помучил. Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение — давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным. О Гизо скажу тебе, что у меня теперь нет денег. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нет, то скажи Urbain, что Гизо мне не нужен, или попроси подождать денег. Прощай; все мои тебе кланяются. Языкову буду писать на будущей почте, а покуда обнимаю.

Е. Боратынский.

36

П. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Ноябрь 1831 г. Каймары.>

Благодарю тебя за твое дружеское поздравление и милые шутки. Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год рождения моей Машеньки должен непременно изда-

* Непринужденность *(франц.)*.

ваться *Европеец;* а там, ежели в 12 лет она будет в состоянии слушать твои лекции, прошу в самом деле позаботиться о ее просвещении. Не беда, что моя пьеса пошла по рукам. Я послал Пушкину и другую: «Не славь, обманутый Орфей», но уверяю, что больше нет ничего за душою. Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам. Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала; она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет объяснить прекрасное. А что всего забавнее, это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя понапрасну отыскивать и посылать журнал. Я пишу, но не пишу ничего порядочного. Очень недоволен собою. «Ne pas perdre du temps c'est en gagner» *, говорил Вольтер. Я утешаю себя этим правилом. Теперь пишу я жизнь Дельвига. Это только для тебя. Ты мне напоминаешь о Свербеевых, которых, впрочем, я не забыл. Поклонись им от меня и скажи, что ежели они останутся будущую зиму в Москве, я надеюсь провести у них много приятных часов. Обнимаю тебя.

Е. Б.

---

* Не терять времени — это значит выиграть время *(франц.)*.

37

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<29 ноября 1831 г. Каймары.>

Вот тебе и число. Я пропустил одну почту оттого, что в моем глубоком уединении

Позабыл все дни недели
Называть по именам.

Я думал, что был понедельник, когда была среда. В это время, однакож, трудился для твоего журнала. Отвечал Надеждину. Статья моя, я думаю, вдвое больше моего предисловия. Сам удивляюсь, что мог написать столько прозы. Драма моя почти переписана набело. Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: «Перстень». Все это ты получишь по будущей тяжелой почте. Все это посредственно; но для журнала годится. Благодарю тебя за обещание прислать повести малороссийского автора. Как скоро прочту, так и напишу о них. О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. «Милославский» его — дрянь, а «Рославлев», быть может, еще хуже. В «Рославлеве» роман ничтожен; исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который все-таки написал лучшие романы, какие у нас есть? Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей поэмы. В ответе моем Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвещенные так оскорбляются словом, которого полный смысл допущен во всех разговорах. Скажи мне, что он думает о самой поэме, что хвалит и что осуждает. Не бойся меня опечалить. Мнение Жуковского для меня особенно важно, и его критики будут мне полезнее. У меня план новой поэмы, со всех сторон обдуманный. Хороша ли будет, бог знает. На-днях примусь писать. Не отдаю тебе отчета в моем плане, потому что это охлаждает. Кстати, послание к Языкову и элегия, которую ты называешь европейской, принадлежит *Европейцу*. По будущей почте пришлю тебе еще две-три пьесы. Прощай, поклонись от меня милой твоей маменьке, которой не успеваю писать

сегодня. Напомни обо мне Алексею Андреевичу. Каково его здоровье, и совершенно ли он успокоился насчет холеры?

Е. Боратынский.

Жена моя на богомолье в соседней пу́стыне и будет отвечать твоей маменьке по будущей почте.

38

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Декабрь 1831 г. Каймары.>

Вот тебе для *Европейца*. Извини, что все это так дурно переписано: ты знаешь страсть мою к перепра́вкам. Я не мог от них удержаться и при том, что тебе посылаю. Особенно мне совестно за мою драму, которая их не стоит. И я ни за что бы тебе ее не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов. Пересмотри мою антикритику, и что тебе в ней покажется лишним, выбрось. Боюсь очень, что я в ней не держусь немецкого правоверия и что в нее прокрались кой-какие ереси. Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой поставь имя сочинителя. Я читал твое объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твое. Ты истолковал название журнала и умно, и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоем объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков. Впрочем, воля божия. Я подпишусь в будущий год на некоторые из русских журналов и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кроме плана поэмы, в запасе довольно желчи; я буду рад как-нибудь ее излить. Это письмо — совершенно деловое. Я должен тебе дать препоручение, конечно не литературное, а между тем не совсем ей чуждое, ибо дело идет о моем желудке. Посылаю тебе 50 рублей. Вели, сделай одолжение, купить мне полпуда какао и отправь это по тяжелой почте. Он продается в Охотном ряду: спроси у кого-нибудь, хоть у Эйнброда, как узнавать свежий от несве-

жего. Прощай, обнимаю тебя очень усердно. Что у меня еще напишется, пришлю. Мы переезжаем из деревни в город. Буду рекомендовать *Европейца* моим казанским знакомым.

Е. Боратынский.

39

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Конец декабря 1831 г. Казань.>

Спасибо тебе за дельную критику. В конце моего ответа Надеждину я очень некстати разговорился. Вот тебе переправка:

«Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следственно, шутку над неблагонамеренною привязчивостью *Московского Телеграфа.* Не будем оспаривать чувства собственного преимущества, которое их внушило; мы заметим только, что они не на своем месте и что могут принять их за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику: в пристрастном разборе его видно» etc.

«Недостаток логики» замени «недостатком обдуманности», и ежели еще какое-нибудь выражение покажется тебе жестким, препоручаю тебе его смягчить.

Первый № твоего журнала великолепен. Нельзя сомневаться в успехе. Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твое объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м № *Европейца.* Это будет тебе очень полезно.

Я и все мои усердно поздравляем тебя и твоих с праздниками и новым годом. Дай бог, чтоб будущий нашел нас вместе.

Мы переехали из деревни в город: я замучен скучными визитами. Знакомлюсь с здешним обществом, не надеясь найти в этом никакого удовольствия. Нечего делать: надо повиноваться обычаю, тем более что обычай по большей

части благоразумен. Я гляжу на себя, как на путешественника, который проезжает скучные, однообразные степи. Проехав, он с удовольствием скажет: я их видел. Прощай, до будущей недели.

Е. Б.

Благодарю тебя за какао. Вероятно, рублей 15 стоила пересылка; на остальные, если можно, пришли новые баллады Жуковского.

40

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Начало января 1832 г. Казань.>

Сейчас получил от тебя неожиданную и прелестную новинку, Гизо, которого мне очень хотелось иметь. Спасибо тебе. Я замечаю, что эту фразу мне приходится повторять в каждом из моих писем. Напиши, много ли я тебе должен: теперь я в деньгах.

Я мало еще познакомился с здешним городом. С первого дня моего приезда я сильно простудился и не мог выезжать. Знаешь ли, однакож, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря — оживленнее, я не говорю — приятнее; но здесь есть то, чего нет в Москве, — действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем для твоего журнала; но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего *Европейца;* не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома

и ссужают ими потом своих знакомых. Здесь живет страшный Арцыбашев: я с ним говорил, не зная, что это он. Я постараюсь с ним сблизиться, чтобы рассмотреть его натуру. Когда мне в первый раз указали Каченовского, я глядел на него с отменным любопытством, однако воображение меня обмануло:

Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche *.

Обнимаю тебя, ты же от меня обними Языкова. Поклон всем твоим.

41

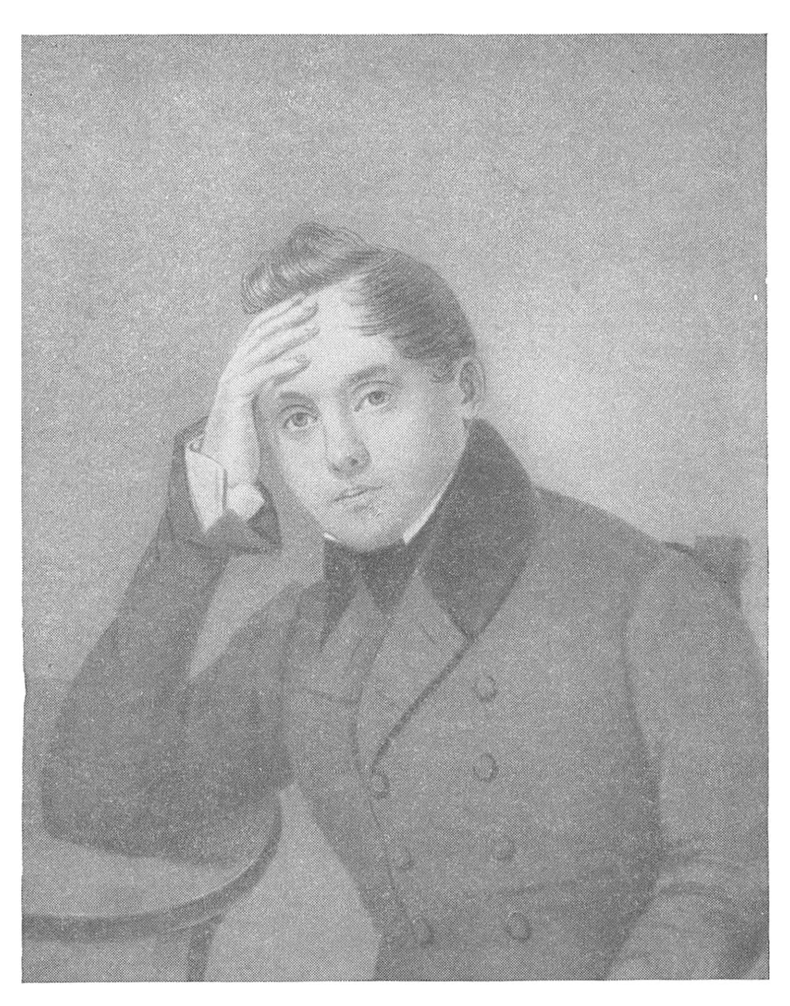
И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Январь 1832 г. Казань.>

Благодарю тебя и за коротенькое письмо, но не ленись и на обещанное пространное. Ты, я думаю, теперь чрезвычайно озабочен своим журналом, и тебе остается мало времени на переписку. Мне немного совестно заставлять тебя думать обо мне, но ты извинишь мне это. Я тоже не без забот, хотя другого рода. Губернская светская жизнь довольно утомительна, и то выезжая, то принимая у меня, мало остается досуга. Языков расшевелил меня своим посланием. Оно — прелесть. Такая ясная грусть, такое грациозное добродушие! Такая свежая чувствительность! Как цветущая его муза превосходит все наши бледные и хилые! У наших — истерика, а у ней настоящее вдохновение! Я познакомился с Арцыбашевым. Человек очень ученый и в разговоре более приличный, нежели в печати, впрочем весь погрязший в изысканиях. Выше хронологических чисел он ничего не видит в истории. Здешние литераторы (можешь вообразить — какие) задумали издавать журнал и просят меня в нем участвовать. Это — в числе неприятностей моей здешней жизни. Многие имеют здесь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные. Надо продавать книги наши подешевле. Отсылаю тебе *Телескоп*. Прощай, спешу посылать на почту, где между прочим лежит ко мне посылка, надеюсь, что от тебя с *Европейцем*.

---

* Я его увидел, его облик не представлял ничего зверского *(франц.)*.



Е. А. БОРАТЫНСКИЙ
Рисунок художника Эллерса

42

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<18 января 1832 г. Казань.>

Давно не получал я от тебя писем, милый Киреевский, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопот у тебя много. У меня к тебе просьба: если не напечатано первое мое послание к Языкову, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе, которым я более доволен. Я здесь веду самую глупую жизнь, рассеянную без удовольствия, и жду не дождусь возвращения нашего в деревню. Мы переезжаем на первой неделе великого поста. Там я надеюсь употребить время с пользою для себя и для *Европейца,* а здесь — нет никакой возможности. Подумай, кого я нашел в Казани? Молодого Перцова, известного своими стихотворными шалостями, которого нам хвалил Пушкин; но мало, что человек очень умный — и очень образованный, с решительным талантом. Он мне читал отрывки из своей комедии в стихах, исполненные живости и остроумия. Я постараюсь их выпросить у него для *Европейца.* С ним одним я здесь говорю натуральным моим языком. Вот тебе бюллетень моего житья-бытья. Что ты не шлешь мне *Европейца?* Я получил баллады Жуковского. В некоторых необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имел Жуковский в прежних его произведениях. Он мне даже дает охоту рифмовать легенды. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

43

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Февраль 1832 г. Казань.>

Понимаю, брат Киреевский, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуют тебя неприятным образом. Я предчувствовал твое положение, и жаль мне, что я не с тобою, потому что у нас есть сходство в образе воззрения, и мы друг друга же в нем утверждали. Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского мне кажется несправедливым. Приноровляясь

к публике, мы ее не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в нее еще более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет ее отыскивать их, стыдяся своего невежества. Надеюсь, что Полевой менее ясен, нежели ты, однакож журнал его расходится и, нет сомнения, приносит большую пользу, ибо ежели не дает мыслей, то будит оные, а ты и даешь их, и будишь. Бранить публику вправе всякий, и публика за это никогда не сердится, ибо никто из ее членов не принимает на свой счет сказанного о собирательном теле. Вяземский сказал острое слово — и только. Ежели ты имеешь мало подписчиков, тому причиною: 1-е — слишком скромное объявление, 2-е — неизвестность твоя в литературе, 3-е — исключение мод. Но имей терпение издавать еще на будущий год, я ручаюсь в успехе. По прочтении 1-го № *Европейца* здесь в Казани мы на него подписались. Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить. Давай им пищу: они тебе скажут спасибо. Не упускай, однакож, из виду пестроты и повестей, без чего журнал не будет журналом, а книгою. Статья твоя о 19-м веке непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, которые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности, отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня; но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать как ты, то есть знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебе для № 3. Ты прав, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однакож, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут. Прощай. Не предавайся унынию. Литературный труд сам себе награда; у нас, слава богу, степень уважения, которую мы приобретаем, как писатели, не соразмеряется

торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет.

Е. Боратынский.

44

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<22 февраля 1832 г. Казань.>

Начинаю письмо мое пенями на тебя, а у меня их набралось нарочитое количество. Во-первых, ты мне не пишешь, много ли я тебе должен за Гизота и за другие мелочи. Нет, с тобою нечего чиниться, особенно в этом. Во-вторых, позволь мне побранить тебя за то, что ты не говоришь мне своего мнения о моей драме. Вероятно, она тебе не нравится; но неужели ты так мало меня знаешь, что боишься обидеть мое авторское самолюбие, сказав мне откровенно, что я написал вздор? Я больше буду рад твоим похвалам, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получил вторую книжку *Европейца.* Разбор «Наложницы» для меня — истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: *переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную* заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю и хочу его оставить. 2-я книжка *Европейца* вообще не уступает первой. — Мы переезжаем из города в деревню. Надеюсь, что буду писать, по крайней мере у меня твердое намерение не баловать моей лени. Если будут упрямиться стихи, примусь за прозу. Прощай, обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

Я получил какао.

45

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<14 марта 1832 г. Казань.>

Я приписывал молчание твое недосугу и не воображал ничего неприятного; можешь себе представить, как меня поразило письмо твое, в котором ты меня извещаешь о стольких домашних печалях и, наконец, о запрещении твоего журнала! Болезнь твоей маменьки (да и она не первая с тех пор, как мы расстались) крайне нас огорчила, несмотря на то, что, по письму твоему, ей лучше. От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик, но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру, и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим провидение за то, что оно нас подружило и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время. Прощай, мой милый, обнимаю тебя. Пиши ко мне. Письма твои мне нужны. Ты найдешь убеждение это сильным.

Е. Боратынский.

Жена моя усердно тебя просит извещать нас о выздоровлении твоей маменьки.

46

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Апрель — май 1832 г. Казань.>

Я так давно к тебе не писал, что, право, совестно. Молчал не от лени, не от недосуга, а *так*. Это *так* — русский абсолют, но толковать его невозможно. Сегодня мне

по-настоящему некогда писать писем, потому что пишу стихи, а вот я за грамотою к тебе. Как это делается, ежели не *так?* Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому.

О трагедии Хомякова ты мне писал только то, что она кончена. Поговори мне о ней подробнее. Мне пишет из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превосходит «Бориса» Пушкина, но не говорит ничего такого, по чему можно бы составить себе о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя.

Поблагодари за меня милую Каролину за перевод «Переселения душ». Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю по-немецки. Я уверен, что она перевела меня прекрасно, и мне бы веселее было читать себя в ее переводе, нежели в своем оригинале: как в несколько флатированном портрете охотнее узнаешь себя, нежели в зеркале.

Сестра Сонечка не сердится за то, что ты подозреваешь в Горскиной немного кокетства. Дело не в этом, а в том, что до нее дошли слухи, что ты между ними находишь большое сходство, из чего следует, что ты и о ней того же мнения, а в справедливости его она не признается.

Прощай, мой милый; напиши, сделай милость, какой у тебя чин: мне это нужно для того, чтобы адресовать тебе квитанцию из Опекунского совета. Это тебе не доставит никаких хлопот: тебе вручат, и только. Что Свербеевы? Поклонись им от меня, равно как и всем своим.

Твой *Боратынский.*

Напиши мне скорей о своем чине. 25 мая я выезжаю отсюда.

47

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<30 мая 1832 г. Казань.>

Тесть мой поехал в Москву. Я должен был выехать в одно время в Тамбов к моей матери, где я намерен был провести лето, но нездоровье моей жены меня удержало. Пиши мне попрежнему в Казань. Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. Дмитрий Самозванец — лицо отменно историческое; воображение наше поневоле дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летописцев. Идеализировать его — верх искусства. Байронов Сарданапал — лицо туманное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угодно. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели и судим поэта, как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Скоро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления. Это время я писал все мелкие пьесы. Теперь у меня их пять, в том числе одна, на смерть Гете, которою я более доволен, чем другими. Не посылаю тебе этого всего, чтоб было мне что прочесть, когда увидимся. Извини мне это Хвостовское чувство. Прощай. Наши проведут дня три в Москве. Повидайся с ними: они расскажут тебе о похождениях наших в Казани.

48

П. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Июнь 1832 г. Казань.>

Ты мне развил мысль свою о басне с разительною ясностию. Мне бы хотелось, чтоб ты написал статью об этом. Мысль твоя нова и, по моему убеждению, справедлива: она того стоит. Я берегу твои письма, и когда мы

увидимся в Москве, я тебе отыщу те два, в которых ты говоришь о басне. Ты перенесешь сказанное в них в твою статью, ибо мудрено выразиться лучше. Ты необыкновенный критик, и запрещение *Европейца* для тебя большая потеря. Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления. Я прочитал здесь «Царя Салтана». Это — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и по возможности все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Прощай, поздравь от меня Свербеева и жену его. Пиши мне по-старому в Казань. Я не знаю, долго ли здесь пробуду. В июле постараюсь быть в Москве, чтобы увидеть Жуковского и скорее тебя обнять, но можно ли будет, еще не знаю.

49

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<20 июня [?] 1832 г. Казань.>

Пишу тебе в последний раз из Казани. 19-го числа я выезжаю в Тамбов. Адресуй мне теперь свои письма: Тамбовской губернии, в город Кирсанов. Что ты мне

говоришь о Hugo и Barbier, заставляет меня, ежели можно, еще нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдет в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлеченность. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать (Barbier), но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную. Прощай, поклонись от меня твоим. Когда-то я попрошу тебя нанять себе дом в Москве! Когда-то мы с тобою просидим с 8 часов вечера до трех или четырех утра за философическими мечтами, не видя, как летит время! Однажды в Москве надеюсь долго с тобой не разлучаться и дать своей жизни давно мною желанную оседлость.

50

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Декабрь 1832 г. Москва.>

Письмо это отдаст вам мой брат, которого прошу вас, любезный князь, принять в свое благоволение. Литературные связи иногда стоют кровных, и я препоручаю его вам, доверяясь вполне этой мысли.

Долго не отвечал я на ваше милое, дружеское письмо, но глубоко вам за него признателен.

Вы недостаете Москве. Нет общества, в котором бы вас не вспоминали и не сетовали на ваше отсутствие. Я познакомился с старым вашим знакомым М. Орловым

и с отменно любезной женой его. В кругу, который некогда был вашим привычным, еще чувствительнее ваше удаление. Д. Давыдов прислал мне начало вашего Послания к нему, в котором вы поэтически подделались к его слогу. Он думает недели на две прискакать в Москву. Не решитесь ли и вы последовать его примеру и пригласить с собою Пушкина? Тогда слово будет делом, тогда

Будут дружеской артели
Все ребята налицо.

Я не пишу ничего нового и вожусь с старым. Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело.

Засвидетельствуйте мое почтение княгине и верьте моей всегдашней вам преданности.

Е. Боратынский.

51

П. В. КИРЕЕВСКОМУ

<15 октября 1833 г. Мара.>

Сердечно благодарю тебя за твой подарок. Я получил твой портрет. Он похож и даже очень; но как все портреты и все переводы — неудовлетворителен. Странно, что живописцы, занимающиеся исключительно портретом, не умеют ловить на лету, во время разговора, настоящей физиономии оригинала и списывают только пациента. Я помню бездушную систему Берже, объясненную мне им самим. По его мнению, портретный живописец не должен давать волю своему воображению, не должен толковать своевольно списываемое лицо, но аккуратно следовать всем материальным линиям и доверить сходство этой точности. Он и здесь был верен своей системе, отчего твой портрет может привести в восхищение всех людей, которые тебя знают не так особенно, как я, а меня оставляет весьма довольным присылкой, но недовольным живописцем. О себе мне тебе почти сказать нечего. Я весь погряз в хозяйственных расчетах. Нему-

дрено: у нас совершенный голод. Для продовольствия крестьян нужно нам купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынешним ценам, составляет 40 000. Такие обстоятельства могут заставить задуматься. На мне же, как на старшем в семействе, лежат все распорядительные меры. Прощай, усердно кланяюсь всем твоим.

Е. Боратынский.

52

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<28 ноября 1833 г. Мара.>

На-днях получил я от Смирдина программу его журнала с пригласительным письмом к участию. Не знаю, удастся ли ему эта спекуляция. Французские писатели не нашим чета; но ничего нет беднее и бледнее Ладвокатова «Cent et un» *. Все-таки надо помочь ему. Его смелость и деятельность достойны всякого одобрения. Приготовляешь ли ты что-нибудь для него? Знаешь ли ты, что у тебя есть готовая и прекрасная статья для журнала? Это — теория туалета, которую можно напечатать отрывком. Я о ней вспомнил недавно, читая недавно теорию походки Бальзака. Сравнивая обе статьи, я нашел, что вы имеете большое сходство в обороте ума и даже в слоге, с тою разницею, что перед тобою еще широкое поприще и что ты можешь избегнуть его недостатков. У тебя теперь, что было у него вначале: совестливая изысканность выражений. Он заметил их эффектность, стал менее совестлив и еще более изыскан. Ты останешься совестлив и будешь избегать принужденности. У тебя, как у него, потребность генерализировать понятия, желание указать сочувствие и соответственность каждого предмета и каждого факта с целою системою мира; но он, мне кажется, грешит излишним хвастовством ученостию, театральным заимствованием цеховых выражений каждой науки. Успех его несколько избаловал. Я не люблю также его слишком общего, слишком легкомысленного сенти<мента>лизма. Постоянное притязание на глубоко-

* «Сто один» *(франц.)*.

мыслие не совсем скрывает его французскую ветреность. Как признаться мыслителю, что он не достиг ни одного убеждения и еще более, не смешно ли хвалиться этим! Ты можешь быть Бальзаком с двумя или тремя мнениями, которые дадут тебе точку опоры, которая ему недостает, с языком более прямым и быстрым, и столько же отчетливым. Прощай, кланяюсь твоим.

Е. Боратынский.

Сделай одолжение: узнай деревенский и городской адрес Пушкина; мне нужно к нему написать. Нарочно для этого распечатываю письмо.

53

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<4 декабря 1833 г. Мара.>

Ты меня печалишь своими дурными вестями. Что твои глаза? Надеюсь, что это письмо застанет тебя зрячим. Мне случалось хвалить уединение, но не то, которое доставляет слепота. Кстати об уединении. Ты возобновляешь вопрос о том, что предпочтительнее: светская жизнь или затворническая? Та и другая необходимы для нашего развития. Нужно получать впечатления, нужно их и резюмировать. Так нужны сон и бдение, пища и пищеварение. Остается определить, в какой доле одно будет к другому. Это зависит от темперамента каждого. Что касается до меня, то я скажу об обществе то, что Фамусов говорит об обедах:

Ешь три часа, а в три дни не сварится.

Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я — старому, которое молило бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность; меня она пугает, и я охотнее вижу счастие в покое. Каждый из нас почерпнул сии мнения в своем веке. Но это — не только мнения, это — чувства. Органы наши образовались соответственно понятиям, которыми питался наш ум. Ежели бы теоретически каждый из нас принял

систему другого, мы всё бы не переменились существенно. Потребности наших душ остались бы те же. Под уединением я не разумею одиночества; я воображаю

Приют, от светских посещений
Надежной дверью запертой,
Но с благодарною душой
Открытый дружеству и девам вдохновений.

Таковой я себе устрою рано или поздно, и надеюсь, что ты меня в нем посетишь. Обнимаю тебя.

Е. Боратынский.

54

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

<Весна 1834 г. Мара.>

Виноват, что так давно тебе не писал, милый Киреевский. Этому причиною, во-первых, головные боли, к которым я склонен и посетившие меня как нарочно два почтовых дня сряду; потом, я живу среди таких забот и нахожусь под влиянием таких впечатлений (я слегка говорил тебе, в каком бедственном положении здоровье моей матери), что не всегда в силах приняться за перо. Мне ли тебе задавать темы для литературных статей? Я давно выпустил из виду общие вопросы для исключительного существования. Но не задать ли тебе, например, тот самый предмет, о котором я говорю: жизнь общественная и жизнь индивидуальная. Сколько человек по законам известной совести должен уделить первой и может дать последней? Законны ли одинокие потребности? Какие отношения и перевес (balance) наружной и внутренней жизни в государствах наипаче просвещенных, и что в России? Я бы желал видеть сии вопросы обдуманными и решенными тобою. Мне нужно твое пособие в сношениях моих с Ширяевым. Вот уже два месяца, как я не получаю корректуры. Я предполагаю, что для скорости он решился печатать по моей рукописи, не заботясь о том, что я могу сделать несколько поправок. На всякий случай посылаю тебе давно мною исправленную «Эду» и «Пиры», но теперь только приготовленные к отсылке.

Доказательство той моральной лени, которою я одержим с некоторого времени. Посылаю тебе также предисловие в стихах к новому изданию и заглавный лист с музыкальным эпиграфом. Я желаю, чтобы Ширяев согласился на гравировку или литографировку этого листа. Он может мне сделать это снисхождение за лишнюю пьесу, которую я ему посылаю. Обнимаю тебя и кланяюсь всем твоим.

Е. Боратынский.

Надеюсь, что маменька и брат теперь здоровы. У нас тоже всю зиму были жестокие поветрия, и все мы один за другим перехворали.

55

С. Л. ЭНГЕЛЬГАРДТ

<Начало ноября 1834 г. Мара.>

Вот тебе, моя душенька, корректура. Похлопочи обо мне. По будущей почте пришлю тебе послание к Вяземскому и эпиграмму. Совсем позабыл о моем обещании за хозяйскими хлопотами. Вот тебе еще поручение. В 4-й главе «Наложницы» я было уничтожил последнюю тираду со стиха: «Елецкой, проводив гостей...» Я ее возобновляю и пишу об этом в типографию, но боюсь, что меня не поймут. Прежде нежели мне пошлют корректуру, взгляни на нее и, ежели мое желание не исполнено, отошли назад и вели им растолковать в чем дело. Прощай, обнимаю тебя. Скажи, как тебе покажутся мои переправки.

56

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<5 февраля 1837 г. Москва.>

Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепен-

ного, может быть еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если б разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если б в последней, отчаянной его схватке с ними судьба преклонила весы. свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждой? Я навестил отца в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец на общие весьма неубедительные увещания сказал: «Мне остается одно: молить бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл». Это было произнесено с раздирающею ласковостию.

Есть люди в Москве, узнавшие об общественном бедствии с отвратительным равнодушием, но участвующее пораженное большинство скоро принудит их к пристойному лицемерию.

Если до сих пор не отвечал на письмо ваше, тому виною обстоятельства, может быть, вам уже известные. Я лишился моего тестя, и смерть его передала мне много забот положительных. Сверх того, хотелось к письму моему приложить что-нибудь для вашего литературного сборника, ждал минуты досуга и вдохновения, но по сию пору напрасно.

Е. Боратынский.

Февраля 5-го 1837.

Адрес: Его сиятельству милостивому государю князю Петру Андреевичу Вяземскому. В *С-П<етер>бург,* на Моховой, в доме адмиральши Бычинской.

57

П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

<Февраль [?] 1837 г. Москва.>

Препровождаю вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строфах этого стихотворения. Всякий работает по-своему. Лирическую пьесу я с первого приема всегда набрасываю более чем с небрежностию; стихами иногда без меры, иногда без рифм, думая об одном ее ходе, и потом уже принимаюсь за отделку подробностей. Брошенную на бумагу, но далеко не написанную, я надолго оставил мою элегию. Многим в ней я теперь недоволен, но решаюсь быть к самому себе снисходительным, тем более что небрежности, мною оставленные, кажется, угодны судьбе. Препоручаю себя вашей дружеской памяти.

Е. Боратынский.

58

П. А. ПЛЕТНЕВУ

<Начало 1839 г. Москва.>

Милый мой, всегда по-старому милый Плетнев! Родственница моя Путята пишет мне, что ты на меня сердишься. Спасибо тебе за это. Кто сердится, тот помнит, а может быть, любит. Пьеса, напечатанная в «Отечественных Записках», была у меня вырвана из-под пера братом моим Сергеем, с которым ты, может быть, и познакомился, потому что он теперь в Петербурге, — оттого-то она и несколько слаба слогом. Давно, давно нет между нами никаких сношений; зато давно, давно я не пишу стихов, и мной оставлен тот мир, в котором некогда мы сошлись и сблизились. Можешь ли ты думать, что прошедшее мною забыто? Что бы после этого помнить! Но судьба, в молодости удалившая меня от людей, от их обычаев, от условий светской жизни, наградившая меня друзьями такими, как ты, неопытного, давно обманутого бросила потом и в свет, и в мелочи обыкновенной жизни. Мужем мне нужно было учиться тому, чему учатся дети, понимать отношения, приобретать привычки, угадывать то,

что другие твердо знают. Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющего никакой особенности, были мне тяжеле всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру. Не тебя я поставил в уровень с людьми, которых узнал после; но при новых впечатлениях, которых постепенность и связь тебе неизвестна, при этой долгой и сложной повести, которая меня так глубоко изменила, с чего начать? Как передать себя дружбе давних лет, а не хочется посылать холодные и неполные строки. Не по этой ли причине старики молчаливы? Вся эта болтовня значит в крайнем выводе: ты, дружба твоя, память прошедшего мне драгоценны, а если в какую-либо минуту тебе показалось иначе, тебя обманывала наружность.

Посылаю тебе несколько небольших пьес, набросанных мною на прошедшей неделе.

Я теперь в суетах, происходящих от приготовлений к большому путешествию. Я еду с семейством на южный берег Крыма, где проведу около полутора года. Хочется солнца и досуга, ничем не прерываемого уединения и тишины, если возможно, беспредельной. Думаю опять приняться за перо и, если все, что скопилось у меня в уме и легло на сердце, найдет себе исход и выражение, надеюсь быть добрым слугою «Современника».

Прощай. Нежно тебя обнимаю. Сохрани мне старую твою дружбу.

Е. Боратынский.

59

А. Л. БОРАТЫНСКОЙ

<Зима 1840 г. Петербург.>

Sophie К. чрезвычайно мила; мы с нею тотчас вошли в некоторую короткость; говорят, что и я был очень любезен *. У Карамзиных в полном смысле salon. В продолжение двух часов, которые я там провел, явилось и исчезло человек двадцать. Тут был Вяземский, приехал Блудов. Вяземский напомнил ему о старом его знакомстве со мною. Он очень мило притворился, что не забыл, говоря, что мы вместе слушали в первый раз «Бориса

* Далее семь зачеркнутых и не поддающихся прочтению строк.

Годунова». Это неправда, но, разумеется, я ему не противоречил. Забыл тебе сказать, что *(1 нрзб)* прежде Карамзиных мы слушали у Одоевского повесть Сологуба «Тарантас», украшенную виньетами, полными искусства и воображения одного князя Гагарина. Виньеты прелесть, а повесть посредственна. Ее все критиковали. Я тоже пристал к критикам, но был умереннее других. Спор, завязавшийся у Одоевского, продолжался у Карамзиных и был главный предмет разговора. На другой день (вчера) я был у Жуковского, провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формой. Все последние пьесы его отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною. *Что мы сделали, Россияне, и кого погребли!* — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления.

В тот же день поехали в французский театр в ложу к<нягини> Абамелек. Давали La Lectrice, играла M-me Allan, хороша, но не чрезвычайно. Говорят, она была не в духе и за кулисами ее кто-то обидел. К<нягиня> Одоевская сидела одна в своей ложе. Встречаясь со мною глазами, она меня поманила к себе, и я у нее просидел весь первый акт. Тут мы говорили об Елагине и Киреевском. Поздний вечер провел со своими. Вот тебе не письмо, а журнал. Меня уже тянет домой, хотя провожу время очень приятно *.

60

Н. В. ПУТЯТЕ

<19 апреля 1842 г. Артемово.>

Христос воскресе! Желаю вам веселого праздника, который мы, со своей стороны, начали удовлетворительно. В 3 часа утра были у обедни в соседней деревне, разговелись, выспались. Пишу вам в самый день Светлого воскресенья.

После минуты нерешимости мы положили остаться на месте, имея в случае (который, право, мудрено предви-

* Далее зачеркнуто и не поддается прочтению шесть с половиной строк.

деть) всегда убежище в Москве, а еще ближе в Троице, где между прочим находится и наш стан, следственно наше местное правление, которому, без сомнения, даны нужные пособия в теперешних обстоятельствах. Редакция бесподобна. Нельзя было приступить к делу умнее, осторожнее! Благословен грядый во имя господне! У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела и скоро и спокойно. Прощайте, обнимаю вас и малюток ваших от всей души.

Е. Боратынский.

Адрес: Его высокородию Николаю Васильевичу Путята. На углу Почтамтской улицы, против Исакия, в доме Кютнера.

61

А. Ф. БОРАТЫНСКОЙ

<Лето 1842 г. Артемово.>

Похвалы, которые вы воздаете моей книге, милая и добрая маменька, являются для меня самыми сладостными, самыми лестными изо всех когда-либо мною полученных. Зато я и насладился ими со всей наивностью, со всем здравым смыслом удовольствия, на какое я способен. В настоящую минуту я весьма далек от литературного вдохновения, но издали приветствую ту пору, когда моя постройка будет закончена, когда у меня будет меньше действительных забот (не будет, может быть, воображаемого отдыха), но которая улыбается мне при мысли о возобновлении моих былых занятий. Вы, конечно, понимаете, что я оснуюсь в деревне на довольно продолжительное время. Моя усиленная деятельность происходит, в сущности, лишь от большой потребности в отдыхе и покое. Наш дом сейчас очень напоминает маленький университет. У нас пять чужих человек, среди которых судьба доставила нам превосходного учителя рисования. Наша мало расточительная жизнь и доход, который мы надеемся извлечь из лесного хозяйства, позволяют нам много делать для образования детей, пока же они и их учителя оживляют наше одиночество. Этой осенью мне

предстоит удовольствие, для меня новое, — сажать деревья. У нас хороший, старый садовник, любящий свое дело, и я рассчитываю на его благие советы. Прощайте, милая маменька. Нежно целую ваши ручки, так же как и ваши внучата.

62

Н. В. ПУТЯТЕ

<Ноябрь 1843 г. Париж.>

Друзья, сестрицы, я в Париже! и благодаря Соболевскому, которому я вскоре буду писать особо, благодаря его за полезную его дружбу, вижу в нем не одни здания и бульвары, хотя первый матерьяльный взгляд на Париж вознаграждает с избытком труды дальнаго путешествия. Я уже заглянул в faubourg St.-Germain и видел некоторых литераторов, но, по-моему, всего замечательнее во Франции сам народ, приветливый, умный, веселый и полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю общественную пользу. Я удивлялся в Берлине городскому порядку, точности и бесспорности отношений. Как же я изумился найти то же самое, но в высшей степени, в многолюдном Париже, в его тесных улицах, в его бесчисленных сделках. В Германии чувствителен еще некоторый ропот на законы общественного устройства, которым повинуются: здесь ими гордятся люди, принадлежащие последней черни. Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого и составляют такую массу здравого смысла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить народ с пути истинного его благосостояния. Между тем партии волнуются. Я много слушаю и много читаю. Люди, вышедшие из рядов и наполняющие газеты и салоны, не тверды в своих мнениях. Здесь переметчики менее подлы, чем кажется с первого взгляда, и многие из них принимают мнение, противоположное прежде выраженному, с совершенно искреннею ветреностью. Теперь всех занимает вопрос воспитания: кто должен им заведывать, духовенство или университет? Вопрос отменно важный, слитый с видами легитимизма.. Ламартин напечатал вздорную диатрибу, которую я принужден хвалить в обществе, с которым начал знакомство. Ответы противоположной партии, почти-

тельные к таланту поэта, очень забавны. Профессоры начали свои курсы и о чем бы ни говорили, об анатомии или химии, умеют коснуться всех занимающего вопроса. Мы живем в самом центре города. Вот наш адрес: Rue Duphot, près le boulevard de la Madeleine, № 8. Сегодня я буду у M-me Aguesseau, завтра у Nodier, послезавтра у Thierry. Всеми этими знакомствами я обязан Сиркурам. Прощайте, обнимаю вас и детей. Кланяюсь очень Соболевскому, Плетневу. Я вижу почти всякий день А. И. Тургенева, который теперь несколько нездоров. Он пеняет Вяземскому за то, что он к нему не пишет. Напомните ему обо мне. Вижусь с Балабиным, человеком очень умным, очень сведущим, с которым всякая встреча меня более и более сближает.

63

Н. В. ПУТЯТЕ

<Конец ноября — начало декабря 1843 г. Париж.>

Хорошо, что я проведу в Париже одну только зиму, а то из человека с некоторым смыслом я бы сделался совершенным зевакой, а что хуже — светским человеком. Не я один, все парижане с одиннадцати часов утра до 12 вечера на ногах и проводят часы в визитах. Для настоящих парижан, имеющих свои виды то деловые, то политические, посещающих каждое лицо с известною целию, эта жизнь не совсем убийственна; но для заезжего, несмотря на любопытство, она утомительна до крайности. Несмотря на приветливость лиц, на новость явлений, чувствуешь недостаток прямых отношений, и, если бы я был в Париже без семейства, не знаю, вынес ли бы я подобное существование. Первые мои знакомства вовлекли меня в faubourg St.-Germain, к m-me de T..., к m-me d'Aguesseau, к Т. <*нрзб. две зачеркн. строки*>. Тут собираются академики и католические прозели<ти>сты обоих полов. Все это работает вертограду господню в смысле аббатов. По довольно уединенным улицам славного предместья бегают с озабоченным видом латынские попы в таком множестве, что если б по русскому обычаю от всех отплевываться, можно получить чахотку. Circourt познакомил меня с Виньи, двумя Тьери, Нодье, St.-Beuve, Соболевский с Mérimée и m-me Ancelot, случай —

с прежним издателем одного из крайних республиканских журналов, через которого я надеюсь добраться до Ж. Занд. Познакомился или возобновил знакомство с некоторыми земляками. Русские ищут русских в Париже и вообще в чужих краях. Самые ветреные из них догадываются, что у нас есть на сердце, и готовы на сантиментальность. Общества с точки зрения политической представляют самый печальный факт. Легитимисты, умные без надежды, безрассудные по неисправимой привычке, преследуют идею своей партии и отслужили ей в Лондоне вместе меткую (?) и трогательную панихиду. Республиканцы теряются в теориях без единого практического понятия. Партия сохранительная почти ненавидит ее настоящего представителя, избранного ею короля. Всюду элементы раздоров. Движение попов, воскресших для надежд бедственных, ибо под личиною мистицизма они преследуют мысль возврата прежнего своего владычества. Вот Франция! А в парижских салонах конституция французской учтивости мирно собирает умных, сильных, страстных представителей всех этих разнородных стремлений. Обнимаю вас обоих и всех ваших и наших ребятишек. В следующем письме сообщу вам подробности о всех названных мною лицах.

64

Н. В. ПУТЯТЕ

<Конец декабря 1843 г. Париж.>

Поздравляю вас, любезные друзья, с новым годом, обнимаю вас, ваших и наших ребятишек; желаю вам его лучше парижского, который не что иное, как привидение прошлого, в морщинах и праздничном платье. Поздравляю вас с будущим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; поздравляю вас с нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и красноречием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями других народов и посему переживем их, может быть, 12-ю столетьями. Каждую из этих фраз я

могу доказать ученым образом; но теперь не время, оставим это до дня свидания, ибо из русских писателей нет ни одного, который менее бы любил писать того, который вас так нежно любит. Поклон мой Соболевскому и Плетневу, которым собираюсь писать, не знаю о чем от многосложности предметов; но постараюсь что-нибудь выразить со всею правдой, которая от меня зависит.

Е. Боратынский.

65

Н. В. ПУТЯТЕ

<Начало 1844 г. Париж.>

Последнее письмо Сонечки принесло нам весть о вашей общей великой потере. Ты не можешь сомневаться в полноте участия, которое мы в ней принимаем. Память твоего почтенного отца принадлежит не одной твоей сыновней скорби, но всем, которые его знали и ценили; она принадлежит истории в гражданской истории 12-го года. Ты проводишь тяжелую зиму: столько сердечных потрясений и столько забот положительных. Моя здешняя жизнь тоже не восхитительна. Буду доволен Парижем, когда его оставлю. Для чужеземца, не принимающего ни в чем страстного участия, холодного наблюдателя, светские обязанности, дающие пищу одному любопытству, часто обманутому в своих ожиданиях, отменно тяжелы. Бываю везде, где требуется, как ученик в своих классах. Масса сведений и впечатлений, конечно, вознаградит меня за труд, но все-таки это труд, а редко-редко наслаждение. В одном из писем Вяземского к Тургеневу помещено несколько строк, для меня особенно благоволительных. Скажи ему при случае, что я был ими очень тронут и что они сохраняются в том чувстве, которое так хорошо назвали сердечною памятью. Бедный Тургенев болен почти с моего приезда в Париж: это сиятика в руке и рюматизмы в боках. По словам его, этими недугами он обязан тому, что где-то в Германии, отыскивая Жуковского, упал в ручей, продрог и с тех пор не может оправиться. Он не оставляет кресел, а для человека такого деятельного, как он, это хуже самой болезни. Мы разъезжаем по вечерам f<au> b<ourg> St.-Germain, верные покуда

что православной греко-российской церкви. Католический прозелитизм здесь несносен. Меня заставили прочесть кучу скучных книг, и теперь у меня лежит на столе: Institut des Jésuites отца Равиньяна. Как ты думаешь, что это такое? Изложение статутов ордена, писанное с простотою младенца или невинностью старика, потерявшего память, человеком лет сорока, замечательным своею ученостью и дарованиями. Вот мое определение этого произведения: livre niais, écrit pour les niais, par un homme qui n'est pas niais *. Вижу здесь почти всех авторов. Завтра буду у Ламартина. Тьери обещал представить меня Гизоту. С тех пор как он министр, доступ к нему довольно труден. У меня начаты письма к Плетневу и Соболевскому и не окончены за парижской суматохой. Кланяюсь им обоим. Вчера с Настенькой были мы на бале de l'ancienne liste civile ** и видели в полном блеске всю французскую аристократию. Будьте здоровы, обнимаю вас и детей.

66

Н. В. ПУТЯТЕ

<Начало весны 1844 г. Париж.>

Благодарю тебя за желание моего портрета. Жаль, что получил твое письмо перед самым нашим отъездом в Италию, однакож постараюсь удовлетворить твоей дружеской прихоти в Париже, где, по твоему совету, можно литографировать несколько экземпляров. Если не успею (ибо время нудит), то оставлю *** это до Рима. Мы едем из Парижа с впечатлениями самыми приятными. Наши здешние знакомые нам показали столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны. Здесь нам дали рекомендательные письма в Неаполь, Рим и Флоренцию. Там, как здесь, мы можем, если захотим, познакомиться с обществом; но, кажется, мы на это не найдем досуга. Есть лица в Париже, которые мы покидаем даже с грустию. Путешественник должен быть путе-

---

* Глупая книга, написанная для глупых человеком, который не глуп *(франц.)*.

** Старинной знати *(франц.)*.

*** Написано не слишком ясно. Может быть: «оставим».

шественником: ему не следует нигде заживаться, если хочет в самом деле пользоваться своим мизантропическим счастием. Мы едем на Марсель; оттуда, морем, прямо в Неаполь, а потом сухим путем в Рим и проч. и воротимся в Россию через Вену. Я с вами увижусь, богатый воспоминаниями всякого рода. Я уставал от парижской жизни, но теперь, прощаясь с нею, доволен прошедшим. Перестал к вам писать собственно о Париже, потому что всякий день мнение мое изменялось. К тому ж надобно родиться в Париже, чтоб посреди его требований и рассеяний находить досуг для мысли и для письменного выражения. Русский видит и не верит, что эту самую жизнь ведут здешние ученые, беспрестанно усовершенствуясь в науке и каждый год печатая какую-нибудь книгу. Обнимаю вас, мои милые, равно ваших и наших детей. Хотя хорошо за границей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-русски поболтать о чужеземцах. Балабин вам кланяется. Умный, добрый, просвещенный и любезный.

67

Н. В. ПУТЯТЕ

<Вторая половина апреля или средина мая 1844 г. Неаполь.>

Пятнадцать дней, как мы в Неаполе, а кажется, живем там давно от полноты однообразных и вечно новых впечатлений. В три дня, как на крыльях, перенеслись мы из сложной общественной жизни Европы в роскошно-вегетативную жизнь Италии, — Италии, которую за все ее заслуги должно бы на карте означить особой частью света; ибо она в самом деле ни Африка, ни Азия, ни Европа. Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но как это называли наши французские матросы: très gros temps *, следственно живость без опасности. В нашем отделении было нестраждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначущих лиц, неаполитанский maestro **

* Бурная погода *(франц.)*.
** Учитель *(итал.)*.

музыки, Николенька и я. Мы коротали время с непринужденностью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей, как будто бы не было не только московского, парижского света. На корабле, ночью, я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас попрошу передать Плетневу для его журнала.

Вот Неаполь! Я встаю рано. Спешу открыть окно и упиваюсь живительным воздухом. Мы поселились в Villa Reale, над заливом, между двух садов. Вы знаете, что Италия не богата деревьями; но где они есть, там они чудно прекрасны. Как наши северные леса, в своей романтической красоте, в своих задумчивых зыбях выражают все оттенки меланхолии, так яркозеленый, резко отделяющийся лист здешних деревьев живописует все степени счастья. Вот проснулся город: на осле, в свежей зелени итальянского сена, испещренного малиновыми цветами, шажком едет неаполитанец полуголый, но в красной шапке; это не всадник, а блаженный. Лицо его весело и гордо. Он верует в свое солнце, которое никогда его не оставит без призрения.

Каждый день, два раза, утром и поздно вечером, мы ходим на чудный залив, глядим и не наглядимся. На бульваре Chiaja, которого подражание мы видим в нашем московском, несколько статуй, которые освещает для нас то итальянская луна, то итальянское солнце. Понимаю художников, которым нужна Италия. Это освещение, которое без резкости лампы выдает все оттенки, весь рисунок человеческого образа во всей точности и мягкости, мечтаемой артистом, находится только здесь, под этим дивным небом. Здесь, только здесь, может образоваться и рисовальщик и живописец.

Мы осмотрели некоторые из здешних окрестностей. Видели, что можно видеть, в Геркулануме; были в Пуцоле, видели храм Серапийский; но что здесь упоительно, это то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух. Если небо, под которым Филемон и Бавкида превратились в деревья, не уступает здешнему, Юпитер был щедро благ, а они присноблаженны.

Мы остаемся здесь на два или три месяца. В продолжение нашего морского путешествия у Настеньки воро-

тились ее нервические рюматизмы с постоянною болью в желудке. Один из лучших здешних докторов, которого нам рекомендовала княгиня Волконская, настоятельно ей предписал морские ванны и здешнюю железную воду. Все это у нас через улицу и нипочем. С Хлюстиным, которого внезапная болезнь удержала в Кенигсберге, я полагал получить от тебя хозяйственное письмо. Повтори свои подробности, дабы я мог распорядиться моими делами. В моем кредитиве нет Неаполя. Пришли мне, сделай одолжение, еще кредитив тысяч в пять на Неаполь и другие города, которые нам придется проезжать, предполагая, что мы в Россию воротимся через Вену. Нежно вас обнимаю, равно как всех ваших и наших ребятишек.

Е. Боратынский.

68

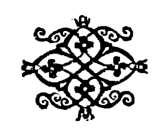
Н. В. ПУТЯТЕ

<2 половина июня 1844 г. Неаполь.>

Мы получили разом несколько ваших писем, потому что догадались написать в Рим и Флоренцию, чтобы нам их переслали в Неаполь. Обстоятельства принуждают нас пробыть здесь гораздо долее, чем мы предполагали, и вместо конца августа насилу к концу ноября мы можем возвратиться в Россию. Прошу за меня похозяйничать. Сроки платежей в Опекунский совет по моему тамбовскому имению в июне и в июле, сколько мне помнится, и две прошлогодние квитанции я оставил тебе, друг Путята. Надобно внести по ним половину. Квитанции по имению Насти находятся у Дмитрия: всем им срок в октябре; по ним надобно внести треть, что, по моему счету, он может сделать из доходов дома; но я не знаю, как идут наймы, почему нужно тебе взять на себя хлопоты распоряжения. Последнее и главное. Отъезжая за границу, я занял у одной московской барыни, которой даже имени не помню, но ее и ее собственный дом знает Бекер, 32 т. по 9 процентов, которые она взяла вперед. Мне необходимо уплатить этот частный долг, на что и надо употребить все наши доходы нынешнего года, за исключением того, что мы вам должны, и пяти тысяч, которые я просил тебя пере-

слать нам в Неаполь. Недостающую сумму взять из лесной кассы: она пойдет в уплату долга вашего мне за мурановский дом и лесную операцию. Если, как вероятно, это все вместе еще не составит 32 т., то уплатить ей, что возможно, для этого надо употребить Бекера. Посылаю вам два стихотворения. Отдайте их Плетневу для его журнала. На-днях я вам адресую письма к нему, Соболевскому и Вяземскому. Пожалуйста, перешлите. Мы ведем в Неаполе самую сладкую жизнь. Мы уже видели все здешние чудесные окрестности: Пуцоли, Баию, Кастеламаре, Соренту, Амальфи, Салерну, Пестум, Геркуланум, Помпею. Теперь неделя наша проходит для детей в уроках, а каждое воскресенье мы делаем une partie de plaisir *, осматривая здешние церкви, дворцы и замки, или просто едем за город в какую-нибудь деревушку. Нежно обнимаю вас обоих, ваших и наших детей.

Е. Боратынский.



---

* Увеселительная прогулка *(франц.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первом разделе настоящего издания помещена почти вся лирика Боратынского. Исключено лишь небольшое количество стихотворений, не представляющих существенного значения для понимания творчества поэта, преимущественно мелкие альбомные стихотворения раннего периода и стихи, написанные в сообществе с другими авторами. Два «коллективных» стихотворения («Там, где Семеновский полк...» и «Князь Шаликов, газетчик наш печальный...») включены в примечаниях (стр. 546). Приписываемое Боратынскому стихотворение «С неба чистая...» выделено из основного текста и приведено во вступительной статье. Во втором разделе даны все поэмы Боратынского, в третьем — избранные прозаические произведения, а именно: литературно-критические статьи и повесть «Перстень». За пределами нашего издания остались переводы Боратынского из Шатобриана и К. де Местра, рассуждение «О заблуждениях и истине» и небольшой очерк «История кокетства». В четвертом разделе помещены избранные письма Боратынского, представляющие литературный интерес или отражающие наиболее значительные факты биографии поэта.

Все тексты стихотворений и поэм Боратынского, как правило, печатаются в последних прижизненных редакциях. Стихотворения размещены в хронологическом порядке. В тех случаях, когда данные о времени написания стихотворения отсутствуют, оно отнесено ко времени первого появления в печати.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Акад. изд. — Полное собрание сочинений Е. А. Боратынского, изд. Академии наук, т. I, П. 1914; т. II, П. 1915.

Б — журнал «Благонамеренный».

Е — журнал «Европеец».

Изд. 1827 г. — Стихотворения Евгения Боратынского, М. 1827.

Изд. 1835 г. — Стихотворения Евгения Боратынского, М. 1835.

Изд. 1869 г. — Сочинения Евгения Абрамовича Боратынского, М. 1869.

Изд. 1884 г. — Сочинения Евгения Абрамовича Боратынского, Казань, 1884.

М — Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии из Татевского архива Рачинских, П. 1916.

МВ — журнал «Московский вестник».

МН — журнал «Московский наблюдатель».

МТ — журнал «Московский телеграф».

НЗ — журнал «Невский зритель».

НЛ — журнал «Новости литературы».

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

ПД — Институт литературы Академии наук СССР («Пушкинский Дом»).

ПЗ — альманах «Полярная звезда».

ПСС — Полное собрание стихотворений, изд. «Советский писатель», тт. I и II, Л. 1936 («Библиотека поэта», большая серия).

РА — журнал «Русский архив».

С — журнал «Современник».

СЛ — журнал «Славянин».

СН — исторический сборник «Старина и новизна».

СО — журнал «Сын отечества».

СП — журнал «Соревнователь просвещения и благотворения».

«Сумерки»—Сумерки. Сочинение Евгения Боратынского, М. 1842.

СЦ — альманах «Северные цветы».

ТС — «Татевский сборник С. А. Рачинского», СПБ. 1899.

ЦГЛА — Центральный государственный литературный архив.

ЦС — альманах «Царское село».

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЖЕНЩИНЕ ПОЖИЛОЙ, НО ВСЕ ЕЩЕ ПРЕКРАСНОЙ (стр. 31)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *Б,* 1819 г., февраль, № 4, стр. 210. Посвящено Марии Андреевне Панчулидзевой (1781— около 1845), любимой тетке поэта. Мадригал является одним из первых сохранившихся стихотворений Боратынского.

К АЛИНЕ (стр. 32)

Печатается по *Б,* 1819 г., ч. V, № 6, стр. 332, где опубликовано впервые.

ПОРТРЕТ В... (стр. 33)

Печатается по *Б,* 1819 г., ч. V, № 6, стр. 334, где опубликовано впервые.

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА (стр. 34)

Печатается по *Б,* 1819 г., ч. V, № 6, стр. 334, где опубликовано впервые.

ЭПИГРАММА («ДАМОН! ТЫ НАЧАЛ — ПРОДОЛЖАЙ...») (стр. 35)

Печатается по *Б,* 1819 г., ч. VI, № 9, стр. 143, где опубликовано впервые. По предположению редакторов *ПСС,* т. II, стр. 283, под «Дамоном» подразумевается кн. Петр Иванович Шаликов (1767— 1852), поэт-эпигон карамзинской школы, выпустивший в 1819 г.

собрание своих сочинений. В 1827 г. Боратынским совместно с Пушкиным написана еще одна эпиграмма на Шаликова:

Князь Шаликов, газетчик наш печальный,
Элегию семье своей читал,
А казачок огарок свечки сальной
В руках со трепетом держал.
Вдруг мальчик наш заплакал, запищал.
— Вот, вот с кого пример берите, дуры! —
Он дочерям в восторге закричал. —
Откройся мне, о милый сын натуры,
Ах! что слезой твой осребрило взор?
А тот ему в ответ: мне хочется на двор.

К КРЕНИЦЫНУ (стр. 36)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в *СО*, 1819 г., ч. 55, стр. 181. Посвящено Александру Николаевичу Креницыну (1801—1865), товарищу Боратынского по Пажескому корпусу. После исключения из корпуса Боратынский постоянно переписывался, а вернувшись в Петербург в 1818—1820 гг., часто встречался с Креницыным. В 1820 г. Креницын был исключен из корпуса и разжалован в рядовые за «вольнодумство» и участие в корпусном бунте.

ДЕЛЬВИГУ («ТАК, ЛЮБЕЗНЫЙ МОЙ ГОРАЦИЙ . . .») (стр. 38)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СО*, 1819 г., ч. 55, № XXXI, стр. 228. Написано в начале 1819 г. в связи с поступлением на военную службу и обращено к поэту Антону Антоновичу Дельвигу (1798—1831), с которым Боратынский незадолго до того подружился и жил на одной квартире. К этому времени относится следующее стихотворение, совместно написанное обоими поэтами:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: какое в россиянах чувство!

ПРОЩАНИЕ (стр. 40)

Печатается по *Б,* 1819 г., ч. VI, № 15, стр. 142, где опубликовано впервые.

Т—МУ В АЛЬБОМ (стр. 41)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *СО,* 1819 г., ч. 58, № XLIX, стр. 126. По указанию С. А. Рачинского, относится к одному из знакомых Боратынского по Смоленской губернии — Шляхтинскому (*М,* стр. VI). В таком случае возможно предположить опечатку в заглавии стихотворения: «Т — му» вместо «Ш — му».

МОЯ ЖИЗНЬ (стр. 42)

Печатается по *ПСС,* т. I, стр. 266, где опубликовано впервые. Относится к периоду пребывания Боратынского в Петербурге в 1818—1819 гг. и характерно для «эпикурейских» тем раннего творчества поэта.

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «ВОСПОМИНАНИЯ» (стр. 43)

Печатается по *ПСС,* т. I. Впервые — в *НЗ,* 1820 г., ч. I, январь, стр. 85—94. Отрывок является вольным переводом из поэмы французского поэта Легуве «Воспоминания».

БРАТУ ПРИ ОТЪЕЗДЕ В АРМИЮ (стр. 49)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *НЗ,* 1820 г., ч. I, январь, стр. 98. Заглавие восстанавливается по первопечатному тексту. Посвящено брату поэта Ираклию Абрамовичу Боратынскому (1802—1859). Написано в 1819 г.

ЭПИГРАММА («ПОЭТ ПИСЦОВ В СТИХАХ ТЯЖЕЛОВАТ . . .») (стр. 50)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещено без заглавия. Впервые — в *НЗ,* 1820 г., ч. I, январь, стр. 103. Эпиграмма направлена против известного графомана гр. Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835).

РОПОТ (стр. 51)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЗ* 1820 г., ч. I, январь, стр. 99, под заглавием «Элегия» («Ужели близок час свиданья...»). По свидетельству С. А. Рачинского, обращено к дальней родственнице Боратынского Варваре Кучиной (*М,* стр. VI).

К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ (стр. 52)

Печатается по *СО,* 1820 г., ч. 59, стр. 225, где помещено впервые. Написано 18 января 1820 г. вскоре по приезде Боратынского в Финляндию. Обращено к поэту-декабристу Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру (1799—1846), с которым Боратынский сблизился в 1818 — начале 1819 г. Ответом на это послание является стихотворение Кюхельбекера «Поэты», написанное в мае 1820 г. и посвященное Боратынскому и Дельвигу.

РАЗЛУКА (стр. 53)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые опубликовано в *СП,* 1820 г., ч. IX, стр. 196, под заглавием «Элегия». По указанию С. А. Рачинского, посвящено В. Кучиной (*М,* стр. VI).

К—ВУ («ЛЮБВИ ВЕСЕЛЫЙ ПРОПОВЕДНИК. . .») (стр. 54)

Печатается по *СП,* 1820 г., ч. IX, стр. 327, где опубликовано впервые. По предположению редакторов *ПСС,* т. II, стр. 285, обращено к поэту-элегику Александру Абрамовичу Крылову (1795—1829), члену Вольного общества любителей российской словесности.

К ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ НА ВОПРОС: КАК ЕЕ ЗОВУТ? ОТВЕЧАЛА: НЕ ЗНАЮ (стр. 55)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *НЗ,* 1820 г., февраль, стр. 93. Заглавие восстановлено по первопечатному тексту.

ФИНЛЯНДИЯ (стр. 56)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СП,* 1820 г., ч. X, № 5, стр. 168—170. Написано в начале 1820 г. 10 марта того же года оглашено в заседании Вольного общества любителей российской

словесности. Стихотворение создало Боратынскому репутацию «певца Финляндии». В своем стихотворении Боратынский, следуя поэтической традиции (Державин, Жуковский, Батюшков), смешивает скандинавскую мифологию с финской.

ФИНСКИМ КРАСАВИЦАМ (стр. 58)

Печатается по *СП,* 1820 г., ч. X, № 5, стр. 186, где опубликовано впервые.

ВЕСНА («МЕЧТЫ ВОЛШЕБНЫЕ, ВЫ СКРЫЛИСЬ ОТ ОЧЕЙ!») (стр. 59)

Печатается по *СП,* 1820 г., ч. X, № 5, стр. 186, где опубликовано впервые.

ПОСЛАНИЕ К БАРОНУ ДЕЛЬВИГУ (стр. 60)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, где помещено без заглавия. Впервые — в *НЗ,* 1820 г., ч. I, март, стр. 56, под заглавием «Послание к Б..... Дельвигу». В *Изд. 1827 г.* озаглавлено: «Делию». Послание, повидимому, является ответом на послание Дельвига «Евгению» (1820 г.).

УТЕШЕНИЕ (стр. 62)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЗ*, 1820 г., ч. I, март, стр. 54. В *Изд. 1835 г.* озаглавлено: «Подражание Лафару». В *НЗ* датировано: «Фридрихсгам, 15 марта 1820 г.».

КОНШИНУ («ПОВЕРЬ, МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ, СТРАДАНЬЕ НУЖНО НАМ...») (стр. 63)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, где помещено без заглавия. Впервые — в *СО,* 1820 г., ч. 66, № XLIX, стр. 130—131. Написано в 1820 г. в Фридрихсгаме и посвящено Николаю Михайловичу Коншину (1794—1865), командиру роты Нейшлотского полка, в которой служил Боратынский. Коншин сам был поэтом.

ВЕСНА «НА ЗВУК ЦЕВНИЦЫ ГОЛОСИСТОЙ...») (стр. 65)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в альманахе *ПЗ* на 1823 г., стр. 85—86. Представлено в Вольное общество любителей российской словесности в 1820 году.

ОТЪЕЗД (стр. 67)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XV, стр. 236, вместе со стихотворением «Пора покинуть, милый друг...» под общим заглавием «Элегии». Написано в связи с отъездом из Финляндии в Петербург в декабре 1820 г.

КОНШИНУ («ПОРА ПОКИНУТЬ, МИЛЫЙ ДРУГ. . .») (стр. 68)

Печатается по *Изд. 1835 г.* с восстановлением, по *Изд. 1827 г.*, пропущенной, видимо по недосмотру, 21-й строки. Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XV, стр. 237, под заглавием «Н. М. К.» вместе со стихотворением «Отъезд» под общим заглавием «Элегии». В *Изд. 1827 г.* озаглавлено: «К....ну».

Пушкин в послании к Алексееву (1821 г.) цитирует две строки из этого стихотворения Боратынского:

Как мой задумчивый проказник,
Как Боратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной!
Нельзя ль найти любви надежной».

УНЫНИЕ (стр. 70)

Печатается по *Изд. 1884 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *СО*, 1821 г., ч. 67, № III, стр. 128. В *Изд. 1884 г.* заглавие «Лагерь», повидимому не принадлежащее поэту.

БДЕНИЕ (стр. 71)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *СП* 1821 г., ч. XIV, стр. 61—62.

В АЛЬБОМ («ВЫ СЛИШКОМ МНОГИМИ ЛЮБИМЫ. . .») (стр. 72)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XIV, стр. 65.

РОДИНА («Я ВОЗВРАЩУСЯ К ВАМ, ПОЛЯ МОИХ ОТЦОВ. . .») (стр. 73)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СО*, 1821 г., № VI, стр. 274—276, под заглавием «Сельская элегия».

По свидетельству А. Л. Боратынской, в этой элегии упоминается сельцо Подвойское (имение Б. А. Боратынского в Смоленской губернии), где поэт провел большую часть времени по исключении из Пажеского корпуса до поступления на военную службу. Однако текст стихотворения скорее позволяет предположить, что Боратынский обращается в нем к своей родине — усадьбе Мара в Тамбовской губернии.

ВОДОПАД (стр. 75)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XV, № 7, стр. 90—91, под заглавием «Водопад». Написано в Финляндии. Вероятно, имеется в виду водопад Хэгфорс, находившийся в двух километрах от крепости Кюмень, где служил Боратынский.

ЦВЕТОК (стр. 76)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XV, № 9, стр. 244.

БОЛЬНОЙ (стр. 77)

Печатается по *СО*, 1821 г., ч. 68, № VIII, стр. 37, где опубликовано впервые.

ДЕЛЬВИГУ («НАПРАСНО МЫ, ДЕЛЬВИГ, МЕЧТАЕМ НАЙТИ. . .») (стр. 78)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XVI, № 10, стр. 78—79, под заглавием «К Делию. Ода (с латинского)».

РАЗУВЕРЕНИЕ (стр. 80)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СП*, 1821 г., ч. XVI, № 11, стр. 204—205, вместе с элегией «Нет, не бывать тому», под общим заглавием «Элегии».

По свидетельству С. А. Рачинского, это стихотворение связано с первой любовью Боратынского к В. Кучиной (*М*, стр. VI). Широкую известность эта элегия получила благодаря романсу Глинки (1825 г.).

ЭЛЕГИЯ («НЕТ, НЕ БЫВАТЬ ТОМУ, ЧТО БЫЛО ПРЕЖДЕ! . .») (стр. 81)

Печатается по *СП*, 1821 г., ч. XVI, № 11, стр. 204, где опубликовано впервые.

ЛИДЕ (стр. 82)

Печатается по *Изд. 1835 г.*; заглавие восстановлено по первопечатному тексту. Впервые — в *СО,* 1821 г., ч. 68, № X, стр. 133.

ПЕСНЯ («СТРАШНО ВОЕТ, ЗАВЫВАЕТ. . .») (стр. 83)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СО,* 1821 г., ч. 68, № X, стр. 134 под заглавием «Русская песня». Пользовалась широкой популярностью в 20—30-х годах и неоднократно перепечатывалась в песенниках.

<ЭПИГРАММА> («В СВОИХ СТИХАХ ОН СКУКОЙ ДЫШИТ. . .») (стр. 85)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещена без заглавия. Впервые — в *Б,* 1821 г., август, ч. XV, № 15, стр. 160.

Повидимому, направлена против гр. Д. И. Хвостова, отличавшегося страстью читать вслух свои стихи.

«ПРИЯТЕЛЬ СТРОГИЙ, ТЫ НЕ ПРАВ. . .» (стр. 86)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещена без заглавия. Впервые — в *СО,* 1821 г., ч. 70, № XXII, стр. 175—177, под заглавием «Булгарину». В *Изд. 1827 г.* заглавие «К...».

Послание обращено к журналисту Фаддею Венедиктовичу Булгарину (1799—1859) в ответ на упрек в эпикурействе поэтов пушкинского круга. По поводу этого стихотворения Булгарин впоследствии писал: «Из посланий (Боратынского. — *К. П.*) лучшие к Н. И. Гнедичу, к Дельвигу... и ко мне. Послание ко мне было напечатано в «Сыне отечества» и перепечатано в образцовых сочинениях с моим именем: К Булгарину; имя мое было даже в стихе. По переселении в Москву, он стал писать ко мне послания другого рода, а в прежнем имя мое заменено точками в заглавии, а в стихе я пожалован в «менторы». В *Изд. 1827 г.* первый стих действительно читался: «Нет, нет! мой ментор, ты неправ». Однако послания «другого рода» (т. е. эпиграммы) Боратынский стал писать к нему еще до своего «переселения в Москву», когда уже достаточно ясно определились беспринципность и реакционность общественно-литературной деятельности Булгарина.

ДОБРЫЙ СОВЕТ (стр. 88)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СО*, 1821 г., ч. 71, № XXIX, стр. 131, под заглавием «К — ну». В *Изд. 1827 г.* фамилия Н. М. Коншина, которому посвящено стихотворение, в подзаголовке полностью не раскрыта.

РИМ (стр. 89)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1824 г., стр. 63. В 1821 г. представлено в Вольное общество любителей российской словесности. Рим с детства интересовал Боратынского, воспитанного «дядькой-итальянцем» Боргезе.

«КОГДА НЕОПЫТЕН Я БЫЛ. . .» (стр. 90)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 276, под заглавием «Л — ой».

Написано не позднее 1821 г. в альбом Софии Дмитриевны Пономаревой (1794—1824), рожд. Поздняк. Боратынский познакомился с нею в конце 1820 г. и был усердным посетителем ее салона. При жизни Боратынского ни одно стихотворение, посвященное им С. Д. Пономаревой, не печаталось с ее именем. Этим и объясняется заглавие «Л — ой», появившееся в «Полярной звезде». Возможно, впрочем, что позднее поэт переписал это же стихотворение в альбом Анны Васильевны Лутковской, в который он неоднократно вписывал свои старые стихи, и тем самым оно приобрело нового адресата.

СЛУЧАЙ (стр. 91)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, где опубликовано впервые.

ДЕЛИИ (стр. 92)

Печатается по *Изд. 1835 г.*; заглавие восстанавливается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ*, 1822 г., кн. 1, № 8, стр. 126, под заглавием «Дориде». В копии А. Л. Боратынской (*ПД*) озаглавлено: «С. Д. П.», т. е. Софии Дмитриевне Пономаревой.

ДОГАДКА (стр. 93)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *Б*, 1822 г., ч. 17, № XI, стр. 443.

ПОЦЕЛУЙ (стр. 94)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *Б*, 1822 г., ч. 17, № XI, стр. 444, под заглавием «Поцелуй (Дориде)».

ВОЗВРАЩЕНИЕ (стр. 95)

Печатается по *ПСС*, т. I. Впервые — в *Б*, 1822 г., ч. 17, № XI, стр. 444. В оглавлении *Изд. 1827 г.* подзаголовок: «Подражание Мильвуа». Вольное переложение элегии Мильвуа «Le retour».

К—ВУ («ЧТОБ ОЧАРОВЫВАТЬ СЕРДЦА. . .») (стр. 96)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в «Русском инвалиде», 1822 г., № 28, стр. 112. Адресат неизвестен. В 20-х годах XIX в. разгорелся спор о преимуществах того или иного жанра в связи с поэмами Пушкина и лирикой поэтов пушкинской плеяды.

Фофанов. — В истории русской литературы 20-х годов XIX в. поэт с такой фамилией неизвестен. Возможно, что Боратынский заменил в данном случае действительную фамилию вымышленной.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1857) — поэт.

Парни Эварист-Дезире (1753—1814) — французский поэт.

ДЕЛЬВИГУ («ДАЙ РУКУ МНЕ, ТОВАРИЩ ДОБРЫЙ МОЙ. . .») (стр. 98)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1823 г., стр. 374—376.

...печальный срок... — Знакомство Боратынского с Дельвигом состоялось в конце 1818 г., когда автор послания готовился к поступлению на военную службу.

Ты ввел меня в семейство добрых муз. — Дельвигу Боратынский был обязан близостью с Пушкиным и поэтами его круга. С поэтическим вкусом Дельвига Боратынский очень считался.

ЭПИГРАММА («ВЕЗДЕ БРАНИТ ПОЭТ КЛЕОН. . .») (стр. 100)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, стр. 114, где помещена впервые. Эпиграмма, повидимому, вызвана одновременным появлением в «Благонамеренном» и «Вестнике Европы», 1822 г., стихотворения Б. М. Федорова «Союз поэтов», пародирующего послания Боратынского и Дельвига.

«ТАК, ОН ЛЕНИВЕЦ, ОН НЕГОДНИК. . .» (стр. 101)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I, стр. 87, где помещено впервые.

Эпиграмма по теме близка к эпиграмме Пушкина «Как брань тебе не надоела...» По предположению редакторов *ПСС*, т. II, стр. 286, относится к сотруднику «Благонамеренного» кн. Цертелеву, выступавшему против Пушкина и его друзей. Датируется не позднее 1822 г.

Н. И. ГНЕДИЧУ («ТАК ДЛЯ ОТРАДНЫХ ЧУВСТВ. . .») (стр. 102)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *НЛ*, 1823 г., кн. VI, № 102, стр. 29.

Обращено к поэту Николаю Ивановичу Гнедичу (1784—1833), переводчику «Илиады» Гомера, автору прославленной в свое время идиллии «Рыбаки», относившемуся с большим участием к судьбе Боратынского. Знакомство их состоялось в 1820 г. Боратынский считал Гнедича одним из своих литературных наставников. Написано в Финляндии.

ПАДЕНИЕ ЛИСТЬЕВ (стр. 105)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ*, 1823 г., кн. III, № 12, стр. 186. Стихотворение является вольным переводом элегии Мильвуа «La chute des feuilles».

«ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ МНЕ ДРУЖЕСКИЕ ПЕНИ. . .» (стр. 107)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *НЛ*, 1823 г., кн. IV, № 18, стр. 78, под заглавием «К***». В *Изд. 1827 г.* помещено как заключительное стихотворение раздела элегий и озаглавлено: «Эпилог».

ЛЕТА (стр. 108)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1823 г., кн. IV, № 19, стр. 95, под заглавием «К Лете». По содержанию является близким переводом стихотворения Мильвуа «Le fleuve d'oubli» («Река забвения»).

ДВЕ ДОЛИ (стр. 109)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* заглавие восстанавливается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1823 г., кн. IV, № 22, стр. 141, под заглавием «Стансы».

ГНЕДИЧУ, КОТОРЫЙ СОВЕТОВАЛ СОЧИНИТЕЛЮ ПИСАТЬ САТИРЫ (стр. 110)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *Изд. 1827 г.*

Первоначальная редакция этого стихотворения написана не позднее ноября 1823 г., так как в письме к А. А. Дельвигу от 16 ноября 1823 г. Пушкин упоминает об этих стихах: «Разделяю твои надежды на Языкова и давнюю любовь к непорочной Музе Боратынского... Сатира к Гнедичу мне не нравится, даром что стихи прекрасные, в них мало перца...» Возможно, что этот отзыв Пушкина, ставший известным Боратынскому, побудил его переработать свое послание.

Вельможа-гражданин — Николай Семенович Мордвинов (1754—1845), либеральный государственный деятель, пользовавшийся популярностью в кругах членов тайных обществ 20-х годов и намечавшийся ими в члены временного правительства.

От дней Фелицыных. — Имеется в виду царствование Екатерины II.

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ (стр. 113)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1823 г., кн. V, № 38, стр. 190.

РАЗМОЛВКА (стр. 114)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1823 г., кн. V, № 38, стр. 190.

К... О («ПРИМАНКОЙ ЛАСКОВЫХ РЕЧЕЙ...») (стр. 115)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1823 г., кн. VI, № 40, стр. 14, под заглавием «Хлое». В альманахе «Урания» на 1826 г. озаглавлено: «Климене». В посмертных изданиях 1869 и 1884 гг. отнесено к С. Д. Пономаревой.

ИСТИНА (стр. 116)

Печатается по тексту *ПСС,* т. I. Впервые — в *ПЗ* на 1824 г., стр. 19—21, с подзаголовком «Ода». В *Изд. 1835 г.* помещено без заглавия.

Белинский считал это стихотворение примером «несчастного раздора мысли с чувством, истины с верованием», составлявшего, по его мнению, основу поэзии Боратынского (Собр. соч. в трех томах, т. 2, М. 1948, стр. 431).

«О СВОЕНРАВНАЯ СОФИЯ!» (стр. 118)

Печатается по *ПСС,* т. I, в котором, ввиду следов цензурного вмешательства в первопечатной редакции, отдано предпочтение раннему беловому автографу. Впервые — в *ПЗ* на 1824 г., стр. 27, под заглавием «Аглае». Написано в альбом С. Д. Пономаревой, по-видимому зимой 1822—1823 гг.

ЛУТКОВСКОМУ (стр. 120)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1824 г., стр. 259—261.

Посвящено Георгию Алексеевичу Лутковскому (ум. в 1831 г.), командиру Нейшлотского полка. Лутковский был давним знакомым семьи Боратынских, и во время своего пребывания в Финляндии поэт почти все время жил в его доме. По признанию поэта, Лутковский и его семья своим внимательным отношением облегчили ему «тягость изгнания».

...военные рассказы — воспоминания Лутковского о войнах с Наполеоном, в которых он участвовал.

Епендорфские трофеи — трофеи, захваченные русскими войсками в одном из боев на территории Саксонии, в селении Эппендорф.

ПРИЗНАНИЕ (стр. 122)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *ПЗ* на 1824 г., стр. 312.

По прочтении этой элегии Пушкин писал А. А. Бестужеву 12 января 1824 г.: «Боратынский — прелесть и чудо; Признание — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий».

В АЛЬБОМ («КОГДА Б ВЫ МЕНЕЕ ПРЕКРАСНОЙ...») (стр. 124)

Печатается по *ПСС*, т. I. Впервые — в «Вестнике Европы», 1894 г., кн. 3, стр. 38. Посвящено С. Д. Пономаревой.

ДЕЛЬВИГУ («Я БЕЗРАССУДЕН — И НЕ ДИВО!») (стр. 125)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, где помещено без заглавия. Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 148. В *Изд. 1827 г.* озаглавлено: «Д—гу». Написано не позднее 1823 г. Под именем Делии, вероятно, подразумевается С. Д. Пономарева, которой в то время увлекались Боратынский и Дельвиг.

«КОГДА ПРИДЕТСЯ КАК-НИБУДЬ...» (стр. 127)

Печатается по «Известиям Академии наук» 1911 г., стр. 523, где опубликовано впервые. Написано в альбом Анны Васильевны Лутковской. Датировано: «Роченсальм. Февраля 15-го 1824 года».

НЕВЕСТЕ (стр. 128)

Печатается по *ЦС* на 1830 г., стр. 234, где опубликовано впервые. Посвящено Авдотье Яковлевне Васильевой, невесте Н. М. Коншина. Датировано в автографе «Роченсальм, 1824». Коншин ответил поэту стихотворением «Спасибо за восемь стихов».

«МЛАДЫЕ ГРАЦИИ СПЛЕЛИ ТЕБЕ ВЕНОК...» (стр. 129)

Печатается по «Известиям Академии наук» 1911 г., стр. 522, где опубликовано впервые. Стихотворение вписано в альбом А. В. Лутковской и датируется 1823—1824 гг. В автографе имеется помета «Фридрихсгам».

В АЛЬБОМ СОФИИ (стр. 130)

Печатается по *СЛ,* 1827 г., ч. 1, № 3, отд. 2, стр. 35, где опубликовано впервые, с примечанием к 7-му стиху: «В опере *Сандрилиона* король влюбляется и женится на Сандрилионе». Вписано поэтом в альбом А. В. Лутковской и датируется не позднее 1824 г.

Сандрилиона. — Подразумевается либо опера Россини, пользовавшаяся большим успехом в 20-х годах, либо опера Штейбельта, ставившаяся в русских театрах с 1814 года.

БОГДАНОВИЧУ (стр. 131)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1827 г., стр. 335—339. Написано до 17 июня 1824 г. Обращено к Ипполиту Федоровичу Богдановичу (1743—1803), автору поэмы «Душенька».

Новейшие поэты — поэты-романтики, авторы элегий.

Кто Душеньку твою всех прежде оценил? — Екатерина II очень хвалила «Душеньку», и придворные считали своим долгом восхищаться поэмой, отмеченной одобрением императрицы.

Избрать в советники кота и петуха. — Живя в уединении, Богданович имел при себе кота и петуха, которых называл своими друзьями.

Недавно от него товарищ твой Назон. — Римский поэт Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.). Имеется в виду послание Пушкина «К Овидию» (1821 г.), напечатанное в «Полярной звезде» на 1823 г.

К... («МНЕ С УПОЕНИЕМ ЗАМЕТНЫМ... ») (стр. 134)

Печатается по *Изд. 1884 г.,* но без инициалов «Г. З.» в виде заглавия. Инициалы эти, расшифровываемые как «Графине Закревской», явно произвольны и ошибочны, так как Боратынский познакомился с нею лишь осенью 1824 г. Восстанавливаем заглавие «К...» по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *НЛ,* 1824 г., кн. IX, июль, стр. 40.

Меж мудрецами был чудак. — Намек на известную философскую формулу Декарта: «Я мыслю — следовательно, я существую».

ЗВЕЗДА (стр. 136)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* с восстановлением заглавия по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СЦ* на 1825 г., стр. 313, под заглавием

«Звездочка». В *СЦ* датировано 24 сентября. Однако уже 5 августа того же года А. И. Тургенев цитирует это стихотворение в письме к П. А. Вяземскому («Остафьевский архив», т. III, стр. 69).

ОПРАВДАНИЕ (стр. 138)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *СЦ* на 1825 г., стр. 263.

ЛЮБОВЬ (стр. 140)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СЦ* на 1825 г., стр. 265, под заглавием «Сонет».

УВЕРЕНИЕ (стр. 141)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в альманахе «Северная звезда» на 1829 г., стр. 121, с датой «1824».

ФЕЯ (стр. 142)

Печатается по *ЦС* на 1830 г., стр. 157, где помещено впервые. Датируется 1824 г.

ЧЕРЕП (стр. 143)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1825 г., стр. 282—283. Датируется концом 1824 г.

Критикой того времени «Череп» сравнивался со стихотворением Байрона «Надпись на кубке из черепа». При этом отмечалось, что тема, которую Байрон затрагивает почти в шутливом тоне, перерастает у Боратынского в глубокое философское размышление. Стихотворение дало Пушкину повод назвать поэта «Гамлетом-Боратынским» («Послание Дельвигу»).

БУРЯ (стр. 145)

Печатается по *ПСС,* т. I. Впервые — в альманахе «Мнемозина», 1825 г., ч. IV, стр 214—215. В *Изд. 1835 г.* заглавие снято; строки 11—20 заменены точками по требованию цензуры. Написано в Гельсингфорсе осенью 1824 г. — повидимому, под впечатлением морских бурь во время ноябрьского наводнения.

ЛЕДА (стр. 147)

Печатается по альманаху «Мнемозина», 1825 г., ч. IV, стр. 221, где опубликовано впервые. Стихотворение является вольной переделкой стихотворения Парни «Léda». Написано не позднее января 1825 г.

«ОТЧИЗНЫ ВРАГ, СЛУГА ЦАРЯ. . .» (стр. 149)

Печатается по сборнику «Звенья», № 5, изд. «Academia», 1935 г., стр. 188, где опубликовано впервые.

Эпиграмма написана не позднее января 1825 г., так как сохранилась в списке, сделанном Н. В. Путятой при его отъезде из Финляндии в Петербург в начале февраля этого года. Направлена против всесильного во вторую половину царствования Александра I временщика гр. Алексея Андреевича Аракчеева (1768—1836).

Скрываясь от очей. — Намек на уединение Аракчеева в своем поместье Грузино, Новгородской губернии.

НАДПИСЬ (стр. 150)

Печатается по *СЦ* на 1826 г., стр. 67, где опубликовано впервые. Датируется не позднее января 1825 г., так как существует копия «Надписи», сделанная Н. В. Путятой при его отъезде из Финляндии в начале февраля этого года.

В посмертных изданиях 1869 и 1884 гг. стихотворение озаглавлено: «Надпись на портрет Грибоедова». Для этого нет достаточно веских данных, кроме инициалов «А. С. Г.» в позднейшей копии А. Л. Боратынской (*ПД*). По справедливому замечанию редакторов *ПСС,* т. II, стр. 242, «Надпись» рисует нам обобщенное «лицо элегика, скорее всего — самого автора».

«КАК МНОГО ТЫ В НЕМНОГО ДНЕЙ...» (стр. 151)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *Изд. 1827 г.* с заглавием «К....» и с измененными по требованию цензуры двумя последними строками:

Как покаянье плачешь ты,
И как безумье ты хохочешь.

В *Изд. 1835 г.* по тем же причинам предпоследний стих заменен точками. Написано в Гельсингфорсе в конце 1824 — начале 1825 г. и обращено к Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879), рожд. гр. Толстой, жене финляндского генерал-губернатора. Об увлечении Боратынского ею свидетельствуют его письма к Н. В. Путяте. Закревская выведена Боратынским в поэме «Бал» в образе княгини Нины.

ЭЛИЗИЙСКИЕ ПОЛЯ (стр. 152)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 103—105, под заглавием «Елисейские поля».

АВРОРЕ Ш... (стр. 154)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 116, под заглавием «Девушке, которой имя было: Аврора».

Обращено к Авроре Карловне Шернваль (1808—1902), дочери выборгского губернатора. Написано в конце 1824 — начале 1825 г.

К ЖЕСТОКОЙ (стр. 155)

Печатается по *Изд. 1884 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 191. В изданиях 1869 и 1884 гг. озаглавлено: «С. Д. П.», т. е. Софии Дмитриевне Пономаревой, но это заглавие не принадлежит автору.

СТАНСЫ (стр. 156)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *ПЗ* на 1825 г., стр. 316, где в начале стихотворения имеются 24 строки, исключенные в окончательной редакции.

СЕСТРЕ (стр. 157)

Печатается по *НЛ,* 1825 г., апрель, стр. 50, где опубликовано впервые.

Обращено к сестре поэта Софье Абрамовне Боратынской (1801—1844), постоянно жившей в имении Боратынских Мара, Тамбовской губернии.

ВЕСЕЛЬЕ И ГОРЕ (стр. 158)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *МТ*, 1825 г., № 4, стр. 310. Написано в 1824 г.

ЗАПРОС МУХАНОВУ (стр. 159)

Печатается по *МТ*, 1825 г., № 9, где опубликовано впервые.

Адресовано Александру Алексеевичу Муханову (1800—1834), адъютанту финляндского генерал-губернатора Закревского. Муханов был влюблен в Аврору Шернваль (см. стр. 562). На ее имени основана игра слов в заключительных строках стихотворения.

«ВОЙНОЙ ЖУРНАЛЬНОЮ БЕСЧЕСТИТ БЕЗ ПРИЧИНЫ...» (стр. 160)

Печатается по тексту в письме Боратынского к И. И. Козлову (см. стр. 482). Впервые — в «Остафьевском архиве», т. III, стр. 120. Эпиграмма направлена против кн. Петра Андреевича Вяземского (1792—1878), с которым Боратынский тогда еще не был знаком. Их знакомство состоялось в конце 1825 г. Сохранившиеся письма Боратынского к Вяземскому свидетельствуют о дружеских отношениях, быстро установившихся между двумя поэтами.

Война журнальная — полемика о классицизме и романтизме, в которой принимал участие Вяземский.

Орлов — гр. Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

К ДЕЛЬВИГУ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО ЖЕНИТЬБЫ (стр. 161)

Печатается по тексту *СЛ,* 1827 г., ч. II, № 15, стр. 77. Впервые — в альманахе «Сириус», 1826 г., стр. 76, под заглавием «В альбом N. N. на другой день его свадьбы». Свадьба Дельвига с Софьей Михайловной Салтыковой состоялась 30 октября 1825 г., чем и определяется датировка стихотворения.

Д. ДАВЫДОВУ (стр. 162)

Печатается по *ПСС*, т. I. Впервые — в *МТ*, 1826 г., ч. X, № 14, стр. 55. Написано 14 ноября 1825 г. в Москве после вечера, проведенного у Н. А. Муханова вместе с поэтом и партизаном Отечественной войны Денисом Васильевичем Давыдовым (1784—1839). Знакомство Давыдова с Боратынским состоялось, повидимому, еще в 1819—1820 гг. Давыдов принадлежал к числу лиц, принимавших живое участие в судьбе Боратынского. В 1824 г. он дважды обращался к финляндскому генерал-губернатору Закревскому с письменным ходатайством, ручаясь за Боратынского.

«Я БЫЛ ЛЮБИМ, — ТВЕРДИЛА ТЫ...» (стр. 163)

Печатается по *М*, стр. 3—4. Впервые — в *Акад. изд.*, т. I, стр. 58. Датируется 31 ноября 1825 г.

«ПРОСТИТЕ, СПОРЮ НЕВПОПАД...» (стр. 164)

Печатается по *СН*, кн. 5, 1902, стр. 44, где опубликовано впервые. Послано Боратынским в письме к П. А. Вяземскому и датируется 1825 г.

К *** ПРИ ПОСЫЛКЕ ТЕТРАДИ СТИХОВ (стр. 165)

Печатается по *Изд. 1827 г.* с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в альманахе «Урания» на 1826 г., стр. 73. В *Изд. 1884 г.* озаглавлено: «Г. З.» (Графине Закревской).

ОЖИДАНИЕ (стр. 166)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в альманахе «Урания» на 1826 г., стр. 101. Стихотворение является переводом элегии Парни «Réflexion amoureuse».

А. А. В—ОЙ (стр. 167)

Печатается по копии с автографа *ПД*, предоставленной Ю. Н. Верховским. Впервые — в *СЦ* на 1827 г., стр. 226. Посвящено Александре Андреевне Воейковой (1797—1829), жене сатирика и журналиста А. Ф. Воейкова, воспетой Жуковским под именем «Светлана».

ПЕСНЯ («КОГДА ВЗОЙДЕТ ДЕННИЦА ЗОЛОТАЯ...») (стр. 168)

Печатается по *СЦ* на 1827 г., стр. 265—266, где опубликовано впервые. Написано в 1824—1825 гг.

ДОРОГА ЖИЗНИ (стр. 170)

Печатается по *Изд. 1835 г.* с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в «Невском альманахе» на 1826 г., стр. 71.

К АННЕТЕ (стр. 171)

Печатается по *СЦ* на 1826 г., стр. 15, где опубликовано впервые.

Л. С. П—НУ (стр. 172)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *СЦ* на 1826 г., стр. 40.

Посвящено Льву Сергеевичу Пушкину (1805—1852), брату поэта. Боратынский находился в дружеских отношениях с Л. С. Пушкиным, с которым познакомился, повидимому, еще до своего отъезда в Финляндию. Впоследствии они встречались в салоне А. А. Воейковой.

ЭПИГРАММА («СВОИ СТИШКИ ТОЩЕВ ПИИТ...») (стр. 173)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, стр. 92, где опубликована впервые. В *Изд. 1884 г.* «Тощев» заменено «Дренцев».

Направлена против поэта-романтика Александра Ардалионовича Шишкова (1799—1832). Датируется предположительно 1824—1825 гг.

ЭПИГРАММА («И ТЫ ПОЭТ, И ОН ПОЭТ!..») (стр. 174)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *СЦ* на 1827 г., стр. 332. Написана не позднее 1825 г.

«СЕРДЕЧНЫМ НЕЖНЫМ ЯЗЫКОМ...» (стр. 175)

Печатается по *Изд. 1835 г.* с восстановлением цензурного изменения в 7-й строке: «И сладострастных *лобызаний»* вместо «осязаний».

Время написания стихотворения неизвестно. Во всяком случае оно относится еще к 20-м годам (А. Н. Вульф цитирует его в своем дневнике под 11 ноября 1829 г. — см. *Акад. изд.*, т. I, стр. 280) и несомненно написано до 1826 г. — года женитьбы поэта.

ЭПИГРАММА («ЧТО НИ БОЛТАЙ, А Я ВЕЛИКИЙ МУЖ!..») (стр. 176)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в *МТ*, 1826 г., ч. VII, № 2, стр. 60. Эпиграмма направлена против Ф. В. Булгарина.

Был воином. — Булгарин участвовал в войнах 1805—1814 гг.

Судебную бумагу вам начерню — намек на процесс, который Булгарин вел за своего дядю П. Булгарина.

«В СВОИХ ЛИСТАХ ДУШОНКОЙ ТЫ КРИВИШЬ...» (стр. 177)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в *РА* 1867 г., вып. 2, в письме к Н. В. Путяте (см. стр. 487).

Эпиграмма написана не позднее середины января 1826 г. и направлена против Ф. В. Булгарина, издававшего в то время газету «Северная пчела».

ЭПИГРАММА («НЕ ТРОГАЙТЕ ПАРНАССКОГО ПЕРА...») (стр. 178)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *МТ*, 1826 г., ч. VII, № 3, стр. 124. Написана не позднее января 1826 г.

ОНА (стр. 179)

Печатается по тексту *СЛ*, 1827 г., ч. II, № XX, стр. 293, где опубликовано впервые.

Повидимому, относится к невесте поэта, Анастасии Львовне Энгельгардт (1804—1860). В таком случае оно написано до 9 июня 1826 г., дня свадьбы поэта.

ТОВАРИЩАМ (стр. 180)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, где опубликовано впервые.

Редактор *Акад. изд.* высказывает предположение, что данное стихотворение связано с женитьбой поэта (1826 г.) и является прощанием с товарищами его холостой жизни.

К АМУРУ (стр. 181)

Печатается по альманаху «Северная лира» на 1827 г., стр. 429, где опубликовано впервые.

НОВИНСКОЕ (стр. 182)

Печатается по сборнику *«Сумерки»,* где помещено впервые.

Написано, повидимому, в 1826 г., в связи с пребыванием Пушкина в Москве по возвращении из Михайловского. Непосредственные обстоятельства, вызвавшие это стихотворение, не выяснены. Неизвестен и год его переработки.

Новинское — место гуляний в Москве.

ЭПИГРАММА («ТЫ РОПЩЕШЬ, ВАЖНЫЙ ЖУРНАЛИСТ...») (стр. 183)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в альманахе «Литературный музеум» на 1827 г., стр. 259.

Под «важным журналистом», вероятно, подразумевается Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842), издатель «Вестника Европы», поборник консервативного направления в литературе, постоянно помещавший в своем журнале пародии и эпиграммы на поэтов пушкинского круга.

ЭПИГРАММА («ОКОГЧЕННАЯ ЛЕТУНЬЯ...») (стр. 184)

Печатается по *МВ,* 1827 г., ч. I, № IV, стр. 254, где опубликована впервые.

НАЯДА (стр. 185)

Печатается по *СЦ* на 1827 г., стр. 330, где опубликовано впервые. Стихотворение является вольным переводом отрывка идиллии А. Шенье: «Je sais quand le midi leur fait désirer l'ombre...»

«ОТКУДА ВЗЯЛ ВАСИЛИЙ НЕПОТЕШНЫЙ...» (стр. 186)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I, стр. 88, где опубликовано впервые. Эпиграмма написана в конце декабря 1826 г., так как П. А. Вяземский сообщил ее В. А. Жуковскому в письме от 6 января 1827 г. в качестве литературной новинки — вместе с эпиграммой «Хотите ль знать...» и стихотворением «Наяда».

Василий непотешный — Василий Львович Пушкин (1767—1830), поэт карамзинской школы.

«...потешный Буянов» — герой поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед».

«ХОТИТЕ ЛЬ ЗНАТЬ ВСЕ ТАИНСТВА ЛЮБВИ...» (стр. 187)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I, стр. 88, где опубликовано впервые. Датируется концом 1826 г. на тех же основаниях, что и эпиграмма «Откуда взял Василий непотешный...»

В АЛЬБОМ («ПЕРЕЛЕТАЙ К ВЕСЕЛЬЮ ОТ ВЕСЕЛЬЯ...») (стр. 188)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *МВ,* 1827 г., ч. II, № V, стр. 9, под заглавием «Эпиграмма». По свидетельству С. А. Рачинского (*М,* стр. VI), посвящено Е. Куприяновой.

К *** («НЕ БОЙСЯ ЕДКИХ ОСУЖДЕНИЙ...») (стр. 189)

Печатается по *Изд. 1827 г.* Впервые — в *МТ,* 1827 г., ч. XIII, № 3, стр. 96.

Из высказывавшихся комментаторами стихотворения догадок относительно того, к кому оно обращено, наиболее правдоподобно предположение, что стихотворение относится к польскому поэту Адаму Мицкевичу (1798—1855), талант которого Боратынский высоко ценил.

РОДИНА («СУДЬБОЙ НАЛОЖЕННЫЕ ЦЕПИ. . .») (стр. 190)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *МТ,* 1828 г. январь, № 2, стр. 191, под заглавием «Стансы».

Судьбой наложенные цепи — намек на годы военной службы Боратынского.

...родные степи — имение Мара, Тамбовской губернии — родина Боратынского.

Я братьев знал — воспоминание о декабристах, в частности о Кюхельбекере, А. Бестужеве и Рылееве.

Далече бедствуют иные — перефразировка эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина: «...иных уже нет, другие странствуют далече».

...с младенцем тихим — подразумевается старшая дочь поэта Александра Евгеньевна (1826—1874).

ЭПИГРАММА («КАК СЛАДИТЬ С ГЛУПОСТЬЮ ГЛУПЦА?») (стр. 192)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, стр. 83, где опубликовано впервые.

В АЛЬБОМ («КОГДА Б ИЗБРАТЬ ВОЗМОЖНО БЫЛО МНЕ...») (стр. 193)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, где помещено без заглавия. Впервые — в *Изд. 1827 г.* В копии А. Л. Боратынской (*ПД*) последний стих читается:

Чем Машеньке понравиться могу я.

ЭПИГРАММА («ИДИЛЛИК НОВЫЙ НА ИСКУС...») (стр. 194)

Печатается по *Изд. 1827 г.*, стр. 91, где помещена впервые. Направлена против Владимира Ивановича Панаева (1792—1859), автора идиллий, враждебно настроенного по отношению к Боратынскому и другим поэтам пушкинского круга.

НА НЕКРАСИВУЮ ВИНЬЕТКУ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ АВТОРА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ, А ПОДЛЕ НЕГО ИСТИНУ (стр. 195)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в *МТ*, 1827 г., ч. XV, стр. 5, под заглавием «Журналист Фиглярин и Истина».

Эпиграмма направлена против Ф. В. Булгарина, поместившего на титульном листе своих сочинений (1827 г.) виньетку, изображавшую явление Истины автору. В предисловии к сочинениям Булгарин комментирует виньетку.

«УБОГ УМОМ, НО НЕ УБОГ ЗАДОРОМ...» (стр. 196)

Печатается по *ПСС,* т. I, стр. 303, где опубликовано впервые. Написано в 1827 г. по тому же поводу, что и эпиграмма Пушкина «Лук звенит, стрела трепещет...»: посредственный поэт Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) на вечере у кн. З. Волконской отбил руку у гипсовой статуи Аполлона и в свое оправдание написал на пьедестале стихотворный экспромт.

ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ (стр. 197)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1828 г., стр. 89—93.

Белинский в статье 1842 г. назвал это стихотворение «апофеозой всей поэзии г. Боратынского» (Собрание сочинений в трех томах», 1948, т. 2, стр. 432).

ИЗ А. ШЕНЬЕ («ПОД БУРЕЮ СУДЕБ, УНЫЛЫЙ, ЧАСТО Я...») (стр. 200)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 46, под заглавием «Смерть. Подражание А. Шенье». Является сокращенным переводом стихотворения Шенье «Elégie XXV» («Элегия XXV»).

ДЕРЕВНЯ (стр. 201)

Печатается по *СЦ* на 1829 г., стр. 59, где опубликовано впервые.

СТАРИК (стр. 202)

Печатается по *СЦ* на 1829 г., стр. 64, где опубликовано впервые.

«КАК РЕВНОСТНО ТЫ САМ СЕБЯ ДУРАЧИШЬ!» (стр. 203)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 170, вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«СТАРАТЕЛЬНО МЫ НАБЛЮДАЕМ СВЕТ...» (стр. 204)

Печатается по *СЦ* на 1829 г., стр. 170, где опубликовано впервые вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«МОЙ ДАР УБОГ, И ГОЛОС МОЙ НЕ ГРОМОК...» (стр. 205)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 171, вместе с другими стихотворениями поэта, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«ГЛУПЦЫ НЕ ЧУЖДЫ ВДОХНОВЕНЬЯ...» (стр. 206)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 171, вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

«НЕ ПОДРАЖАЙ: СВОЕОБРАЗЕН ГЕНИЙ...» (стр. 207)

Печатается по *СЦ* на 1829 г., стр. 172, где опубликовано впервые вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения».

Посвящено польскому поэту Адаму Мицкевичу и написано в связи с выходом в свет, в феврале 1828 г., поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод», в которой современники усматривали влияние Байрона.

Дорат — французский поэт К.-Ж. Дора (1734—1807).

БЕСЕНОК (стр. 208)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещено без заглавия. Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 187, под заглавием «Бесенок».

Громобой — герой баллады В. Жуковского «Двенадцать спящих дев».

ПРИ ПОСЫЛКЕ «БАЛА» С. Э. (стр. 210)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещено впервые. Обращено к свояченице поэта, Софии Львовне Энгельгардт (1811—1884), в замужестве Путята. Первоначальная редакция написана на экземпляре отдельного издания поэмы «Бал», выпущенного в 1828 г.

СМЕРТЬ (стр. 211)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *МВ,* 1829 г., ч. I, № I, стр. 45—46.

В АЛЬБОМ («АЛЬБОМ ПОХОДИТ НА КЛАДБИЩЕ. . .») (стр. 213)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в журнале «Галатея», 1829 г., ч. I, № 2, стр. 90. Обращено к поэтессе Каролине Карловне Яниш (1807—1893), в замужестве Павловой. Ряд стихотворений Боратынского, переведенных ею на немецкий язык, опубликован в 1833 г. в сборнике: «Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Litteratur von Karoline Jaenisch. Dresden und Leipzig».

К<НЯГИНЕ> З. А. ВОЛКОНСКОЙ (стр. 214)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в альманахе «Подснежник» на 1829 г., стр. 151—153, под заглавием «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию».

Посвящено Зинаиде Александровне Волконской, рожд. кн. Белосельской-Белозерской (1792—1862). Хозяйка известного в Москве 20-х годов литературно-артистического салона, Волконская сама писала стихи и была композитором-дилетантом. Стихотворение написано в связи с предстоявшим отъездом З. А. Волконской в Италию в конце февраля 1829 г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА («ХВАЛА, МАСТИТЫЙ НАШ ЗОИЛ!») (стр. 216)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, заглавие восстановлено по первопечатному тексту. Впервые — в *МТ*, 1829 г., № 7, апрель, стр. 257—258. Направлена против издателя «Вестника Европы» Каченовского. В «Вестнике Европы» за 1828—1829 гг. появилось несколько статей Н. И. Надеждина, направленных против романтизма и резко критикующих Пушкина и Боратынского.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт-сентименталист; ему принадлежит эпиграмма на Каченовского.

ЭПИГРАММА («ПОВЕРЬТЕ МНЕ, ФИГЛЯРИН-МОРАЛИСТ...») (стр. 217)

Печатается по альманаху «Денница» на 1831 г., стр. 137, где опубликована впервые. Направлена против Ф. В. Булгарина, написана в 1829 г.

«ЧУДНЫЙ ГРАД ПОРОЙ СОЛЬЕТСЯ...» (стр. 218)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в альманахе «Радуга» на 1830 г., стр. 160, под заглавием «Чудный град».

ОТРЫВОК (стр. 219)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1830 г., стр. 88—94. под заглавием «Вера и неверие».

МУЗА (стр. 223)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещено без заглавия. Впервые — в *СЦ* на 1830 г., стр. 94, под заглавием «Муза».

Белинский в статье о стихотворениях Боратынского (1842 г.) писал: «Нельзя вернее и беспристрастнее охарактеризовать *безотносительное* достоинство поэзии г. Боратынского, как он сделал это сам в следующем прекрасном стихотворении:

Не ослеплен я музою моею...»

(Собрание сочинений в трех томах, 1948, т. 2, стр. 414).

ЭПИГРАММА («В ВОСТОРЖЕННОМ НЕВЕЖЕСТВЕ СВОЕМ...») (стр. 224)

Печатается по *СЦ* на 1830 г., стр. 7, где опубликована впервые. Эпиграмма направлена против издателя журнала «Московский телеграф» Николая Алексеевича Полевого (1796—1846) и вызвана полемикой, развернувшейся в конце 1829 — начале 1830 г. вокруг первого тома его «Истории русского народа». «Литературная газета» Дельвига выступила с обвинениями Полевого в научном невежестве. Отражением этой же точки зрения на Полевого служит и эпиграмма Боратынского.

К. А. СВЕРБЕЕВОЙ (стр. 225)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ЦС* на 1830 г., стр. 133, под заглавием «В альбом отъезжающей».

Посвящено Екатерине Александровне Свербеевой, рожд. кн. Щербатовой (1808—1892), жене литератора Д. Н. Свербеева. В конце 20-х — начале 30-х годов у Свербеевых был философско-литературный салон.

ЭПИГРАММА («ЧТО ПОЛЬЗЫ ВАМ ОТ ШУМНЫХ ВАШИХ ПРЕНИЙ?..») (стр. 226)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *ЦС* на 1830 г., стр. 140, под заглавием «Эпиграмма». Написана в 1829 г. по поводу полемики между издателем журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевым и издателем журнала «Галатея» С. Е. Раичем. С обеих сторон полемика носила чисто личный характер.

ПОДРАЖАТЕЛЯМ (стр. 227)

Печатается по *Изд. 1835 г.* с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в *МВ,* 1830 г., ч. I, № I, стр. 7.

Направлено против поэтов, печатавших в конце 20-х годов бесчисленные подражания Жуковскому, Пушкину, Языкову и самому Боратынскому.

«НЕЖДАННОЕ РОДСТВО С ТОБОЙ ДАРУЯ...» (стр. 228)

Печатается по автографу *ЦГЛА.* Впервые — в *С,* 1854 г., № 10, под заглавием «С. Л. Энгельгардт». Текст «Современника» совпадает с автографом, в котором только отсутствует заглавие.

Обращено к С. Л. Энгельгардт, свояченице поэта.

ЭПИГРАММА («ОН ВАМ ЗНАКОМ. СКАЖИТЕ, КСТАТИ...») (стр. 229)

Печатается по «Литературной газете» от 5 июня 1830 г., № 32, стр. 258, где опубликована впервые. Направлена против Н. А. Полевого и написана в ответ на его антидворянский памфлет «Утро в кабинете знатного барина» («Новый живописец общества и литературы», 1830, № 10, май), являющийся пасквилем на Пушкина и обвиняющий поэта в низкопоклонстве перед знатью.

ЭПИГРАММА («ПИСАЧКА В ФЕБОВ ДВОР ЯВИЛСЯ...») (стр. 230)

Печатается по «Литературной газете» 1830 г., № 33, стр. 264, где опубликована впервые.

Эпиграмма вызвана выступлениями Н. А. Полевого против Пушкина и поэтов его круга. В № 13 «Нового живописца общества и

литературы» помещен стихотворный ответ Полевого Боратынскому: «Пришел поэт, и пущен на Парнас...» Об этом обмене эпиграммами упоминает Пушкин в своей статье «Опровержение на критики». (Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, стр. 179).

Надоумко — журнальный псевдоним Николая Ивановича Надеждина (1804—1855), в 1828—1829 гг. выступавшего против Полевого.

«ХОТЯ ТЫ МАЛЫЙ МОЛОДОЙ...» (стр. 231)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в «Литературной газете» 1830 г., № 47, стр. 85, под заглавием «Эпиграмма». Адресат стихотворения неизвестен.

ЛАЗУРНЫЕ ОЧИ (стр. 232)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, с восстановлением заглавия по первопечатному тексту. Впервые — в альманахе «Сиротка» на 1831 г., стр. 21—22.

МАДОНА (стр. 233)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *Изд. 1835 г.*, стр. 193—196. Написано, повидимому, в начале 1831 г., когда, по собственному признанию поэта, чтение сборника баллад Жуковского дало ему «охоту рифмовать легенды» (см. стр. 513).

МОЙ ЭЛИЗИЙ (стр. 235)

Печатается по *СЦ* на 1832 г., стр. 98, где помещено впервые. Написано осенью 1831 г. Навеяно воспоминанием об А. А. Дельвиге, умершем 14 января 1831 г.

«В ДНИ БЕЗГРАНИЧНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ...» (стр. 236)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *Е*, 1832 г., № 1, стр. 52, под заглавием «Элегия».

«БЫВАЛО, ОТРОК, ЗВОНКИМ КЛИКОМ...» (стр. 237)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, где помещено впервые в качестве заключительного стихотворения сборника. Написано осенью 1831 г. Датируется на основании письма Боратынского к Н. М. Языкову (см. стр. 503).

Н. М. ЯЗЫКОВУ («ЯЗЫКОВ, БУЙСТВА МОЛОДОГО...») (стр. 238)

Печатается по тексту *Е.*, 1832 г., № 2, стр. 204—205, где опубликовано впервые. Посвящено Николаю Михайловичу Языкову (1803—1846), поэтическое творчество которого Боратынский очень ценил. Написано в ноябре 1831 г.

ЯЗЫКОВУ («БЫВАЛО, СВЕТ ПОЗАБЫВАЯ...») (стр. 239)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, стр. 47—48, где опубликовано впервые. Обращено к поэту Н. М. Языкову, который получил его от автора 14 января 1832 г. Внушено стихотворением Языкова «И. В. Киреевскому».

ЭПИГРАММА («КТО НЕПРЕМЕННЫЙ МОЙ РУГАТЕЛЬ?») (стр. 240)

Печатается по *ТС*, стр. 35. Впервые — в не поступившем в продажу № 3 *Е*, 1832 г., стр. 397.

Эпиграмма, повидимому, направлена против Н. А. Полевого и вызвана его отрицательным отзывом о поэме Боратынского «Наложница». Считая свое новое произведение «ультраромантическим», Боратынский расценил это выступление Полевого как «предательство», поскольку именно приверженность к романтизму ранее объединяла поэта с издателем «Московского телеграфа».

НА СМЕРТЬ ГЕТЕ (стр. 241)

Печатается по альманаху «Новоселье», 1833 г., ч. I, стр. 239, где помещено впервые. Гете умер 22 марта 1832 г. Боратынский упоминает об этом стихотворении в письме к И. В. Киреевскому от 30 мая 1832 г. (см. стр. 518).

КОЛЬЦО (стр. 243)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* где помещено без заглавия. Впервые — в альманахе «Новоселье», 1833 г., ч. I, стр. 464, под заглавием «Кольцо».

В «Русской старине» 1870 г., т. II, стр. 16, напечатано следующее пояснение к этим стихам: «Стихотворение это поэтом написано по поводу подарка кольца, сделанного супругою его, А. Л. Боратынской, сестре ее С. Л. Энгельгардт».

А. А. Ф . . . ОЙ (стр. 245)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 147—148, где помещено впервые. Посвящено казанской знакомой Боратынского Александре Андреевне Фукс, бездарной поэтессе, обратившейся к Боратынскому со стихотворным посланием. Ответ Боратынского объясняется требованиями светской учтивости. В письме от 12 сентября 1833 г. из Казани Пушкин, упоминая о Фукс, писал жене: «Боратынский написал ей стихи и с удивительным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений».

«НАСЛАЖДАЙТЕСЬ, ВСЕ ПРОХОДИТ!» (стр. 246)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 15, где помещено впервые. *Криле* (крылья) — двойственное число *(церк.-слав.)*.

«К ЧЕМУ НЕВОЛЬНИКУ МЕЧТАНИЯ СВОБОДЫ?» (стр. 247)

Печатается по *ПСС,* т. I. Впервые — в *Изд. 1835 г.*, стр. 24, с цензурным искажением — пропуском фразы: «И не ее ли глас в их гласе слышим мы...»

«ХРАНИ СВОЕ НЕОПАСЕНЬЕ. . .» (стр. 248)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 79, где опубликовано впервые. Посвящено неизвестной нам воспитаннице Смольного института.

«КОГДА ИСЧЕЗНЕТ ОМРАЧЕНЬЕ. . .» (стр. 249)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, стр. 119—120, где опубликовано впервые.

«Я НЕ ЛЮБИЛ ЕЕ, Я ЗНАЛ...» (стр. 250)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 170—171, где помещено впервые.

«БОЛЯЩИЙ ДУХ ВРАЧУЕТ ПЕСНОПЕНЬЕ...» (стр. 251)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 175, где помещено впервые.

В письме Боратынского к П. А. Плетневу от 1831 г. проводится мысль, близкая теме стихотворения: «...мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни. Выразить чувство значит разрешить его, значит овладеть им. Вот почему самые мрачные поэты могут сохранить бодрость духа» (см. стр. 496).

«НЕ РАСТРАВЛЯЙ МОЕЙ ДУШИ...» (стр. 252)

Печатается по тексту *ПСС,* т. I. Впервые — в *Акад. изд.,* т. I, стр. 142. Датируется предположительно 1832 г.

«О МЫСЛЬ! ТЕБЕ УДЕЛ ЦВЕТКА...» (стр. 253)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 188, где помещено впервые.

«О, ВЕРЬ; ТЫ, НЕЖНАЯ, ДОРОЖЕ СЛАВЫ МНЕ...» (стр. 254)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 197, где помещено впервые. Обращено к жене поэта, А. Л. Боратынской.

«МОЙ НЕИСКУСНЫЙ КАРАНДАШ...» (стр. 255)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 199, где помещено впервые.

Автограф стихотворения в тетради С. Л. Энгельгардт (*ЦГЛА*) на одном листе с рисунком Боратынского, изображающим финляндский пейзаж.

К. А. ТИМАШЕВОЙ (стр. 256)

Печатается по *Изд. 1835 г.,* стр. 216, где помещено впервые.

Обращено к светской красавице и поэтессе Екатерине Александ-

ровне Тимашевой, рожд. Загряжской (1798—1881). Ей же посвящены стихи Пушкина «К. А. Тимашевой» («Я видел их, я их читал...»)

«ГДЕ СЛАДКИЙ ШОПОТ...» (стр. 257)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, стр. 218—220, где помещено впервые.

«ВЕСНА, ВЕСНА! КАК ВОЗДУХ ЧИСТ!» (стр. 259)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, стр. 223—224, где помещено впервые.

«СВОЕНРАВНОЕ ПРОЗВАНЬЕ...» (стр. 261)

Печатается по *Изд. 1884 г.*, без сохранения заглавия «Н. Л. Боратынской», так как оно принадлежит редактору. Впервые — в *Изд. 1835 г.*, стр. 225—226.

Обращено к жене поэта.

«ЕСТЬ МИЛАЯ СТРАНА, ЕСТЬ УГОЛ НА ЗЕМЛЕ...» (стр. 262)

Печатается по *Изд. 1835 г.*, стр. 210—211, где помещено впервые.

В стихотворении описывается усадьба Мураново, имение Л. Н. Энгельгардта в Дмитровском уезде Московской губернии.

Она, которой нет — Наталья Львовна Энгельгардт (1806—1826), свояченица поэта, умершая от чахотки.

ЗАПУСТЕНИЕ (стр. 264)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в «Библиотеке для чтения», 1835 г., т. VIII, стр. 19—20, под заглавием «Запустение. Элегия».

Посвящено описанию Мары, тамбовского имения Боратынских, в котором поэт провел осень 1833 г. После смерти отца поэта это богатое и некогда благоустроенное имение пришло в упадок.

В строках: *«Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен...»* Боратынский говорит о своем отце.

«ВОТ ВЕРНЫЙ СПИСОК ВПЕЧАТЛЕНИЙ...» (стр. 266)

Печатается по *ПСС*, т. I, стр. 316, где помещено впервые.

Задумано Боратынским как стихотворное предисловие к изданию 1835 г., но напечатано не было.

Н. Е. Б. («ДВОЙНОЮ ПРЕЛЕСТЬЮ ОПАСНА...») (стр. 267)

Печатается по тексту *С*, 1854 г., т. XLVII, октябрь, стр. 155, где опубликовано впервые.

К кому обращено — неизвестно.

«НЕБО ИТАЛИИ, НЕБО ТОРКВАТА...» (стр. 268)

Печатается по *С*, 1854 г., т. XLVII, октябрь, стр. 154, где опубликовано впервые.

Стихотворение, по свидетельству Н. В. Путяты, является экспромтом. О намерении отправиться в Италию Боратынский пишет матери летом 1835 г. (*М*, стр. 49), что дает основания предположительно отнести стихи к этому времени.

К КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ (стр. 269)

Печатается по *С*, 1836 г., т. IV, стр. 216—218, где опубликовано впервые. Написано не позднее ноября 1836 г.

Этим стихотворением открывался последний сборник стихов Боратынского «Сумерки», выпущенный в 1842 г. и посвященный Вяземскому.

Куда вы брошены судьбами. — Вяземский в это время находился за границей.

...скорбный час. — Подразумевается тяжелая болезнь дочери Вяземского Прасковьи Петровны (умерла в 1835 г.).

Звезда разрозненной плеяды. — Боратынский имеет в виду «плеяду» своих друзей-поэтов, «разрозненную» в связи со смертью одних (Рылеев, Дельвиг) и изгнанием других (Кюхельбекер).

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ (стр. 271)

Печатается по экземпляру сборника *«Сумерки»* с собственноручными поправками Боратынского (собрание К. В. Пигарева). Впервые — в *МН*, 1835 г., ч. I, № 1, стр. 30—32.

...вновь Эллада ожила. — В 1830 г. многолетняя национально-освободительная война греческого народа завершилась образованием независимого от Турции греческого государства.

НЕДОНОСОК (стр. 274)

Печатается по *ПСС,* т. I. Впервые — в *МН,* 1835 г., ч. I, стр. 526—528.

Слово «недоносок» употреблено Боратынским не в его обычном смысле, а в значении «мертворожденный».

БОКАЛ (стр. 276)

Печатается по сборнику *«Сумерки».* Впервые — в *МН,* 1835 г., ч. V, ноябрь, кн. 1, стр. 24—26.

АЛКИВИАД (стр. 278)

Печатается по сборнику *«Сумерки».* Впервые — в *МН,* 1835 г., ч. V, ноябрь, кн. 1, стр. 27.

ОСЕНЬ (стр. 279)

Печатается по сборнику *«Сумерки».* Впервые — в *С,* 1837 г., т. V, стр. 278—280.

«СНАЧАЛА МЫСЛЬ, ВОПЛОЩЕНА...» (стр. 284)

Печатается по сборнику *«Сумерки».* Впервые — в *С,* 1838 г., т. IX, стр. 154, под заглавием «Мысль».

«БЫЛИ БУРИ, НЕПОГОДЫ...» (стр. 285)

Печатается по *ПСС,* т. I. Впервые — в *С,* 1839 г., т. XV, стр. 158, вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Написано в 1839 г.

«БЛАГОСЛОВЕН СВЯТОЕ ВОЗВЕСТИВШИЙ!» (стр. 286)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *С*, 1839 г., т. XV, стр. 157, вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Написано в 1839 г.

В этом стихотворении Боратынский отстаивает за художником право изображения человеческих пороков, «неправедных изгибов сердец людских», наряду с изображением «святого» и возвышенного.

Плод яблони со древа упадает. — Подразумевается предание об обстоятельствах, при которых Ньютон открыл закон земного тяготения.

«ЕЩЕ, КАК ПАТРИАРХ, НЕ ДРЕВЕН Я...» (стр. 287)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *С*, 1839 г., т. XV, стр. 158, вместе с другими стихотворениями Боратынского, под общим заглавием «Антологические стихотворения». Написано в 1839 г.

«ТОЛПЕ ТРЕВОЖНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТЕН, НО СТРАШНА...» (стр. 288)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *ОЗ*, 1839 г., т. II, отд. III, стр. 1.

ПРИМЕТЫ (стр. 289)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в альманахе «Утренняя заря» на 1840 г., стр. 117—118.

ОБЕДЫ (стр. 290)

Печатается по альманаху «Утренняя заря» на 1840 г., стр. 184, где опубликовано впервые.

ЗВЕЗДЫ («МОЮ ЗВЕЗДУ Я ЗНАЮ, ЗНАЮ...») (стр. 291)

Печатается по альманаху «Утренняя заря» на 1840 г., стр. 226, где опубликовано впервые.

«НА ЧТО ВЫ, ДНИ! ЮДОЛЬНЫЙ МИР ЯВЛЕНЬЯ...» (стр. 292)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *ОЗ*, 1840 г., т. IX, отд. III, стр. 1.

«ВСЕГДА И В ПУРПУРЕ И В ЗЛАТЕ...» (стр. 293)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *ОЗ*, 1840 г., т. IX, отд. III, стр. 150. По всей вероятности, относится к А. Ф. Закревской.

«ВСЕ МЫСЛЬ ДА МЫСЛЬ! ХУДОЖНИК БЕДНЫЙ СЛОВА!» (стр. 294).

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *С*, 1840 г., т. XVIII, стр. 254, вместе со стихотворением «Мудрецу», под общим заглавием «Антологические стихотворения».

МУДРЕЦУ (стр. 295)

Печатается по *ПСС*, т. I. Впервые — в *С*, 1840 г., т. XVIII, стр. 253, вместе со стихотворением «Все мысль, да мысль...», под общим заглавием «Антологические стихотворения».

РИФМА (стр. 296)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *С*, 1841 г., т. XXI, стр. 241—242.

«ПРЕДРАССУДОК! ОН ОБЛОМОК...» (стр. 298)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *ОЗ*, 1841 г., т. XV, отд. III, стр. 258, под заглавием «Предрассудок».

«ЧТО ЗА ЗВУКИ? МИМОХОДОМ...» (стр. 299)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *ОЗ*, 1841 г., т. XVI, отд. III, стр. 71, под заглавием «Vanitas Vanitatum» *.

---

* Суета сует *(лат.)*.

РОПОТ («КРАСНОГО ЛЕТА ОТРАВА, МУХА ДОСАДНАЯ, ЧТО ТЫ...») (стр. 300)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *ОЗ*, 1841 г., т. XVII, отд. III, стр. 155.

АХИЛЛ (стр. 301)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *С*, 1841 г., т. XXIII, стр. 180.

СКУЛЬПТОР (стр. 302)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*. Впервые — в *С*, 1841 г., т. XXIII, стр. 182.

«НА ВСЕ СВОЙ ХОД, НА ВСЕ СВОИ ЗАКОНЫ...» (стр. 303)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I, стр. 158, где опубликовано впервые. Эта эпиграмма на московское общество предположительно датируется 1840—1841 гг.

«ФИЛИДА С КАЖДОЮ ЗИМОЮ...» (стр. 304)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*, стр. 42, где опубликовано впервые. В образе «Филиды», стареющей, но молодящейся женщины, выведено несомненно реальное лицо московского или петербургского общества.

«ЗДРАВСТВУЙ, ОТРОК СЛАДКОГЛАСНЫЙ!» (стр. 305)

Печатается по сборнику *«Сумерки»*, стр. 58—59, где опубликовано впервые. Посвящено старшему сыну поэта Льву Евгеньевичу Боратынскому (1829—1906). Этим стихотворением Боратынский приветствовал первое поэтическое произведение своего сына.

КОТТЕРИИ (стр. 306)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в *РА*, 1890 г., кн. I, стр. 326.

Стихотворение является эпиграммой на литературный кружок бывших друзей Боратынского (Киреевских, Шевырева, Свербеева), сгруппировавшийся вокруг редактора «Москвитянина» М. П. Погодина. Литературно-общественный журнал «Москвитянин», начавший выходить с 1841 г., вскоре стал органом славянофилов. Написано в конце 1841 или в первых числах января 1842 г. Боратынский хотел напечатать это стихотворение в «Сумерках», но оно не было разрешено цензурой из-за последних строк, являющихся перефразировкой евангельского текста: «Истинно, истинно говорю вам, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них».

Коттерия (франц.) — кружок заговорщиков, действующих неблаговидными путями. В заглавии стихотворения Боратынский употребил это слово в дательном падеже.

«СПАСИБО ЗЛОБЕ ХЛОПОТЛИВОЙ...» (стр. 207)

Печатается по *Акад. изд.*, т. I. Впервые — в журнале «Русская беседа», 1859 г., кн. II, отд. «Стихотворения», стр. 1—2.

Стихотворение относится к 1841—1842 гг. Обстоятельства, при которых оно было написано, изложены П. И. Бартеневым в письме в редакцию «Русской беседы»: «Живя в Москве, Боратынский несколько месяцев сряду не мог ничего писать и все жаловался на скуку. Вдруг журнальные рецензии, в которых почти никогда не отдавалось должной цены его произведениям, или какие-то другие неприятности пробудили его из этого усыпления. Он снова и деятельно принялся за работу, и когда его раз спросили, отчего произошла в нем такая перемена, он отвечал прилагаемым осьмистишием» (в «Русской беседе» напечатано только две строфы).

...недруги мои. — Повидимому, намек на славянофильский кружок «Москвитянина».

... богоизбранный еврей. — Подразумевается Иисус Навин, предводитель иудейских войск в борьбе с филистимлянами. По библейскому сказанию, он остановил солнце и оно светило до победы иудеев.

С КНИГОЮ «СУМЕРКИ» С. Н. К (стр. 208)

Печатается по *С*, 1842 г., т. XXVII, стр. 95, где опубликовано впервые.

Посвящено Софии Николаевне Карамзиной (1802—1856), дочери историографа. В 1840 г. Боратынский часто посещал салон Карамзиных в Петербурге. Стихотворение написано в июне 1842 г. В письме от 26 июня С. Н. Карамзина благодарила поэта за сборник стихов и за поэтическое посвящение.

«ЛЮБЛЮ Я ВАС, БОГИНИ ПЕНЬЯ...» (стр. 309)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *С*, 1844 г., т. XXXVI, стр. 370.

Стихотворение развивает тему о судьбе поэта, неоднократно встречающуюся в поэзии Боратынского.

НА ПОСЕВ ЛЕСА (стр. 310)

Печатается по *ПСС*, т. I. Впервые — в сборнике «Вчера и сегодня», 1846 г., кн. II, стр. 68—69.

Написано в 1842 г. на посев леса в Муранове.

...*сокрытый ров* — намек на преследование поэта со стороны кружка «Москвитянина».

...*свои рога* — изображение глупца в виде рогатой скотины.

«КОГДА ТВОЙ ГОЛОС, О ПОЭТ...» (стр. 312)

Печатается по *С*, 1843 г., т. XXII, стр. 354, где опубликовано впервые.

Ранее считалось, что стихотворение навеяно смертью Лермонтова. Однако для такого предположения нет веских оснований. В стихотворении развивается волновавшая Боратынского отвлеченная тема «судьбы поэта».

МОЛИТВА (стр. 313)

Печатается по *С*, 1844 г., т. XXXVI, стр. 368, где опубликовано впервые. В посмертных изданиях отнесено к 1842—1843 гг.

«КОГДА, ДИТЯ И СТРАСТИ И СОМНЕНЬЯ...» (стр. 314)

Печатается по *С,* 1844 г., т. XXXVI, стр. 109, где опубликовано впервые. Обращено к А. Л. Боратынской, жене поэта, и написано в 1844 г. в Париже.

ПИРОСКАФ (стр. 315)

Печатается по *Изд. 1884 г.* Впервые — в *С,* 1844 г., т. XXXV, стр. 215—216. Написано весной 1844 г., на пароходе, во время переезда из Марселя в Италию. В *С* после текста стихотворения помечено: «Средиземное море, 1844».

Пироскаф — пароход.

ДЯДЬКЕ-ИТАЛЬЯНЦУ (стр. 317)

Печатается по *Изд. 1884 г.* с поправками по *Акад. изд.,* т. I, Впервые — в *С,* 1844 г., т. XXXV, стр. 217—221, с пометой: «Июнь 1844». Написано в Неаполе и посвящено памяти дядьки поэта, итальянца Боргезе.

...богатый генерал — отец поэта, Абрам Андреевич Боратынский.

...оставив там могилу дорогую. — Отец поэта А. А. Боратынский умер в 1810 г. в Москве и похоронен в Андроньевом монастыре.

...увидели мы вотчину степную — тамбовское имение Боратынских, Мара.

...где зрел, дивясь, суворовских солдатов. — Подразумевается итальянский поход Суворова (1799 г.).

...тебе предстал и он. — Имеется в виду второй итальянский поход Наполеона Бонапарта (1800 г.).

...ты не забыл серебряные ложки. — По приказанию Бонапарта, все серебро итальянского населения должно было быть сдано французам.

...прах властителя стихов. — Имеется в виду латинский поэт Виргилий (70—19 до н. э.). Его поэма «Энеида» считалась образцом классического эпоса.

...сумрачный поэт — Байрон.

ПОЭМЫ

ПИРЫ (стр. 223)

Печатается по тексту *ПСС,* т. II. Впервые — в *СП,* 1821 г., ч. XIII, стр. 385—394.

В переработанном по сравнению с первопечатным текстом виде «Пиры» были выпущены Боратынским отдельным изданием вместе с «Эдой»: «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма» (СПБ. 1826). В этом издании поэме предпосланы эпиграф: «Воображение раскрасило тусклые окна тюрьмы Сарванта. Стерн», и предисловие: «Сия небольшая поэма написана в Финляндии. Это своенравная шутка, которая, подобно музыкальным фантазиям, не подлежит строгому критическому разбору. Сочинитель писал ее в веселом расположении духа: мы надеемся, что не будут судить его сердито».

Отдельное издание «Эды» и «Пиров» было разрешено цензурой 26 ноября 1825 г. Однако после декабрьского восстания 1825 г. уже отпечатанная книжка вновь подверглась пересмотру, причем цензура принудила издателей перепечатать одну страницу «Пиров». «Что говорить мне о новых надеждах, когда цензура глупее старого, когда Боратынскому не позволяют сравнивать шампанского с пылким умом, не терпящим плена?» — писал по этому поводу В. А. Жуковский П. А. Вяземскому («Остафьевский архив», т. V, в. 2, стр. 160). По требованию цензуры строки:

Она свободою кипит,
Как пылкий ум не терпит плена...

были в издании 1826 г. напечатаны так:

Она отрадою кипит,
Как дикий конь не терпит плена...

В поэме «Пиры», написанной в первый год жизни Боратынского в Финляндии, отражены воспоминания поэта о дружеских пирушках бывших лицеистов, объединявшихся вокруг Пушкина и Дельвига. Боратынский был принят в их круг во время своего пребывания в Петербурге в 1818—1819 гг.

Современной критикой поэма была встречена благосклонно и утвердила за Боратынским славу «певца Пиров» (см. Пушкин — «Первое послание цензору», «Евгений Онегин», гл. III, строфа XXX; Дельвиг — «Языкову»).

Впоследствии (1842 г.) Белинский писал: «Пиры», собственно не поэма, а так — шутка в начале и элегия в конце. Поэт, как будто только принявшись воспевать пиры, заметил, что уже прошла пора и для пиров и для воспевания пиров... У времени есть своя логика, против которой никому не устоять... В «Пирах» г. Боратынского много прекрасных стихов» (Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 442).

ЭДА (стр. 329)

Поэма печатается по *Изд. 1835 г.,* эпилог — по журналу «Русская старина», 1883 г., кн. III, стр. 70.

Поэма впервые полностью напечатана отдельным изданием вместе с «Пирами»: «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма» (СПБ. 1826). Поэме предшествует эпиграф: «On broutte là ou l'on est attaché. Proverbe» *, и прозаическое предисловие (см. стр. 419).

Поэма была вчерне написана Боратынским в 1824 г. в Финляндии и окончательно завершена во второй половине 1825 г. в Москве. Первоначально печаталась отрывками: в «Мнемозине», 1825 г., ч. IV, в «Полярной звезде» на 1825 г. и в «Московском телеграфе», 1825 г., № 22. «Эпилог», написанный в 1824 г., в Гельсингфорсе, был передан Н. В. Путятой В. К. Кюхельбекеру для «Мнемозины», но не был пропущен московской цензурой. А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев предназначали его для помещения в альманахе «Звездочка» на 1826 г. После восстания 14 декабря 1825 г. материалы готовившегося альманаха были отобраны у Бестужева при его аресте и до 80-х годов оставались неопубликованными, за исключением эпилога к «Эде», напечатанного впервые в «Сочинениях Д. Давыдова», т. III, 1860, стр. 196, среди стихов разных поэтов, посвященных поэту-партизану.

Пушкин высоко оценил «Эду». В письме к А. А. Дельвигу от 22 февраля 1826 г. он писал: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи, а сцена с отцом! — чудо!»

Появление «Эды» Пушкин приветствовал известным стихотворным обращением к Боратынскому:

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.

* Где привязан, там и пасется. Пословица. *(франц.)*.

Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

Позднее, в 1830 г., Пушкин намеревался дать разбор «Эды» в своей неоконченной статье о Боратынском. «...Перечтите сию простую восхитительную повесть, — советует Пушкин, — вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь» (Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, стр. 224).

Критика откликнулась на «Эду» «неприличной» (по выражению Пушкина) статьей Булгарина в «Северной пчеле» (1826 г., № 20), упрекавшего Боратынского в отсутствии «пиитической, возвышенной, пленительной простоты», в «непиитическом» предмете поэмы, в прозаичности языка. В «Московском телеграфе» (1826 г., ч. VIII, стр. 62—75) было помещено возражение Н. А. Полевого на булгаринскую статью, доказывавшее, что «предмет поэмы есть предмет, достойный поэзии».

Приближаясь по теме к сентиментальной повести Карамзина «Бедная Лиза», «Эда» интересна в то же время как одна из первых в русской литературе психологических поэм. Работая над «Эдой», Боратынский старался создать как можно более точный психологический образ гусара. Если в первой редакции издания 1826 г. образ его страдал некоторой сентиментальностью и расплывчатостью, то в окончательной обработке (*Изд. 1835 г.*) он приобрел цельность и законченность.

Историческим фоном «Эды» является эпоха накануне присоединения Финляндии к России в 1809 г., когда в преддверии войны со Швецией почти в каждом финском селении пограничной полосы (граница между русскими и шведскими владениями проходила по реке Кюмень) стояли русские войска.

Буйный швед... — Швеция отказалась присоединиться к союзу России и Франции против Англии. 16 марта 1808 г. началась война между Россией и Швецией.

Тебе, Давыдов, петь ее... — Обращение к Д. В. Давыдову объясняется тем, что он был участником русско-шведской войны 1808—1809 гг.

ТЕЛЕМА И МАКАР (стр. 348)

Печатается по *ПСС*, т. II. Впервые — в *СЦ* на 1827 г., стр. 297—302. В том же году поэма помещена в журн. *СЛ*, № 8, стр. 123—127. К заглавию сделано примечание: «Телема — значит Желание, Макар — Счастье. Оба сии слова греческие».

Поэма является близким переводом сказки Вольтера: «Thélème et Macare». При переводе Боратынский опустил нравоучительное заключение оригинала и придал своей поэме местный русский колорит.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ (стр. 352)

Печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые — в *СЦ* на 1829 г., стр. 13. Заключительные строки поэмы, обращенные к жене, А. Л. Боратынской, указывают на то, что «Переселение душ» является первым произведением поэта, написанным после женитьбы. Свадьба Боратынского состоялась 9 июня 1826 г. Таким образом, наиболее вероятно, что поэма относится ко второй половине 1826 г.

БАЛ (стр. 362)

Поэма печатается по *Изд. 1835 г.* Впервые полностью напечатана отдельным изданием в одной обложке с «Графом Нулиным» Пушкина, под общим заглавием «Две повести в стихах» (СПБ. 1828).

Боратынский начал работать над «Балом» в феврале 1825 г. в Кюмени и закончил поэму в октябре 1828 г. в Москве. Отрывки из «Бала» были помещены в журнале «Московский телеграф», 1827 г., ч. III, № 1, и в альманахе «Северные цветы» на 1828 г.

По собственному признанию Боратынского в письме к Н. В. Путяте от 29 марта 1825 г., замысел поэмы возник под впечатлением встреч поэта с А. Ф. Закревской во время его пребывания в Гельсингфорсе в конце 1824 — начале 1825 г. А. Ф. Закревская (о ней см. на стр. 562) послужила Боратынскому прототипом для образа Нины.

Блистательная красавица, лишенная предрассудков и не считавшаяся с «условиями света», Закревская служила предметом многочисленных сплетен и пересудов как в Финляндии, так — позднее — в Петербурге и в Москве. Поклоняясь «Магдалине»-Закревской, «рабе томительной мечты», Боратынский признавался Путяте, что «желал бы видеть ее счастливой». Поэтическим воплощением мыслей о том, что было бы, если бы она действительно полюбила, и явилась поэма «Бал», действие которой развертывается на фоне сатирического изображения «грибоедовской» Москвы. Враждебные романтическому направлению журналы «Атеней», «Вестник Европы», «Дамский журнал» высказались о «Бале» отрицательно и обвиняли автора в «безнравственности» выведен-

ных им характеров. То же обвинение было предъявлено Боратынскому в 1831 г. в связи с появлением его поэмы «Наложница».

Положительную оценку встретил «Бал» на страницах «Московского телеграфа» Н. А. Полевого (1828, № 28) и «Северных цветов» А. А. Дельвига («Обзор российской словесности за 1828 год» О. М. Сомова в «Северных цветах» на 1829 год). Новизну характера героини подчеркивает Пушкин в своей неоконченной статье о «Бале» Боратынского: «Нина исключительно занимает нас. Характер ее совершенно новый, развит con amore *, широко и с удивительным искусством, для него поэт наш создал совершенно своеобразный язык и выразил на нем все оттенки своей метафизики — для нее расточил он всю элегическую негу, всю прелесть своей поэзии... Напрасно поэт берет иногда строгий тон порицания, укоризны, напрасно он с принужденной холодностью говорит о ее смерти, сатирически описывает нам ее похороны и шуткою кончает поэму свою. Мы чувствуем, что он любит свою бедную страстную героиню. Он заставляет и нас принимать болезненное соучастие в судьбе падшего, но еще очаровательного создания» (Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII, М.—Л., изд. Академии наук СССР, стр. 84—85).

Белинский в статье 1842 г. отнесся к «Балу» благожелательнее, чем к «Эде», находя «Бал» «гораздо глубже по характеру героини». Критикуя развязку поэмы и считая, «что поэт, очевидно, не смог овладеть своим предметом», он в то же время отдавал должное «чудным стихам», «превосходным частностям» и мастерству в изображении героев. «...Этот демонический характер в женском образе, — говорит Белинский, — эта страшная жрица страстей, наконец, должна расплатиться за все грехи свои:

Посланник рока ей предстал...

В этом «посланнике рока» должно предполагать могучую натуру, сильный характер, — и в самом деле, портрет его, слегка, но резко очерченный поэтом, возбуждает в читателе большой интерес» (Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 440).

ЦЫГАНКА (стр. 379)

Печатается по *Изд. 1884 г.* с поправками по *Изд. 1835 г.* Впервые вышла отдельным изданием под заглавием «Наложница»

* С любовью *(итал.)*.

(М. 1831) с посвящением Алексею Андреевичу Елагину и с предисловием (см. стр. 426).

Боратынский работал над поэмой в 1829—1830 гг. Отрывки из поэмы печатались в альманахах «Денница» на 1830 г., «Альциона» на 1831 г. и «Северные цветы» на 1831 г. В *Изд. 1835 г.* поэма помещена без существенных изменений по сравнению с первопечатным текстом, но под заглавием «Цыганка» и без предисловия. Значительной переработке «Цыганка» подверглась в 1842 г. Напечатать при своей жизни окончательную редакцию поэмы Боратынский не успел. Судя по неоднократным высказываниям в письмах к друзьям, Боратынский считал поэму самым совершенным из своих произведений.

«Поэма Боратынского — чудо», — писал Пушкин П. А. Плетневу 7 января 1831 г. Однако «Наложница» не имела широкого успеха среди читателей и вызвала резко отрицательные оценки в статьях Н. И. Надеждина («Телескоп», 1831 г., ч. I, № 2, ч. III, № 10) и Н. А. Полевого («Московский телеграф», 1831 г., № 6). Обсуждению подверглись как сама поэма, так и предисловие к ней, что побудило Боратынского напечатать в журнале «Европеец» возражение под заглавием «Антикритика» (см. стр. 435). В защиту поэмы Боратынского выступили «Литературная газета» (1831 г., № 27) и «Европеец» (1832 г., ч. I, № 2), в котором было помещено «Обозрение русской словесности за 1831 год» И. В. Киреевского с подробным и благожелательным разбором «Наложницы».

В своей статье о творчестве Боратынского, напечатанной в 1842 году, В. Г. Белинский дал следующий отзыв о поэме: «Цыганка» исполнена удивительных красот поэзии, но... в частностях; в целом же не выдержана. Отвратительное зелье, данное старою цыганкою бедной Саре, ничем не объясняется и очень похоже на deus ex machina для трагической развязки во что бы то ни стало. Чрез это ослабляется эффект целого поэмы, которая, кроме хороших стихов и прекрасного рассказа, отличается еще и выдержанностию характеров» (Собр. соч. в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 442).

ПРОЗА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «ЭДА» (стр. 419)

Печатается по изданию «Эда, финляндская повесть, и Пиры, описательная поэма» (СПБ. 1826), где помещено впервые. При перепечатке поэмы в *Изд. 1835 г.* исключено.

ТАВРИДА (стр. 421)

Печатается по *МТ*, 1827 г., ч. XIII, № 4, отд. «Критика», стр. 325, где помещено впервые. Этот разбор стихотворений начинающего поэта А. Н. Муравьева (см. стр. 570) содержит ряд высказываний, существенно необходимых для понимания творческой практики самого Боратынского.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ ПОЭМЫ «НАЛОЖНИЦА» (стр. 426)

Печатается по изданию «Наложница», М. 1831, где помещено впервые. При перепечатке поэмы в *Изд. 1835 г.* исключено.

Белинский в своей статье о Боратынском 1842 г. назвал предисловие к «Наложнице» «весьма умно и дельно написанным».

Панар Шарль-Франсуа (1674—1765) — французский поэт.

Федра — героиня одноименной трагедии Расина.

Квинт Курций — римский историк I в., автор истории Александра Македонского.

...подробные хроники развращения — подразумевается французский «ужасный» роман конца 20-х годов XIX в.

Киприду иногда являл без покрывала — цитата из «Послания цензору» Пушкина.

...подражатель Анакреона. — Боратынский имеет в виду «Анакреонтические песни» Державина.

Счет поцелуев — стихотворение И. И. Дмитриева.

Душенька — поэма И. Ф. Богдановича.

Проперций (I в. до н. э.) — римский элегик.

Шолье Гильом (1639—1720) — французский поэт; писал на анакреонтические темы.

Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, виднейший представитель классицизма.

АНТИКРИТИКА (стр. 435)

Печатается по *Акад. изд.*, т. II. Впервые — в журн. *Е*, 1832 г., ч. I, № 2, стр. 289—304.

Статья написана Боратынским в ноябре 1831 г. в ответ на критический разбор «Наложницы», сделанный Н. И. Надеждиным. В письме к И. В. Киреевскому от 4 февраля 1832 г. Пушкин писал: «Статья Боратынского хороша, но слишком тонка и растянута (я говорю об его антикритике)».

...сесть ошибкою в карету. — Имеется в виду эпизод, находившийся в первом издании поэмы и исключенный при ее переработке. Вера с дядей, выйдя из театра, садятся в карету, подосланную Елецким, и вместо своего дома попадают в его дом.

ПЕРСТЕНЬ (стр. 446)

Повесть печатается по журн. *Е*, 1832 г., ч. I, № 2, стр. 165—187, где помещена впервые. Закончена Боратынским в последних числах ноября — начале декабря 1831 г.

ПИСЬМА

1. А. Ф. Боратынской (стр. 461)

Печатается в переводе с французского подлинника, помещенного в *М*, стр. 36—37. Впервые напечатано в *Изд. 1869 г.*, стр. 403—405 (французский текст), 504—506 (перевод). Письмо писано из Пажеского корпуса и предположительно датируется 1814 — началом 1816 г.

Адресовано матери поэта Александре Федоровне Боратынской (1776—1852), рожд. Черепановой.

...дядя — Петр Андреевич Боратынский (1770—1845).

2. В. А. Жуковскому (стр. 463)

Печатается по *РА*, 1868 г., вып. 1, столбцы 147—156. В журнальном тексте фамилии Кристафовича и Ханыкова обозначены сокращенно; в нашем издании они раскрыты.

Письмо написано в начале 1824 г. по просьбе В. А. Жуковского, хлопотавшего в Петербурге о смягчении участи Боратынского. Два его письма о Боратынском, адресованные министру народного просвещения кн. А. Н. Голицыну, помещены в *РА*, 1868 г., вып. 1, столбцы 156—160.

Важное для характеристики Боратынского, письмо это содержит ряд фактических неточностей. С целью выгородить товарищей поэт преувеличивает свою роль в обществе мстителей Пытаясь в то же время смягчить свою вину, он неточно излагает свои взаимоотношения с Кристафовичем. Аттестации, которые последний давал Боратынскому, не заключают в себе никаких признаков заведомого недоброжелательства. Неточно и сообщение

о том, что после исключения из Пажеского корпуса Боратынский «около года мотался по разным петербургским пансионам». На самом деле он жил у дяди Б. А. Боратынского в Смоленской губернии.

3. А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву (стр. 469)

Печатается по журн. «Русская старина», 1888 г., ноябрь, стр. 321—322.

Написано весной 1824 г. и адресовано издателям альманаха «Полярная звезда»: Александру Александровичу Бестужеву (1797—1837) и Кондратию Федоровичу Рылееву (1795—1826), намеревавшимся выпустить отдельное издание стихотворений Боратынского.

«Маккавеи» — трагедия французского драматурга Гиро.

4. В. А. Жуковскому (стр. 470)

Печатается по *РА,* 1871 г., вып. 6, столбцы 0239—0240.

По содержанию связано с письмом к Жуковскому, помещенным на стр. 463.

5. Н. В. Путяте (стр. 471)

Печатается по *РА,* 1867 г., вып. 2, столб. 264, где помещено впервые со следующим пояснением Н. В. Путяты: «Весною 1824-го года финляндский генерал-губернатор А. А. Закревский делал инспекторский смотр некоторым войскам, расположенным в Финляндии, и в том числе Нейшлотскому пехотному полку, в котором Е. А. Боратынский служил в это время унтер-офицером. Смотр происходил близ г. Вильманстранда, на берегах пустынного озера. Я шел вдоль строя за генералом Закревским (у коего был адъютантом), когда мне указали Боратынского. Он стоял в знаменных рядах. Боратынский родился с веком, следовательно ему было тогда 24 года. Он был худощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. В продолжение смотра я с ним познакомился и разговаривал о его петербургских приятелях. После он заходил ко мне, но не застал меня дома и оставил прилагаемую записку».

Настоящая записка положила начало дружеским отношениям Боратынского с Николаем Васильевичем Путятой (1802—1877). Впоследствии (1837 г.) эта дружба была скреплена родством: Путята женился на свояченице Боратынского С. Л. Энгельгардт.

6. Н. В. Путяте (стр. 471)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Отрывок впервые напечатан в *РА*, 1867 г., вып. 2, столб. 265.

Написано в ответ на письмо, в котором Путята уведомлял Боратынского о том, что А. А. Закревский разрешил ему приехать в Гельсингфорс и находиться при корпусном штабе. Одновременно Путята приглашал поэта остановиться у него. Боратынский пробыл в Гельсингфорсе с ноября 1824 г. по первые числа февраля 1825 г.

7. А. И. Тургеневу (стр. 472)

Печатается по *РА*, 1871 г., вып. 6, столбцы 0240—0241.

Адресовано Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845), известному литературному деятелю, принимавшему живое участие в судьбе Боратынского.

Арсений Андреевич — финляндский военный генерал-губернатор А. А. Закревский (1783—1865).

...небольшая поэма — «Эда».

8. И. И. Козлову (стр. 473)

Печатается по *РА*, 1886 г., кн. 1, стр. 186—187. Подлинник на французском языке. Адресовано поэту Ивану Ивановичу Козлову (1779—1840), автору романтической поэмы «Чернец».

Пери — имеется в виду А. А. Воейкова (см. примечание на стр. 564).

...мой теперешний покровитель — А. А. Закревский.

«Мнемозина» — альманах, издававшийся в 1824—1825 гг. в Москве В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским.

...полемическая статья Кюхельбекера — «Разговор с Ф. В. Булгариным», помещенный в третьей книжке «Мнемозины» за 1824 г. (см. комментарий к письму № 10).

Фрероны. — Боратынский употребляет в нарицательном смысле имя французского ретроградного литератора Э. К. Фрерона (1719—1776), неоднократно высмеянного Вольтером.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — журналист официозно-консервативного направления, редактор журнала «Сын отечества».

Булгарин — см. примечание на стр. 552.

Каченовский — см. примечание на стр. 567.

...журнал Полевого — «Московский телеграф», в котором с начала 1825 по 1829 г. сотрудничал Боратынский.

9. А. И. Тургеневу (стр. 474)

Печатается впервые по автографу из собрания К. В. Пигарева. По содержанию связано с предыдущим письмом.

Муханов Александр Алексеевич (1800—1834) — один из финляндских приятелей Боратынского, адъютант Закревского.

10. В. К. Кюхельбекеру (стр. 475)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в журнале «Русская старина», 1875 г., июль, стр. 377. Письмо было послано Боратынским Кюхельбекеру с Н. В. Путятой, уехавшим из Гельсингфорса в Москву в начале февраля 1825 г.

Эйлер Леонард (1707—1783) — математик и физик, профессор петербургской и берлинской Академий наук.

...разговор твой с Булгариным. — Статья Кюхельбекера «Разговор с Ф. В. Булгариным», помещенная в третьей части «Мнемозины» за 1824 г., является продолжением полемики о поэтических жанрах, начатой им в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», ч. II, 1824 г.). Ратуя за идейную содержательность поэзии, Кюхельбекер восставал против «унылой» элегии и посланий, получивших широкое распространение в русской литературе, и. в частности, находил желательным воскрешение жанра оды, в котором он признавал «высший род поэзии». Взгляды Кюхельбекера многими из его современников были поняты упрощенно и дали повод обвинять его в исключительном пристрастии к оде в ущерб эпической и драматической поэзии. Подобные упреки были сделаны Кюхельбекеру Булгариным («Литературные листки», 1824 г., № 15) и вызвали с его стороны возражение в статье, привлекшей к себе внимание Боратынского.

11. Н. В. Путяте (стр. 476)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано с пропусками в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 265—267.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский писатель-просветитель.

...попечение твое о моих стихотворных детках. — При отъезде Путяты из Финляндии в начале февраля 1825 г. Боратынский вручил ему ряд своих стихотворений для помещения их в московских и петербургских альманахах и журналах.

...пришлешь Горе от ума. — «Горе от ума» стало известно Путяте в рукописной копии, и в не дошедшем до нас письме к Боратынскому он, повидимому, изложил ему содержание комедии. Отрывок из пьесы Грибоедова был напечатан в альманахе «Русская талия», вышедшем в свет в январе 1825 г.

Альсина — А. Ф. Закревская (см. примечание на стр. 562).

Боссюет (правильно — Боссюэ) Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник. Боратынский цитирует его надгробное слово, произнесенное в 1670 г. на похоронах герцогини Орлеанской и считавшееся образцом красноречия.

12. Н. В. Путяте (стр. 478)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано с пропусками в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 267—268.

Нам надобны и страсти и мечты — предпоследняя строфа стихотворения «Череп». В «Северных цветах» на 1825 г., где «Череп» опубликован впервые, этой строфы нет. Она вошла только в *Изд. 1835 г.*

Фея твоя — А. Ф. Закревская.

Львов кн. Александр Дмитриевич (1800—1866) — адъютант финляндского генерал-губернатора.

Генерал — А. А. Закревский.

...полковой командир — Г. А. Лутковский (см. примечание на стр. 557).

...новая поэма — «Бал».

13. Н. В. Путяте (стр. 479)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано с пропусками в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 269—270.

Она — А. Ф. Закревская.

Леда — стихотворение Боратынского, написанное во время пребывания поэта у Н. В. Путяты в Гельсингфорсе и напечатанное в части IV «Мнемозины» за 1825 г., без подписи автора.

Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — писатель, издатель альманаха «Мнемозина» (совместно с В. К. Кюхельбекером).

...буре шуметь не позволено. — Намек на цензурные препятствия, возникшие в связи с печатанием стихотворения «Буря» в части IV «Мнемозины» за 1825 г.

14. И. И. Козлову (стр. 480)

Печатается впервые по автографу из собрания К. В. Пигарева.

«Венециянская ночь» — стихотворение Козлова, напечатанное в альманахе «Полярная звезда» на 1825 г. Альманах вышел в свет в двадцатых числах марта 1825 г.

...жду с нетерпением «Чернеца». — Отдельное издание поэмы Козлова «Чернец» появилось в 1825 г.

...похвалы отрывку из «Эды». — Имеется в виду отрывок из «Эды», помещенный в «Полярной звезде» на 1825 г.

«Элисейские поля» — стихотворение Боратынского, впервые напечатанное в альманахе «Полярная звезда» на 1825 г.

...новая небольшая поэма — «Бал».

Полевой — Н. А. Полевой (см. примечание на стр. 573).

...междоусобия Карамзина с Шишковым. — Намек на полемику по вопросу о реформе русского литературного языка между последователями Н. М. Карамзина и его противниками во главе с А. С. Шишковым. К числу «карамзинистов» принадлежал П. А. Вяземский.

15. А. И. Тургеневу (стр. 482)

Печатается впервые по автографу из собрания К. В. Пигарева.

Написано по получении приказа о производстве Боратынского в офицеры. Приказ был подписан Александром I 21 апреля 1825 г. в Варшаве.

16. Н. В. Путяте (стр. 483)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано с пропусками в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 271—272.

...о дружеском твоем появлении в Кюмене. — В начале мая 1825 г. Н. В. Путята, ехавший из Петербурга в Гельсингфорс, завез Боратынскому в Кюмень приказ об его производстве в офицеры.

Аграфена Федоровна — Закревская.

Мисинька — англичанка, жившая в доме Закревских.

Каролина Левандер — молодая девушка, уроженка Финляндии, сопровождавшая А. Ф. Закревскую в Петербург.

Спешу к ней. — Имеется в виду А. Ф. Закревская.

Магдалина — одно из прозвищ, данное Боратынским А. Ф. Закревской.

17. А. С. Пушкину (стр. 484)

Печатается по Полному собранию сочинений Пушкина, изд. Академии наук СССР, т. XIII, 1937, стр. 253. Впервые напечатано в *Изд. 1869 г.*, стр. 419—421.

Не думай, чтоб я до такой степени был маркизом. — Литературные друзья Боратынского упрекали его в пристрастии к французскому классицизму.

...правила Аристотеля. — Имеется в виду «Поэтика» древнегреческого ученого и философа Аристотеля, легшая в основу французской классицистской поэтики.

Остафьево — подмосковное имение П. А. Вяземского.

...Духов Кюхельбекера читал — «Шекспировы духи». Драматическая шутка В. К. Кюхельбекера (СПБ. 1825).

...что сделал для Рылеева. — Намек на замечания, сделанные Пушкиным на полях отдельного издания поэмы Рылеева «Войнаровский».

Левушка — брат Пушкина (см. примечание на стр. 565).

18. А. С. Пушкину (стр. 485)

Печатается по Полному собранию сочинений Пушкина, изд. Академии наук СССР, т. XIII, 1937, стр. 254. Впервые напечатано в *Изд. 1869 г.*, стр. 418—419.

«Урания» — альманах на 1826 г., изданный М. П. Погодиным.

«Я есмь» — стихотворение С. П. Шевырева (1806—1864).

...московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. — Имеется в виду кружок московских «любомудров», возглавлявшийся поэтом Д. В. Веневитиновым и В. Ф. Одоевским и увлекавшийся философией Шеллинга.

Кант Эммануил (1724—1804) — немецкий философ-идеалист.

Галич Александр Иванович (1783—1848) — профессор словесности, один из первых русских шеллингианцев. «Пиэтикой» Галича Боратынский называет его «Опыт науки изящного» (1825 г.).

...откровения Платоновы. — Боратынский подразумевает идеалистическую философию греческого мыслителя V—IV вв. до н. э. Платона.

...отделал элегиков в своей эпиграмме. — Намек на эпиграмму Пушкина «Соловей и кукушка».

Камоэнс Луис (1525—1580) — португальский поэт, автор патриотического эпоса «Лузиада».

...прочли всю книгу. — В 1826 г. вышло первое отдельное издание стихотворений Пушкина.

19. Н. В. Путяте (стр. 486)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 273—274. Датируется на основании почтового штемпеля.

...успокоило твою матушку. — Екатерина Ивановна Путята, рожд. Ефимович (ум. в 1833 г.).

...описание Финляндии — отрывок из «Эды», помещенный в журнале «Московский телеграф», 1825 г., № 22.

Бутков Петр Григорьевич (1775—1857) — чиновник особых поручений при финляндском генерал-губернаторе, историк, впоследствии академик. Замечание Буткова, очевидно, касалось двух стихов в отрывке из «Эды», напечатанном в «Московском телеграфе»:

Синея, всходят до небес
Их своенравные громады.

Александр — вероятно, младший брат Н. В. Путяты, служивший в это время в 46-м егерском полку.

20. Н. А. Полевому (стр. 488)

Печатается по *РА*, 1872 г., вып. 2, столбцы 351—352.

«Див» — поэма Андрея Ивановича Подолинского (1806—1886) «Див и Пери».

«Онегин» — третья глава «Евгения Онегина», вышедшая отдельным изданием в октябре 1827 г.

Рафаэль — Санти Рафаэль (1483—1520), знаменитый итальянский живописец.

Издание прелестно — первое издание стихотворений Боратынского, вышедшее в ноябре 1827 г. в Москве при участии Н. А. Полевого.

...пишу к моему тестю. — Энгельгардт Лев Николаевич (1766—1836), отставной генерал-майор.

Дмитриев Иван Иванович (см. примечание на стр. 572).

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк и журналист,

редактор журнала «Московский вестник», впоследствии реакционный публицист и идеолог так называемой «официальной народности».

21. А. С. Пушкину (стр. 489)

Печатается по Полному собранию сочинений Пушкина, изд. Академии наук СССР, т. XIV, 1941, стр. 5—6. Впервые опубликовано в отрывке в *С*, 1854 г., т. XLVII, № 9, отд. III, стр. 22.

...короче прежнего познакомясь в Москве. — Боратынский имеет в виду свои встречи с Пушкиным осенью 1826 и зимой 1827 г.

...две песни Онегина. — Четвертая и пятая главы «Евгения Онегина» вышли в конце января — начале февраля 1828 г.

Портрет твой в Северных Цветах. — К альманаху Дельвига «Северные цветы» на 1828 г. приложен портрет Пушкина, гравированный Н. Уткиным с оригинала О. Кипренского. Принадлежавший Боратынскому «особый оттиск» находится в музее-усадьбе Мураново имени Ф. И. Тютчева.

Василий Львович — В. Л. Пушкин (см. примечание на стр. 568).

Громобой — герой баллады Жуковского «Громобой».

22. Н. В. Путяте (стр. 490)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 277—278.

Датируется условно апрелем 1828 г. на основании сообщения Боратынского о том, что А. А. Закревский «сделан министром внутренних дел». Назначение Закревского на этот пост состоялось в апреле 1828 г.

...недавно вступил в Межевую. — Боратынский поступил на службу в Межевую канцелярию 24 января 1828 г.

Альсина, Магдалина — А. Ф. Закревская.

23. П. А. Вяземскому (стр. 492)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *СН*, кн. 5, 1902, стр. 45—46. Упоминание об отъезде Пушкина из Москвы в Тифлис дает возможность датировать письмо маем 1829 г.

...экземпляр «Станции». — Стихотворение Вяземского «Станция»

напечатано в альманахе «Подснежник» на 1829 г. Боратынский, благодарит Вяземского за отдельный оттиск этого стихотворения.

«Полтава». — Поэма Пушкина «Полтава» вышла в свет в конце марта 1829 г.

Выжигины. — В 1829 г. Булгарин выпустил роман «Иван Выжигин».

Д. Давыдов — поэт-партизан Д. В. Давыдов.

...княгиня — Вяземская Вера Федоровна (1790—1886), рожд. кн. Гагарина, жена П. А. Вяземского.

24. И. В. Киреевскому (стр. 493)

Печатается по *ТС,* стр. 8.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — критик и журналист, впоследствии один из идеологов славянофильства.

...эти стихи — отрывок из поэмы «Наложница».

Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — издатель альманаха «Денница».

...благодарить твою маменьку. — Имеется в виду Елагина Авдотья Петровна (1789—1877), рожд. Юшкова, по первому мужу Киреевская.

25. П. А. Вяземскому (стр. 493)

Печатается по автографу *ЦГЛА.* Впервые напечатано в *СП,* кн. 5, 1902, стр. 52—53.

Упоминание о запрещении «Литературной газеты» (15 ноября 1830 г.) и начале восстания в Варшаве (17 ноября 1830 г.) позволяет датировать письмо второй половиной ноября 1830 г.

Оставаться в Остафьеве покуда благоразумнее. — Боратынский имеет в виду эпидемию холеры.

...о моем новом труде. — Очевидно, поэма «Наложница», над которой в это время работал Боратынский.

Степная прогулка — стихотворение Вяземского «Прогулка в степи», впервые напечатанное Дельвигом в «Литературной газете», 1831 г., № 3.

...великий князь — Константин Павлович (1779—1831), наместник Царства Польского.

26. Н. В. Путяте (стр. 494)

Печатается по автографу *ЦГЛА.* Впервые напечатано в *РА,* 1867 г., вып. 2, столбцы 280—281.

Упоминание о Казани позволяет отнести письмо к июню 1831 г., так как в начале июля поэт с семьей переехал из Казани в имение Энгельгардтов Каймары.

Сара — героиня поэмы Боратынского «Наложница».

...у вас не прекращается холера. — Со второй половины сентября 1830 г. в России свирепствовала эпидемия холеры.

27. П. А. Плетневу (стр. 495)

Печатается по журналу «Русская старина», 1904 г., июнь, стр. 518—519. Впервые — в сборн. «Помощь голодающим», М. 1892, стр. 259—260.

Адресовано Петру Александровичу Плетневу (1792—1865), другу Пушкина, критику и профессору русской словесности.

Потеря Дельвига... — А. А. Дельвиг умер 14 января 1831 г.

Я еще не принимался за жизнь Дельвига. — О работе над биографией Дельвига Боратынский сообщает И. В. Киреевскому также в письме № 36 (см. стр. 506). Этот труд остался незаконченным и не сохранился.

28. И. В. Киреевскому (стр. 497)

Печатается по *ТС*, стр. 10—11.

Идет ли вперед твой роман? — И. В. Киреевский писал роман «Две жизни», который не был им закончен.

Рамих. — Кто такой Рамих, установить не удалось.

...разбор «Наложницы» — статья в «Литературной газете» от 11 мая 1831 г.

29. И. В. Киреевскому (стр. 497)

Печатается по *ТС*, стр. 11—12.

О торговых делах... — Речь идет о хлопотах, связанных с продажей издания «Наложницы», вышедшего весной 1831 г.

Ширяев и *Кольчугин* — московские книгопродавцы.

Гнедич — Н. И. Гнедич (см. примечание на стр. 555).

30. И. В. Киреевскому (стр. 498)

Печатается по *ТС*, стр. 15—17.

«Элоиза» Руссо — роман Ж.-Ж. Руссо «La Nouvelle Héloïse» («Новая Элоиза»).

...сочинитель «Клариссы» — английский писатель-сентименталист С. Ричардсон (1689—1761), автор романа «Кларисса Гарлоу».

Языков — Н. М. Языков (см. примечание на стр. 576).

31. И. В. Киреевскому (стр. 500)

Печатается по *ТС*, стр. 12—14.

Жду с нетерпением твоего разбора. — И. В. Киреевский работал в это время над статьей «Обозрение русской словесности за 1831 г.». Статья эта, состоящая в основном из разбора «Бориса Годунова» Пушкина и «Наложницы» Боратынского, напечатана в журнале «Европеец», 1832 г., № 2.

Иоанна — так Боратынский называет, по имени героини, переведенную Жуковским трагедию Шиллера «Орлеанская дева».

32. И. В. Киреевскому (стр. 501)

Печатается по *ТС*, стр. 19—21.

...возражение на мое предисловие — статья Н. И. Надеждина в журнале «Телескоп», 1831 г. № 10, стр. 231—236. В этой статье Надеждин полемизировал с предисловием Боратынского к поэме «Наложница».

33. Н. М. Языкову (стр. 503)

Печатается по «Историко-литературному сборнику, посвященному В. И. Срезневскому», Л. 1924, стр. 12—13. Датируется концом сентября 1831 г., так как о намерении Киреевского издавать журнал Боратынский узнал около 21 сентября этого года (см. предыдущее письмо).

Гермес — начальник Межевой канцелярии. Далее в письме Боратынского игра слов, основанная на совпадении между фамилией его бывшего начальника и именем греческого бога.

34. И. В. Киреевскому (стр. 504)

Печатается по *ТС*, стр. 21—22.

...стихи Пушкина и Жуковского — брошюра «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». (СПБ. 1831). В ней помещены стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» и стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

Людовик XVIII (1755—1824) — король французский с 1814 г.

...пишу небольшую драму. — Это произведение Боратынского до нас не дошло.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — автор романов «Юрий Милославский» (1829 г.), «Рославлев» (1831 г.) и др.

Розен Егор Федорович (1800—1860) — литератор, издатель альманахов «Царское село» (1830 г.) и «Альциона» (1831 г.), в которых печатался Боратынский.

35. И. В. Киреевскому (стр. 505)

Печатается по *ТС*, стр. 23—24.

Пушкин Сергей Львович (1770—1848) — отец поэта.

...моя переписчица — А. Л. Боратынская, жена поэта.

Villemain — Вильмен Абель-Франсуа (1790—1870), французский критик и историк. Боратынский, очевидно, имеет в виду его «Cours de la littérature française» («Курс французской литературы»), вышедший в 1828 г.

Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель, автор трудов «Histoire de la civilisation en Europe» («История цивилизации в Европе», 1828 г.) и «Histoire de la civilisation en France» («История цивилизации во Франции», 1829—1832 гг.).

Urbain — Юрбен, французский книгопродавец в Москве.

36. И. В. Киреевскому (стр. 506)

Печатается по *ТС*, стр. 26—27.

Машенька — Боратынская Марья Евгеньевна (р. 1832 г.), дочь поэта.

Европеец — название журнала, к изданию которого в это время приступил Киреевский.

...критика Надеждина — см. примечание на стр. 606.

Свербеевы — см. примечание к стихотворению «К. А. Свербеевой» (стр. 573).

37. И. В. Киреевскому (стр. 508)

Печатается по *ТС*, стр. 28—29.

...отвечал Надеждину. — Боратынский имеет в виду свою статью «Антикритика».

...повести малороссийского автора — «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, первая часть которых вышла в сентябре 1831 г.

...название моей поэмы — «Наложница».

...план новой поэмы. — План этот нам неизвестен.

Элегия — «В дни безграничных увлечений».

Алексей Андреевич — Елагин, вотчим И. В. Киреевского.

38. И. В. Киреевскому (стр. 509)

Печатается по *ТС,* стр. 29—30.

...сказка — повесть Боратынского «Перстень».

39. И. В. Киреевскому (стр. 510)

Печатается по *ТС,* стр. 32—33.

Датируется концом декабря 1831 г. на основании слов: «Поздравляем тебя и твоих с праздниками и новым годом».

40. И. В. Киреевскому (стр. 511)

Печатается по *ТС,* стр. 30—31.

Датируется январем 1831 г., по связи с предыдущим письмом.

Гизо — см. примечание на стр. 607.

Арцыбашев Николай Сергеевич (1773—1841) — историк, противник Карамзина. Последним обстоятельством вызван эпитет «страшный», который Боратынский применяет к Арцыбашеву.

41. И. В. Киреевскому (стр. 512)

Печатается по *ТС,* стр. 33—34.

Языков расшевелил меня своим посланием. — Имеется в виду стихотворение Н. М. Языкова «И. В. Киреевскому (В альбом)».

42. И. В. Киреевскому (стр. 513)

Печатается по *ТС,* стр. 31—32.

...первое мое послание к Языкову — «Языков, буйства молодого».

...напечатай лучше второе — «Бывало, свет позабывая...»

Желание Боратынского не было Киреевским выполнено. Очевидно, книжка «Европейца», в которой было помещено «первое послание», уже находилась в печати.

Перцов Ераст Петрович (1804—1873) — поэт и драматург.

...баллады Жуковского — издание «Баллады и повести В. Жуковского», СПБ. 1831.

43. И. В. Киреевскому (стр. 513)

Печатается по *ТС*, стр. 36—37.

Статья твоя о 19-м веке... — Первый номер журнала Киреевского «Европеец» открывался его статьей «Девятнадцатый век».

44. И. В. Киреевскому (стр. 515)

Печатается по *ТС*, стр. 37—38.

45. И. В. Киреевскому (стр. 516)

Печатается по *ТС*, стр. 40—41.

...о запрещении твоего журнала. — Поводом к запрещению «Европейца», состоявшемуся 22 февраля 1832 г., послужила статья И. Киреевского «Девятнадцатый век», которая была признана написанной «в духе самом неблагонамеренном».

46. И. В. Киреевскому (стр. 516)

Печатается по *ТС*, стр. 44—45.

Я очень благодарен Яновскому за его подарок. — Гоголь прислал Боратынскому в Казань экземпляр своих «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вторая часть которых вышла в марте 1832 г. Одновременно была переиздана и первая часть.

...о трагедии Хомякова. — Как явствует из письма Боратынского к Киреевскому от 30 мая 1832 г., речь идет о трагедии А. С. Хомякова «Дмитрий Самозванец».

...брат — И. А. Боратынский (см. примечание на стр. 547).

Каролина — К. К. Яниш (см. примечание на стр. 572).

Сонечка — С. Л. Энгельгардт (см. примечание на стр. 571).

Горскина — лицо нам неизвестное.

47. И. В. Киреевскому (стр. 518)

Печатается по *ТС*, стр. 46.

Тесть мой — Л. Н. Энгельгардт (см. примечание на стр. 602).

Хвостовское чувство. — Намек на пресловутую метроманию гр. Д. И. Хвостова (см. эпиграмму Боратынского «В своих стихах он скукой дышит...», стр. 85.)

Наши — Л. Н. Энгельгардт и его дочь Софья.

48. И. В. Киреевскому (стр. 518)

Печатается по *ТС*, стр. 48—49.

Датируется июнем 1832 г., так как написано до отъезда Боратынского из Казани.

Виланд Христофор-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель.

...я прочитал здесь «Царя Салтана». — «Сказка о царе Салтане» впервые напечатана в третьей части «Стихотворений Александра Пушкина», вышедшей в Петербурге в последних числах марта 1832 г. Отзыв Боратынского доказывает, что значение сказок Пушкина не было им понято.

49. И. В. Киреевскому (стр. 519)

Печатается по *ТС*, стр. 47—48.

В *ТС* письмо датировано: «20-го июня 1832 г.». Дата эта внушает недоумение, поскольку Боратынский пишет: «Пишу тебе в последний раз из Казани. *19-го* числа я выезжаю в Тамбов». Очевидно, в одном из двух случаев ошибка. Однако за отсутствием подлинника уточнить дату не представляется возможным.

Hugo — Гюго Виктор (1802—1885), французский писатель.

Barbier — Барбье Анри-Огюст, французский поэт-сатирик, выпустивший после Июльской революции 1830 г. сборник стихотворений под заглавием «Les Jambes» («Ямбы», 1831).

50. П. А. Вяземскому (стр. 520)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *СН*, кн. 5, 1902, стр. 53—54.

Датируется условно декабрем 1832 г. на основании упоминания о Смирдине. 2 декабря 1832 г. Пушкин писал П. В. Нащокину: «Скажи Боратынскому, что Смирдин в Москве и что я говорил с ним о издании полных стихотворений Евг. Боратынского. Я говорил о 8

и 10 тысячах, а Смирдин боялся, что Боратынский не согласится. Следственно, Боратынский может с ним сделаться. Пусть он попробует».

...мой брат — вероятно, И. А. Боратынский (см. примечание на стр. 547).

Вы недостаете Москве. — Вяземский в это время находился в Петербурге.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, участник войн 1812—1814 гг., член «Арзамаса» и Союза Благоденствия. Был женат на Екатерине Николаевне Раевской (1805?—1885).

...начало вашего Послания — стихотворение Вяземского «К старому гусару».

...будут дружеской артели — несколько измененная цитата из стихотворения Вяземского «К старому гусару».

Смирдин Александр Федорович (1795—1857) — петербургский книгопродавец и издатель. Сделка Смирдина с Боратынским не состоялась.

51. И. В. Киреевскому (стр. 521)

Печатается по *ТС,* стр. 50—51.

Берже Филипп (1783—1867) — художник. Написанный им акварельный портрет Боратынского воспроизведен в *ПСС,* т. I, между стр. 120—121.

52. И. В. Киреевскому (стр. 522)

Печатается по *ТС,* стр. 51—52.

...программу его журнала. — С 1834 г. А. Ф. Смирдин совместно с О. И. Сенковским издавал журнал «Библиотека для чтения».

...бледнее Ладвокатова «Cent et un». — Многотомное издание «Paris ou le livre des cent et un» («Париж или книга ста одного»), предпринятое в 1831 г. большой группой французских литераторов с целью поправить дела разорившегося парижского книгопродавца и издателя N. Ladvocat.

Бальзак Оноре (1799—1850) — французский романист.

53. И. В. Киреевскому (стр. 523)

Печатается по *ТС,* стр. 52—53.

54. И. В. Киреевскому (стр. 524)

Печатается по *ТС,* стр. 54—55.

...пособие в сношениях моих с Ширяевым. — Боратынский имеет в виду корректуру издания своих стихотворений. Издание это вышло в апреле 1835 г.

...предисловие в стихах. — Повидимому, стихотворение «Вот верный список впечатлений...» В издании 1835 г. оно помещено не было, так же как и «музыкальный эпиграф».

...брат — Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), младший брат И. В. Киреевского, собиратель народных песен.

55. С. Л. Энгельгардт (стр. 525)

Печатается по «Мурановскому сборнику», вып. I, 1928, стр. 30, где ошибочно отнесено к 1831 г. В подлиннике *ЦГЛА* письмо имеет приписку А. Л. Боратынской с упоминанием о предстоящей свадьбе Е. П. Киндяковой с А. Н. Раевским. Свадьба эта состоялась 11 ноября 1834 г., что служит основанием к датировке письма началом ноября 1834 г.

...корректура — корректура издания стихотворений Боратынского, вышедшего в 1835 г.

...послание к Вяземскому. — Стихотворное послание Боратынского к Вяземскому «Как жизни общие призывы...» в издание 1835 г. не вошло.

...эпиграмма. — О какой эпиграмме пишет Боратынский, установить не удалось.

56. П. А. Вяземскому (стр. 525)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *СН*, кн. 3. СПБ. 1900, стр. 341—342.

Я навестил отца... — Боратынский имеет в виду С. Л. Пушкина.

Я лишился моего тестя... — Л. Н. Энгельгардт умер в Москве 4 ноября 1836 г.

57. П. А. Вяземскому (стр. 527)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *СН*, кн. 5, 1902, стр. 54. Датируется предположительно февралем 1837 г. «Данью» Боратынского «Современнику» было стихотворение «Осень».

58. П. А. Плетневу (стр. 527)

Печатается по журналу «Русская старина», 1904 г., июнь, стр. 519—520, где помещено впервые. Датируется началом 1839 г. на основании упоминания о стихах Боратынского, помещенных в «Отечественных записках».

...родственница моя Путята — С. Л. Путята (см. примечание на стр. 571).

...пьеса, напечатанная в «Отечественных записках» — стихотворение «Толпе тревожный день приветен...», опубликованное в томе II «Отечественных записок» за 1839 г.

Сергей — Сергей Абрамович Боратынский (1807—1866), младший брат поэта.

...несколько небольших пьес — стихотворения «Благословен святое возвестивший...», «Были бури, непогоды...» и «Еще, как патриарх, не древен я...», помещенные впервые в «Современнике», 1839 г., т. XV.

Я еду с семейством на южный берег Крыма... — Это намерение Боратынским не было осуществлено.

59. А. Л. Боратынской (стр. 528)

Печатается по автографу *ПД*. Впервые напечатано с пропусками в *Изд. 1869 г.*, стр. 423—424. Письмо относится ко времени пребывания Боратынского в Петербурге зимой 1840 г. Точная дата его поездки в Петербург не установлена.

Sophie K. — С. Н. Карамзина (см. примечание к стихотворению «С книгою «Сумерки» С. Н. К.» на стр. 586).

Блудов гр. Дмитрий Николаевич (1785—1864) — литературный и государственный деятель, бывший «арзамасец».

Одоевский — В. Ф. Одоевский (см. примечание на стр. 599).

Соллогуб гр. Владимир Александрович (1814—1882) — писатель.

...ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. — В. А. Жуковский занимался в это время подготовкой к печати первого посмертного издания сочинений Пушкина. Впечатления Боратынского от чтения неизданных пушкинских стихов свидетельствуют о том, что при всем преклонении перед гением Пушкина Боратынский до тех пор не отдавал себе полного отчета в его величии.

Феофан — Феофан Прокопович (ум. в 1736 г.), известный церковный деятель и проповедник эпохи Петра I.

Абамелек кн. Марья Иоакимовна, рожд. Лазарева. — На ее дочери, воспетой Пушкиным красавице А. Д. Абамелек, с 1835 г. был женат И. А. Боратынский, брат поэта.

Одоевская кн. Ольга Степановна (1797—1872), рожд. Ланская, — жена писателя В. Ф. Одоевского.

Allan — Луиза Аллан (1809—1856), французская актриса.

Елагин — см. примечание на стр. 608.

Киреевский — И. В. Киреевский.

60. Н. В. Путяте (стр. 529)

Печатается по тексту, опубликованному в книге К. Пигарева «Мураново», изд. «Московский рабочий», 1948 г., стр. 138. Впервые напечатано в *РА*, 1867, вып. 2, столб. 282. Писано из усадьбы Пальчиковых Артемово, близ Муранова. Боратынский с семьей жил в Артемове в 1841—1842 гг., пока строился новый мурановский дом.

Редакция бесподобна. — 2 апреля 1842 г. был обнародован указ об обязанных крестьянах. Согласно этому указу, помещик получал право освобождать крестьян от крепостной зависимости с предоставлением им в пользование земельного надела. За это крестьяне должны были нести в пользу помещика «обязанности» (барщину или оброк). Указ об обязанных крестьянах по существу закреплял феодальные отношения, хотя его появление и вызвало тревогу в помещичьих кругах. Отголосок этой тревоги слышится и в письме Боратынского («После минуты нерешимости...» и т. д.) наряду с его сочувствием делу раскрепощения. В письме к сестре Н. А. Боратынской от 25 апреля того же года поэт также высказывает свое отношение к правительственному указу: «Вы получаете московскую газету, следовательно, знакомы с замечательным указом, поразительным по своей сдержанности, по своей предусмотрительности, который незаметно разрешает самые большие сложности. Желаю успеха тому, кто не побоялся приступить к самому трудному и самому прекрасному делу. Взаимные права в некотором роде уже установлены — и в этом пробный камень» (перевод с французского. — *М*, стр. 82). Н. В. Путята, впервые опубликовавший комментируемое письмо к нему Боратынского, свидетельствует: «Уничтожение крепостного права постоянно занимало его мысли. В разговорах со мною об этом предмете он выражал мнение, что освобождение не должно совершиться иначе, как с наделом земли в собственность крестьян, при вознаграждении помещиков финансовою операциею, но какою — прибавлял он — этого я не берусь указывать: финансы не мое дело» (*РА*, 1867, вып. 2, столбцы 281—282).

61. А. Ф. Боратынской (стр. 530)

Печатается в переводе с французского подлинника по *М*, стр. 62—63.

...моей книге. — Речь идет о сборнике стихотворений Боратынского «Сумерки», вышедшем в конце мая 1842 г.

...моя постройка — дом в подмосковной усадьбе Мураново, строившийся по чертежам Боратынского в 1841—1842 гг. Материалы

о хозяйственной деятельности Боратынского см. в книге К. Пигарева «Мураново», изд. «Московский рабочий», 1948 г.

...учитель рисования — Эллерс, автор известного по многочисленным воспроизведениям портрета Е. А. Боратынского.

62. Н. В. Путяте (стр. 531)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867, вып. 2, столбцы 286—287. Осенью 1843 г. Боратынский с женой и тремя детьми выехал за границу. В Париж он прибыл в начале ноября.

Друзья, сестрицы, я в Париже — начало шуточного стихотворного послания И. И. Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон», написанного от лица В. Л. Пушкина.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — приятель Боратынского и Пушкина, известный острослов и автор эпиграмм. Много путешествовал за границей. На обширные связи Соболевского в парижском обществе намекает Боратынский в комментируемом письме.

...faubourg St.-Germain — аристократическое предместье Парижа.

Теперь всех занимает вопрос воспитания. — Боратынский правильно указывает на связь этого злободневного для того времени вопроса «с видами легитимизма». В письме к матери поэт указывает на то, что Сен-Жерменское предместье считает «принцип легитимизма нераздельным с принципом владычества церкви» (*Изд. 1869 г.*, стр. 515). В начале 40-х годов нападки на университет со стороны клерикальной партии достигли особой резкости, но вызвали отпор со стороны противоположного лагеря (профессора В. Кузен, Мишле и др.).

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт и политический деятель. В начале 40-х годов был близок к легитимистам, позднее примкнул к буржуазно-республиканской партии.

Aguesseau — маркиза д'Агессо, внучка известного государственного деятеля и канцлера А.-Ф. д'Агессо.

Nodier, Шарль Нодье (1780—1844) — французский писатель-романтик. В письме к матери, упоминая о Нодье, которого он «успел застать в живых», ибо Нодье «теперь находится при последнем издыхании...», Боратынский пишет: «Мне, однако, удалось уловить несколько минут приятной беседы с ним накануне того самого дня, когда он так опасно занемог» (*Изд. 1869 г.*, стр. 515).

Thierry — один из двух братьев Тьерри: Огюстен (1795—1856) или Амедей (1797—1873), известные историки. Боратынский познакомился в Париже с обоими Тьерри.

Сиркуры — гр. Адольф де Сиркур (1801—1879), французский литератор, и его жена, Мария-Анастасия де Сиркур (1813—1863), рожд. Хлюстина. Сиркур был в дружбе с П. Я. Чаадаевым. По просьбе Сиркура Боратынский перевел на французский язык прозою ряд своих стихотворений (текст перевода см. *Акад. изд.*, т. I, стр. 191—199).

Тургенев А. И. — см. примечание на стр. 597.

Балабин Евгений Петрович — дипломат.

63. Н. В. Путяте (стр. 532)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 287—289.

Виньи — гр. Альфред де Виньи (1799—1863), французский поэт-романтик.

St.-Beuve — Шарль-Огюст Сент-Бёв (1804—1869), французский поэт-романтик и критик.

Mérimée — Проспер Мериме (1803—1870), французский писатель, находившийся в дружеских отношениях с С. А. Соболевским.

Ancelot — Маргарита-Луиза-Виргиния Ансло (1792—1875), рожд. Шардон, французская писательница. Ее муж, драматург Ж.-А.-П.-Ф. Ансло, перевел на французский язык стихотворение Боратынского «Череп».

Ж. Занд (правильно Санд) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876), рожд. Дюпен. В 40-х годах Ж. Санд увлекалась республиканскими идеями, поэтому Боратынский и надеялся «добраться» до нее через посредство «прежнего издателя одного из крайних республиканских журналов».

...с некоторыми земляками. — В Париже Боратынский часто посещал декабриста-эмигранта Николая Ивановича Тургенева (1789—1871), а также общался с кругом лиц, близких к Герцену и Огареву: поэтом Николаем Михайловичем Сатиным (1814—1873), публицистом Иваном Гавриловичем Головиным (1816 — после 1882), Николаем Ивановичем Сазоновым (1815—1862). В то же время Боратынский бывал в салоне рьяной католички Софии Петровны Свечиной (1782—1858), рожд. Соймоновой. «...Нет личности сколько-нибудь замечательной, которой бы нельзя было встретить у нее,

даже теперь, когда, сделавшись чересчур набожной, она подвергает гостей своих слишком строгому выбору», — пишет поэт матери (*Изд. 1869 г.*, стр. 515).

...*трогательную панихиду.* — В *РА*, столб. 289, к этим строкам дано следующее пояснение: «Здесь говорится о посольстве 5-ти легитимистов к графу Шамбору (последнему представителю старшей линии Бурбонов. — *К. П.*) для поздравления его со вступлением в совершеннолетие, вследствие чего они, как известно, подверглись парламентскому порицанию».

Партия сохранительная — партия «устойчивости» (partie de la résistance), находившаяся в то время у власти и противостоявшая партии «движения» (partie du mouvement). Первую партию возглавлял Гизо, представителями второй партии были Лаффитт, Лафайет, Одилон Барро. Политика Гизо характеризовалась упорным противодействием всякого рода политическим реформам.

...*король* — Луи-Филипп (1773—1850), французский король с 1830 по 1848 г.

64. Н. В. Путяте (стр. 533)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 289—290.

65. Н. В. Путяте (стр. 534)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 290—292.

Сонечка — С. Л. Путята.

...*о вашей общей великой потере.* — Смерть отца Н. В. Путяты, Василия Ивановича, умершего 4 декабря 1843 г. Во время Отечественной войны 1812 г. и походов 1813—1815 гг. он занимался устройством госпиталей и, управляя Виленской комиссариатской комиссией, снабжал обмундированием резервы русской армии и действовавшие за границей русские войска.

Бедный Тургенев — А. И. Тургенев.

Равиньян (1795—1858) — французский проповедник-иезуит. Книга Равиньяна, упоминаемая Боратынским, называется «De l'existence et de l'institut des jésuites» (Париж, 1844). Представители ордена иезуитов, официально уничтоженного во Франции после Июльской революции 1830 г., принимали активное участие в борьбе духовенства с университетом по вопросу народного образования.

Тьери — очевидно, Огюстен Тьерри, которому Гизо, занимавший с 1840 г. пост министра иностранных дел, поручил собирание документов по истории третьего сословия.

Гизот — Гизо (см. примечание на стр. 607).

Настенька — А. Л. Боратынская, жена поэта.

66. Н. В. Путяте (стр. 535)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 292—293.

...желание моего портрета. — Намерение Боратынского заказать в Париже или в Италии свой литографированный портрет осуществлено не было.

...старые раны. — Намек на расхождение Боратынского с московскими литераторами (И. В. Киреевским, М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, Д. Н. Свербеевым и др.).

67. Н. В. Путяте (стр. 536)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 294—297. Из Парижа в Италию Боратынский выехал в апреле 1844 г. Точная дата его отъезда неизвестна.

Николенька — Николай Евгеньевич Боратынский (1836—1898), младший сын поэта.

...несколько стихов — стихотворение «Пироскаф».

...передать Плетневу для его журнала. — Имеется в виду «Современник».

Филемон и Бавкида — мифическое сказание о Филемоне и Бавкиде см. в «Метаморфозах» Овидия (VIII, 610—715). Старые супруги Филемон и Бавкида оказали в своей скромной хижине радушный прием Зевсу и Гермесу, в то время как остальные жители отказали им в гостеприимстве. За это боги затопили всю страну, а хижину Филемона и Бавкиды превратили в храм. По просьбе супругов им была послана одновременная смерть: оба были превращены в деревья.

Волконская — кн. З. А. Волконская (см. примечание на стр. 572).

Хлюстин Семен Семенович (1810—1844) — общий знакомый Пушкина, Боратынского и Путяты.

68. Н. В. Путяте (стр. 538)

Печатается по автографу *ЦГЛА*. Впервые напечатано в *РА*, 1867 г., вып. 2, столбцы 297—298. Это последнее письмо Боратынского, написанное за несколько дней до его внезапной смерти.

...тамбовское имение — Мара.

...имение Насти — принадлежавшая А. Л. Боратынской часть имения ее матери Е. П. Энгельгардт в Казанской губернии.

...Дмитрий — лицо неустановленное.

Бекер — Герман-Генрих Беккер, гувернер детей Боратынского. Уезжая за границу, поэт оставил ему доверенность на управление подмосковной усадьбой Мураново.

...два стихотворения — «Пироскаф» и «Дядьке-итальянцу».

СЛОВАРЬ

В словарь включены мифологические, исторические и условно поэтические имена и названия, встречающиеся в стихотворениях и поэмах Боратынского.

Авзония — древнее название Италии.

Адонис — юноша-красавец, возлюбленный Афродиты *(греч. миф.)*, символ мужской красоты.

Аид, Айдес — загробный мир *(греч. миф.)*.

Аквилон — северо-западный или северо-восточный ветер *(римск. миф.)*.

Алкивиад (450—404 до н. э.) — знаменитый своим честолюбием и легкомыслием афинянин.

Амур — бог любви *(римск. миф.)*.

Анакреон (VI—V в. до н. э.) — греческий лирик, воспевавший любовь, пиры и веселье.

Анахорет — отшельник *(греч.)*.

Аониды — музы.

Аппел, Апеллес (IV в. до н. э.) — греческий живописец.

Апис — священный бык *(египет. миф.)*.

Аполлон — бог света, жизни и искусства *(греч. миф.)*.

Арей — бог войны *(греч. миф.)*.

Аристипп (435—360 до н. э.) — греческий философ.

Армида — героиня поэмы «Освобожденный Иерусалим» Тассо, обладательница волшебного сада, синоним обольстительной красавицы.

Афина-Паллада — дочь Зевса, богиня победы и мудрости *(греч. миф.)*.

Афродита — богиня красоты и любви *(греч. миф.)*.

Ахилл, Ахиллес — герой «Илиады» Гомера. На его теле было только одно уязвимое место — пята *(греч. миф.)*.

Вакх — бог вина и веселья *(греч. миф.)*.

Венера — богиня любви и красоты *(римск. миф.)*.

Виргиния — героиня римской легенды, по происхождению плебейка. Децемвир Аппий Клавдий домогался овладеть ею, но отец Виргинии, спасая ее от позора, зарезал дочь и поднял народное восстание против децемвиров.

Галатея — морская нимфа *(греч. миф.)*.

Геликон — гора в Греции, посвященная Аполлону и музам.

Гея — мать всего земного, в то же время богиня смерти *(греч. миф.)*.

Гимен, Гименей — бог брака *(греч. миф.)*.

Гомер (Омир) — знаменитый поэт древней Греции, автор «Илиады» и «Одиссеи».

Гораций (65—8 до н. э.) — знаменитый римский поэт.

Грации — богини прекрасного и изящного *(греч. миф.)*.

Дамон — условное поэтическое имя.

Дафна — дочь речного бога, превращенная матерью Геей в лавр для спасения от преследования влюбленного в нее Аполлона *(греч. миф.)*; условное поэтическое имя.

Делия — условное поэтическое имя.

Диана — богиня луны и охоты *(римск. миф.)*.

Евротейский ток — река в Спарте.

Закоцитная сторона — потусторонний мир; Коцит — река в Аиде *(греч. миф.)*.

Зевс — главный бог древнегреческой мифологии, отец богов и людей.

Зефир — западный ветер, сын Эола и Авроры *(греч. миф.)*.

Зоил — нарицательное имя язвительного и мелочного критика.

Камены — музы *(римск. миф.)*.

Капитолий — крепость в древнем Риме.

Кастальский ручей — священный источник в Дельфах близ храма Аполлона.

Катон (234—149 до н. э.) — государственный деятель древнего Рима, ревниво оберегавший чистоту нравов.

Карфаген — столица древнего финикийского государства на африканском побережье Средиземного моря.

Катулл (около 87—55 до н. э.), римский поэт-лирик.

К и п р и д а — название Афродиты (от острова Кипр).

К л е о н — условное поэтическое имя.

К л и м е н а (Клио) — муза истории *(греч. миф.)*; условное поэтическое имя.

К о м — бог пиршеств *(греч. миф.)*.

К о н д о т ь е р и — название предводителей наемных дружин в Италии (XIV—XV вв.).

К о р и н н а — греческая поэтесса V века.

К о р р е д ж и о (Корреджий) Антонио (1494—1534) — итальянский живописец.

К у п и д о н — бог любви *(римск. миф.)*.

Л а д а — божество любви *(славян. миф.)*.

Л а и с а — имя греческих гетер, ставшее нарицательным.

Л е в к а д — один из греческих островов, со скалы которого, по преданию, поэтесса Сафо бросилась в море.

Л е д а — дочь царя Фестия; по древнегреческому мифу, Зевс стал ее возлюбленным, превратившись в лебедя.

Л е л ь — сын Лады, покровитель любви и брака *(славян. миф.)*.

Л е о н и д — спартанский царь, погибший в 480 г. до н. э. при героической защите Фермопильского ущелья.

Л е т а (Летийские струи) — река забвения в подземном царстве *(греч. миф.)*.

Л и л а, Л и л е т а — условные поэтические имена.

М а р и й (158—86 до н. э.) — римский полководец.

М а р с — бог войны *(римск. миф.)*.

М е д е я — героиня одноименной трагедии Еврипида, известная своей страстностью, непреклонной волей, не останавливавшаяся ни перед какими средствами (вплоть до убийства) для достижения намеченной ею цели.

М е м ф и с — город в Египте.

М е н т о р — воспитатель Телемака, сына Одиссея («Одиссея» Гомера); впоследствии нарицательное имя наставника.

М е н а д а — вакханка.

М о м — бог смеха *(римск. миф.)*.

М у з ы — богини искусств и наук.

М у с и к и й с к и й — музыкальный.

Н а з о н — см. Овидий.

Н а я д ы — нимфы водной стихии.

Н е к т а р — напиток богов.

Н и н о н д е Л а н к л о (1616—1706) — французская куртизанка

Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт.

Оден. (Один) — верховный бог скандинавской мифологии, в то же время бог войны и победы.

Озирис — бог-солнце, исчезающее зимой и возрождающееся весной *(египет. миф.)*.

Олимпийские игры — древнегреческие национальные празднества-состязания, происходившие через каждые пять лет.

Омир — см. Гомер.

Орфей — певец, укрощавший своим пением диких зверей; вывел свою супругу Эвридику из подземного мира *(греч. миф.)*.

Паллада — см. Афина-Паллада.

Пальмира — город в Сирии, знаменитый своими величественными сооружениями; ныне не существует.

Парнас — священная гора в Греции; местопребывание Аполлона и муз.

Пафосс — древний город на острове Кипре, известный храмом Афродиты.

Пегас — крылатый конь поэтов и муз *(греч. миф.)*.

Пенелопа — жена Одиссея («Одиссея» Гомера); синоним верной жены.

Перикл — афинский государственный деятель (ум. в 429 г. до н. э.), при котором Афины достигли высшей степени своего расцвета.

Перун — главное божество восточных славян, бог грома и молнии.

Пиит — поэт.

Пинд — горный хребет в Греции.

Плутарх — греч. философ и писатель (около 50—120 н. э.).

Прометей — герой греческого мифа, похитивший для людей небесный огонь; за это он был прикован богами к скале и орёл выклевывал ему печень.

Сатурн — бог времени *(римск. миф.)*.

Сафо — знаменитая греческая поэтесса (VII—VI вв. до н. э.).

Скальд — название древних скандинавских поэтов-певцов.

Силла — см. Сулла.

Соломон — иудейский царь и мудрец.

Солон — знаменитый афинский законодатель (640—588 до н. э.).

Стикс (Стигейские воды) — река подземного царства *(греч. миф.)*.

Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский диктатор.

Тантал — мифический герой, за выдачу тайн богов осужденный на вечный голод в подземном мире *(греч. миф.)*.

Тартар — ад *(римск. миф.)*.

Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», написанной октавами («Октавы Тассовы»).

Темира — условное поэтическое имя.

Тибулл (55—19 до н. э.) — римский поэт, автор элегий.

Урания — 1) муза астрономии, 2) прозвище Афродиты *(греч. миф.)*.

Фаон — митиленский юноша, из-за любви к которому поэтесса Сафо бросилась, по преданию, в море.

Феб — см. Аполлон.

Фетида — морская нимфа, мать Ахиллеса *(греч. миф.)*.

Фидий (500—430 до н. э.) — величайший греческий скульптор эпохи Перикла.

Филида — условное поэтическое имя.

Филомела — героиня греческой мифологии, обращенная богами в ласточку за убийство сына своего насильника Терея.

Флакк — см. Гораций.

Флора — богиня цветов и весны *(римск. миф.)*.

Фортуна — богиня счастья и судьбы *(римск. миф.)*.

Фрегея — богиня любви *(сканд. миф.)*.

Фрина — афинская гетера IV в. до н. э.

Фукидид — древнегреческий историк V в. до н. э.

Хариты — см. грации.

Хаос — первичный источник всякой жизни в мире *(греч. миф.)*.

Хлоя — условное поэтическое имя.

Цирцея — волшебница, обратившая в свиней спутников Одиссея.

Цитера, Цитерея — остров любви *(греч. миф.)*.

Цитерский бог — Амур.

Цитерских истин возвеститель — Амур.

Цицерон (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор.

Элизей, Элизий, Элизийские поля — царство мертвых *(греч. миф.)*.

Эллада — древнее название Греции.

Эмпирей — 1) небо, место света, 2) высшая часть мира *(греч. миф.)*.

Эней — герой поэмы Виргилия «Энеида».

Эол — бог ветров *(греч. миф.)*.

Эпиктет — греческий философ-стоик I века н. э.

Эпикур — греческий философ (341—270 до н. э.), учивший, что цель жизни — в наслаждениях, доставляемых человеку умом и возвышенными чувствами; в житейском смысле «эпикурейцами» называют людей, предающихся чувственным удовольствиям.

Эреб, Эрев — сын Хаоса, источник мрака *(греч. миф.)*. У Гомера — мрачная подземная страна, переход из земного мира в потусторонний.

Эрос, Эрот — бог любви *(греч. миф.)*.

Япет — отец Прометея, родоначальник людей *(греч. миф.)*.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И ПОЭМ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

ПРОЗА

ПИСЬМА

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Художник А. Соловейчик

Редактор *С. Бортник*
Художественный редактор *А. Ермаков*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *Р. Гольденберг*

☆

Сдано в набор 12/VIII 1950 г. Подписано к печати 30/X 1950 г. А 05090. Формат бум. 84×108 1/32=10,1 бум. л. 33,21 печ. л. + 4 вклейки. Уч.-изд. л. 25,1. Тираж 75 000 экз. Цена 8 р. 25 к.
Заказ № 2693.

☆

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете Министров СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.